МАСТЕРАПСИХОЛОГИИ

Джозеф Кэмпбелл

МИФЫ ДЛЯ ЖИЗНИ



JOSEPH CAMPBELL

Myths to Live By





New World Library
Novato, California

МАСТЕРА ПСИХОЛОГИИ

Джозеф Кэмпбелл

МИФЫ ДЛЯ ЖИЗНИ



Санкт-Петербург • Москва • Екатеринбург • Воронеж
Нижний Новгород • Ростов-на-Дону
Самара • Минск

2018

ББК 88.37
УДК 159.923

Кэмпбелл Дж.

К98 Мифы для жизни. — СПб.: Питер, 2018. — 304 с.: ил. — (Серия «Мастера психологии»).

ISBN 978-5-4461-0498-7

Что такое мифы и какова их функция в обществе?
Как мы можем использовать мифы, чтобы облегчить наши сегодняшние страдания и тревоги?
Как мифы могут нам помочь в воспитании детей?

В книге Джозеф Кэмпбелл исследует потенциал и мощь мифов и их ежедневное влияние на нашу современную жизнь даже там, где мы этого не предполагаем. Он показывает, что для мифов не существует границ, они обращены к универсальным базовым архетипам, которые являются общими для всех времен и народов. Книга будет интересна психологам, педагогам, философам, социологам, культурологам, историкам.

16+ *(В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ.)*

ББК 88.37
УДК 159.923

ISBN 978-0140194616 англ.
ISBN 978-5-4461-0498-7

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Оригинальный ум Питера Купера (1791–1883) – радикального вольнодумца-изобретателя, предпринимателя и политика, первого настоящего феминиста Нью-Йорка – дал начало, среди прочих великих дел, Куперовскому союзу по продвижению науки и искусства. Купер был обеспокоен как собственной необразованностью, так и пониманием, что в его время образование предназначалось только богатым и только мужчинам. Он изменил обе эти концепции, возможно, под влиянием движения Чатоква[1] и деятельности других филантропов. Его значимым и существенным вкладом была идея Форума и обучения тех, кто уже вышел из школьного возраста, приведшая к открытию первого в стране учебного заведения для взрослых.

Начиная с речи Авраама Линкольна и до наших дней со сцены Большого зала колледжа выступили более пяти тысяч спикеров и творческих работников, их идеи были услышаны многомиллионной аудиторией: одно мероприятие посещают в среднем более тысячи человек, выступления проходят три раза в неделю.

И сегодня – благодаря усилиям г-на Сеймура Сигеля и помощи г-на Бернарда Бака – новые лекции транслируются Нью-Йоркской муниципальной радиостанцией WNYC на аудиторию,

---

[1] Американское общественное движение по распространению образования среди взрослых жителей отдаленных сельских районов, существовавшее преимущественно в конце XIX – начале XX века. Название движения связано с озером Чатоква, где были проведены первые подобные занятия.

в сотни тысяч раз большую. Уже сейчас это самая длинная серия радиолекций в истории. На директоре Форума, составляющем программу занятий, лежала потрясающая, но не терпящая постороннего давления интеллектуальная задача рассказать о прошлом и заглянуть в будущее. В заслугу Куперовскому союзу можно поставить то, что этот труд никогда не пытались прервать, направить или скорректировать.

Во время моей двадцатидвухлетней работы в Куперовском союзе я соблюдал одно правило. Каждый из более чем тысячи спикеров, которых я приглашал для лекции или выступления и представлял со сцены, должен был быть моим другом, — так же, как каждый зритель в зале и миллионы незримых радиослушателей. Трудно выбрать лучшего из них, но Джозеф Кэмпбелл, автор этой книги, воплощает собой высокий уровень коммуникации и интеллектуальности, необходимый для Форума. Он никогда не говорит по бумажке, его речь красива и ярка; он рассказывает прежде всего об идеях, которые наводят мосты между прошлым и будущим, между мирами Востока и Запада. Он прочитал на Форуме много замечательных лекций и даже целых циклов лекций, и слушать их всегда было радостью и наслаждением. Настоящая книга, основой которой стали эти чтения, выражает собой саму жизнь гуманитарных наук и лучшие принципы Форума Куперовского союза. Я горжусь тем, что принимал участие в ее создании.

Джонсон Фэйрчайлд
Нью-Йорк,
15 октября 1971

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Из двадцати пяти лекций по мифологии, прочитанных в Большом зале Куперовского союза в Нью-Йорке между 1958 и 1971 годами, я отобрал и скомпоновал чертову дюжину — в четвертой главе объединены части двух лекций, прочитанных в одном году. Темами и названиями я обязан плодовитому уму доктора Джонсона Фэйрчайлда, председателя Форума, чьи остроумие, мудрость и личное очарование почти четверть века приводили в движение эту благословенную организацию. Бесконечным удовольствием от чтения этих лекций я, конечно, в какой-то мере обязан старинному, полному истинного величия Большому залу и пониманию, что Авраам Линкольн однажды выступал с той самой сцены, на которой стоял я (о, тайное ощущение причастности великому потоку истории американского красноречия!); но также, что гораздо ближе к дню сегодняшнему, открытости и вниманию зрителей, которых доктору Фэйрчайлду удавалось привлечь на многочисленные циклы публичных лекций и обсуждений, организованные им в этом гостеприимном зале. Когда после окончания лекции он носился с микрофоном туда-сюда по проходам, давая возможность каждому, кто поднял руку, прокомментировать, задать вопрос или выступить с сообщением, я как никогда раньше наслаждался возможностью разговаривать с доброжелательными слушателями о том, что волнует меня, словами, которые волнуют их. Надеюсь, что даже в более формализованной прозе этой книги останется что-то от живости и свежести моего наслаждения теми беседами.

Я действительно рад, что доктор Фэйрчайлд весьма любезно согласился представить книгу, как он представлял со сцены каждую лекцию, вошедшую в нее. Между прочим, последняя из них была прочитана 1 марта 1971 года, за день до его ухода в отставку с постов председателя Форума и директора Департамента обучения взрослых Куперовского союза, которые он занимал так долго. Я рассматриваю этот сборник лекций как символ признательности за его поддержку, горячую дружбу и всегда своевременные предложения тем и названий, благодаря которым я смог принести всех своих Божественных Буйволов, Кетцалькоатлей, Будд и Эльфийских Королев в потрясающе взаимно интересный диалог с сотнями слушателей, многие из которых оставались моей преданной аудиторией в течение долгого времени. В конце концов слушатели и были вдохновителями этих лекций. Хочу поблагодарить каждого из них так же, как и их председателя.

Я также благодарен техническому персоналу и сотрудникам радиостанции WNYC за магнитофонные записи лекций, которые использовал при написании книги, мисс Марсии Шерман — за то, что она стойко печатала и перепечатывала множество черновиков не только этих лекций, но и других, не вошедших в книгу, и моей жене Джин Эрдмен — во-первых, за идею превратить лекции в книгу, а во-вторых, за критику и предложения во время работы над ней.

Дж. К.
Нью-Йорк
4 июля 1971

Глава I

ВЛИЯНИЕ НАУКИ НА МИФ (1961)

На днях, когда я обедал, сидя за стойкой в своем любимом кафе, туда зашел мальчуган лет двенадцати, со школьным ранцем за плечами и сел слева от меня. Следом за ним появился мальчик помладше, державший мать за руку, и они вдвоем заняли соседние места. Все сделали заказы. Пока мы ждали, парнишка слева, слегка повернувшись к матери, заявил: «Джимми написал сегодня сочинение про эволюцию человека, и учитель сказал, что он не прав и что Адам и Ева были нашими прародителями».

«Боже мой! — подумал я. — Ну и учитель!»

Дама, сидевшая через три стула от меня, ответила: «Учитель был прав. Нашими прародителями были Адам и Ева».

«Ну и мать у ребенка двадцатого века!»

Мальчик парировал: «Да, я знаю, но ведь это же была научная работа».

Я уже был готов рекомендовать наградить его медалью за выдающиеся заслуги от Смитсоновского института.

Мать, однако, сдаваться не собиралась. «Ох, уж эти ученые! — сказала она сердито. — Одни теории».

Но и тут мальчишка нашелся. «Да, я знаю, — был его спокойный и невозмутимый ответ, — но эта ведь подтверждена фактами: они нашли кости».

Подоспели молоко с сэндвичами, и на том все закончилось.

Что ж, давайте теперь на мгновение задумаемся о сакральном мировоззрении, которое было разрушено фактами и находками таких вот неугомонных молодых искателей истины.

В расцвете Средневековья, скажем, в XII–XIII веках, имели хождение два очень различных взгляда на устройство Вселенной. Согласно более распространенному, Земля, плоская как тарелка, плавала в безграничном мировом океане, где каких только жутких чудищ не встретишь. Это было крайне древнее представление, уходящее корнями к раннему бронзовому веку. Оно появляется в шумерских клинописях примерно в 2000 г. до н. э., и именно такой взгляд канонизирован в Библии.

Более респектабельной концепцией было представление древних греков, согласно которому Земля являлась не плоским телом, а цельным неподвижным шаром в центре вложенных друг в друга, как матрешки, семи прозрачных вращающихся сфер. В каждой из них располагалась видимая планета: Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн, — та самая семерка, по которой названы дни недели[1]. Более того, тона звучания семи планет составляют «музыку сфер», которой соответствуют ноты нашей диатонической гаммы. Кроме того, с каждой сферой соотносился определенный металл: серебро, ртуть, медь, золото, железо, олово и свинец соответственно.

---

[1] Имеются в виду греко-римская традиция и соответствующие названия.

Душа, спускающаяся с небес, чтобы родиться на Земле, приобретала, воплотившись, свойства этих металлов: следовательно, наши души и тела состоят из тех же самых элементов Вселенной и, так сказать, поют ту же песню.

Музыка и искусства, согласно этому раннему взгляду, должны были напоминать человеку о гармониях, от которых его отвлекают повседневные земные дела и заботы. В Средние века с этими сферами связывали соответственно семь учебных дисциплин: грамматика, логика и риторика (так называемый тривиум), арифметика, музыка, геометрия и астрономия (квадривиум). Более того, сами хрустальные сферы были не инертной массой наподобие стекла, а живыми духовными силами, над которыми властвовали ангельские существа, или, как говорил Платон, сирены. За пределами всего перечисленного находилось сияющее небесное царство, где Бог в своем величии сидел на триедином троне; так что, когда душа после смерти, возвращаясь к своему создателю, снова проходила через семь сфер, она сбрасывала в каждой соответствующее свойство и, обнаженная, прибывала на суд. Считалось, что император и римский папа правили на земле согласно законам и воле Бога, олицетворяя его власть и могущество в действии для всего христианского мира. Таким образом, в представлениях средневековых мыслителей наблюдалось идеальное согласие между строением Вселенной, канонами общественного строя и индивидуальным благом. Соответственно, через беспрекословное послушание христианин мог находиться в гармонии не только с обществом, но и с благой частью своего внутреннего мира и со всем мирозданием. Христианская империя была земным отражением небесного порядка: ее иерархическая организация с одеяниями, тронами и церемониями роскошных императорских дворов была вдохновлена образами Царства Господня, а в звуках колоколов кафедральных соборов и напевах церковных хоров эхом отзывались неземные ангельские голоса.

Данте в своей «Божественной комедии» раскрыл образ Вселенной, который идеально соответствовал представлениям его времени: и утвержденным церковью, и принятым наукой. Считалось, что когда сатана за гордыню и неповиновение был изгнан с небес, он упал вниз, как пылающая комета, и, ударившись о Землю, пропахал ее до самого центра. Прорытый им чудовищный кратер стал огненным провалом в ад, а огромная масса сдвинутой земли, вытолкнутая наружу, образовала на противоположной стороне Земли гору чистилища, которое Данте изобразил вздымающимся к небесам, прямо как Южный полюс. В его представлении все Южное полушарие находилось под водой, только эта могучая гора возвышалась над морем, и на вершине ее находился земной рай, из центра которого вытекали четыре священные реки, о которых говорит Священное Писание.

По всей видимости, когда Колумб поднял паруса и отправился за «синее море», которое, как верили многие его ближние (а возможно, и команда), было пограничным океаном, окружающим дискообразную Землю, сам он представлял образ, схожий скорее с миром по Данте, — об этом фактически говорится в его дневниках. Оттуда мы узнаем, что в ходе третьего плавания, когда Колумб впервые добрался до северного побережья Южной Америки, с большой опасностью пройдя на своем непрочном судне между Тринидадом и материком, он отметил гигантскую массу пресной воды, примешивающейся там к соленой (разливающейся из устьев Ориноко). Ничего не зная о лежащем впереди континенте, но в полном соответствии со средневековыми теориями он предположил, что пресные воды могли бы истекать из одной из рек рая, впадающих в южное море у подножия огромной антиподной горы. Кроме того, свернув на север, Колумб заметил, что корабли идут гораздо быстрее, чем во время пути на юг, и счел это подтверждением того, что теперь они плывут под уклон от подножия мыса мифической райской горы.

Думаю, что 1492 год знаменует собой окончание — или, по крайней мере, начало конца — власти старых мифологических систем, с незапамятных времен поддерживающих и вдохновляющих людские жизни. Вскоре после эпохального плавания Колумба совершил кругосветное путешествие Магеллан. Незадолго до этого Васко да Гама доплыл вокруг Африки до Индии. Землю начали систематически исследовать, и прежняя символически-мифологическая география оказалась дискредитирована. Пытаясь доказать, что где-то на земле существует Райский сад, Фома Аквинский всего лишь за два с половиной века до плавания Колумба писал: «Рай отрезан от обитаемого мира горами, или морями, или какой-то выжженной солнцем территорией, которую невозможно пересечь; поэтому люди, описывающие географические особенности земель, не упоминают о нем».

Пятьдесят лет спустя после первой экспедиции Колумба Коперник опубликовал свою работу о гелиоцентрической Вселенной (1543), а еще через шестьдесят с лишним лет небольшой телескоп Галилея принес наглядное подтверждение его идей. В 1616 году Галилей был осужден святой инквизицией — так же, как мальчик, сидевший рядом со мной, был осужден матерью, — за то, что придерживался и обучал теории, противоречащей Священному Писанию. Конечно, сегодня на вершинах гор стоят телескопы намного крупнее, например Маунт-Вилсон в Калифорнии, Паломарская обсерватория в том же штате, Китт-Пик в Аризоне и Халеакала на Гавайях. Теперь точно установлено не только то, что Солнце находится в центре нашей планетной системы, но и то, что оно — всего лишь одно из двухсот миллиардов солнц в галактике таких же сверкающих небесных светил, галактике, по форме похожей на гигантскую линзу диаметром многие сотни квинтильонов миль. И не только это! Наши телескопы теперь находят мерцающие точки, представляющие собой не светила, но целые галактики, каждая из которых столь же велика и непостижима, как наша, — уже тысячи и тысячи их обнаружены.

Воистину, чудо Вселенной, которое показала нам наука, — откровение гораздо более удивительное и невероятное, чем все, что мог представить себе донаучный мир. Картина мира размером с кукольный домик, нарисованная в Библии, рядом со всем этим годится разве что для детей, — а фактически не годится и для них, судя по словам юного искателя истины, сидевшего рядом со мной в кафе. Со своим «Да, я знаю, но это же была научная работа» он уже нашел способ оградить собственное познание мира от разваливающейся средневековой постройки — материнской церкви.

Рассыпались все древние мифические представления не только о природе Вселенной, но и о происхождении и истории человечества. Уже во времена Шекспира сэр Уолтер Рэли, прибыв в Америку и увидев множество новых животных, не известных по ту сторону океана, как капитан торгового судна осознал, что Ной просто не смог бы собрать представителей всех земных видов в одном ковчеге, как бы тот ни был велик. Библейское сказание о Всемирном потопе оказалось недостоверным, короче говоря, «не фактуализировалось». И сегодня мы (усугубляя ситуацию) датируем самое раннее появление человекообразных существ на земле на миллион лет раньше библейской даты сотворения мира. Большие палеолитические пещеры Европы датируются примерно 30 000 г. до н. э., земледелие возникло около 10 000 г. до н. э., первые же большие города появились приблизительно в 7000 г. до н. э. Но Каин, старший сын Адама, первого человека, назван в Библии земледельцем (Быт. 4:2) и строителем города Енох в земле Нод на востоке от Эдема (Быт. 4:17). Библейская «теория» снова оказалась ложной: «они нашли кости!».

Нашли еще и здания, что опять не согласуется со Священным Писанием. Например, период египетской истории, предположительно описанный в Исходе, — правление Рамзеса II (1301–1234 гг. до н. э.), или, может быть, Мернептаха (1234–1220 гг.

до н. э.), или Сети II (1220–1200 гг. до н. э.) — хорошо представлен останками сооружений и иероглифических надписей. Однако в них нет ни одного упоминания о чем-то похожем на известные библейские бедствия, никаких свидетельств даже сопоставимых событий. Более того, как говорят другие хроники, еврейские кочевники, «хабиру», уже вторгались в Ханаан во времена правления Эхнатона (1377–1358 гг. до н. э.), на сотню лет раньше правления Рамзеса. Как бы там ни было, суть в том, что древнееврейские тексты, из которых выросли все эти популярные иудейские предания о сотворении мира, исходе, сорокалетнем скитании по пустыне и завоевании Ханаана, не были созданы Богом или неким Моисеем, а относятся к разным эпохам, написаны разными авторами, и все — намного позже, чем считалось ранее. Первые пять книг Ветхого Завета (Тора) были сформированы уже после Ездры (IV в. до н. э.) из текстов, датируемых периодом с IX в. до н. э., — так называемые источники Яхвист (J) и Элохист (E) — до приблизительно II в. до н. э. — источник (P), или «Священнический кодекс». Можно заметить, например, что существуют два описания Всемирного потопа. Из первого мы узнаем, что Ной собрал в ковчег «от всякой плоти по паре» (Быт. 6:19–20; источник P, период после Ездры), а из второго: «И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского» (Быт. 7:2–3; источник J, около 800 г. до н. э., плюс-минус 50 лет). Еще мы обнаруживаем две истории о сотворении мира, более раннюю во второй главе Бытия, а более позднюю — в первой. Во второй главе говорится, что был насажден сад и создан человек, чтобы возделывать его, затем появились животные, и наконец, как в сказке, из ребра Адама сотворена «матерь всех живущих» Ева. С другой стороны, в первой главе Бог, один над космическими водами, сказал: «Да будет свет» и так далее, после чего, шаг за шагом, возникает Вселенная: сначала свет, три дня спустя солнце; затем растения, животные и в конце концов человечество — сразу и мужчина,

и женщина. Первая глава Бытия датируется приблизительно IV вв. до н. э. (период Аристотеля), а вторая — IX–VIII вв. до н. э. (время Гесиода).

Сравнительные культурологические исследования продемонстрировали, вне всякого сомнения, что подобные мифические легенды можно обнаружить повсюду, где живет человек. Когда Кортес со своими католиками-испанцами прибыли в Мексику ацтеков, они сразу подметили в местной религии так много параллелей со своей собственной «истинной верой», что оказались в затруднении, пытаясь объяснить этот факт. Высокие пирамидальные храмы, олицетворяющие, ярус за ярусом, подобно Дантовой горе Чистилища, этапы вознесения духа. Тринадцать небес, каждое со своими богами или ангелами, девять кругов ада для страдающих душ. И над всем этим — Верховный Бог, существующий вне всякого человеческого разумения и воображения. Был даже ассоциирующийся со змеей настоящий Спаситель, рожденный от девственницы, который умер и воскрес, и крест являлся одним из его символов. Чтобы объяснить все это, католические священники сочинили два собственных мифа. Первый заключался в том, что святой Фома, апостол Индии, вероятно, достиг Америки и проповедовал здесь Евангелие. Но земли эти были настолько далеки от влияния Рима, что вероучение исказилось, и обнаруженное конкистадорами было просто ужасно выродившейся формой их собственного Откровения. Второе объяснение гласило, что дьявол нарочно измышляет пародии на христианскую веру, чтобы помешать миссионерской работе.

Систематически сравнивая мифы и обряды человечества, современные гуманитарные науки почти везде находят легенды о девственницах, дающих рождение героям, которые умирают и воскресают. Индия изобилует такими сказаниями, и ее величественные храмы, в точности как ацтекские, олицетворяют нашу многоярусную вселенскую гору с раем на вершине

и ужасными кругами ада внизу. У буддистов и джайнистов есть похожие представления. Оглядываясь назад, в дохристианское прошлое, мы обнаруживаем убитого и воскресшего Осириса в Египте, Таммуза в Месопотамии, Адониса в Сирии и Диониса в Греции — все это послужило ранним христианам моделью для образа Иисуса.

В то время представители всех больших цивилизаций были склонны толковать собственные символические образы буквально, а следовательно, считать себя в каком-то смысле избранными, приближенными к Абсолюту. Даже политеистические греки и римляне, индусы и китайцы, способные с пониманием относиться к чужим богам и обычаям, считали себя превыше всех или, по крайней мере, в чем-то превосходящими других; а уж для монотеистов — иудеев, христиан и мусульман — чужие боги являлись и не богами вовсе, а демонами, а поклоняющиеся им представлялись безбожниками. Вследствие этого Мекка, Рим, Иерусалим и, менее выраженно, Бенарес и Пекин веками были, каждый по-своему, центрами вселенной, напрямую — как бы «горячей линией» — связанными с Царством Света, или Бога.

Сегодня к таким притязаниям никто не отнесется всерьез даже в детском саду. И в этом есть существенная опасность. Не только потому, что так уж заведено: массы всегда толкуют символы буквально, но и потому, что такие дословно прочитанные символические формы всегда были и фактически все еще являются опорой цивилизаций, поддержкой для их моральных устоев, единства, жизнеспособности и творческих сил. Следом за потерей подобного символа возникает неопределенность, а за ней — неустойчивость, поскольку жизнь — как понимали и Ницше, и Ибсен — требует жизнеутверждающих иллюзий. Там, где они были развеяны, не остается ничего надежного — ни прочных опор, ни нравственного закона. Мы уже видели, что, например, случается с примитивными обществами, потревоженными цивилизацией

белого человека. С дискредитацией своих старинных табу они тут же теряют стержень, распадаются и становятся рассадниками пороков и болезней.

Сегодня то же самое происходит с нами. Табу, происходящие из древних мифов, разрушены нашей же собственной современной наукой. В итоге повсюду в цивилизованном мире быстро растет уровень безнравственности и преступности, психических расстройств и наркотической зависимости, насилия и отчаяния, увеличивается число убийств и самоубийств, распавшихся семей и испорченных детей. Это — факты, а не мои выдумки. Они придают убедительности призывам проповедников к покаянию, пересмотру взглядов и возврату на путь истинный: к прежней религии. И они же бросают вызов современному педагогу, верному собственным взглядам и принципам. Что делать добросовестному преподавателю, обеспокоенному моральными качествами своих студентов так же, как их научными познаниями, — хранить преданность мифам, на которых держится цивилизация, или все же «подтвержденным фактами» истинам своей науки? Действительно ли первое противоречит второму? Разве не существует какого-то мудрого способа выйти за рамки противоречий между заблуждениями и истиной, чтобы снова сделать жизнь цельной?

Я бы сказал, что на сегодня это главный вопрос в воспитании детей. Несомненно, именно эта самая проблема сидела в тот день рядом со мной за стойкой кафе. Тогда и учитель, и мать оказались на стороне уже устаревшей иллюзии. Обычно — или так мне кажется — большинство охранителей общества склонны поступать именно таким образом, используя свой авторитет не в защиту, а против поиска смущающих истин. Подобная тенденция недавно обнаружилась даже среди социологов и антропологов в дискуссиях о происхождении человека. И можно с готовностью понять, даже в какой-то мере разделить их беспокойство, поскольку мир кормится ложью, и в конце концов, не то что

немногие, а лишь редкие люди способны принять вызов истины и жить в соответствии с ней.

Я твердо убежден, что лучший ответ на этот важнейший вопрос принесут открытия психологов, в особенности тех, которые имеют дело с происхождением и природой мифа. Нравственные устои сообществ всегда основывались на мифах, которые канонизировались в форме религии. Поскольку влияние науки на мифологию ведет — очевидно неизбежно — к нарушению морального равновесия, придется выяснить, так ли уж невозможно осмыслить с научной точки зрения жизнеутверждающую природу мифов. Нельзя ли, критикуя отжившие черты, не отвергать и не отрицать их необходимость — так сказать, не выплескивая вместе с водой ребенка (целые поколения детей)?

Как я уже сказал, распространенные верования традиционно рассматривают персонажей и события мифов как фактическую истину, — особенно это относится к иудаизму и христианству. Исход из Египта *состоялся*, Воскресение Христа *произошло*. Историческая наука ставит под сомнение подобные факты — а следовательно, и моральные принципы, которые на них опираются.

Тем не менее, когда эти сюжеты рассматриваются не как хроника происшествий, а как воображаемые события, мысленно наложенные на историческую канву, когда приходит осознание их сходства с подобными «историями», рожденными в любом другом месте — в Китае, Индии и на Юкатане, — суть дела становится очевидной. Универсальные мифологические образы, безусловно, следует отклонить в качестве фактов истории и принять как факты разума, «правду разума, явленную через фантазийное содержание», как однажды сформулировала моя знакомая, покойная Майя Дерен. На историках, археологах и специалистах по доисторической эпохе лежит задача выявить непригодность мифов как источника фактов, подтвердив, что

нет одного богоизбранного народа в многонациональном мире, нет обретенной истины, которой мы все должны поклоняться, нет одной единственно верной церкви. В то же время все более насущной и даже безотлагательной задачей психологов и специалистов по сравнительной мифологии становится не только распознать, проанализировать и объяснить спрятанные в символах «факты разума», но выработать способы сохранить их здоровый дух и — поскольку старые традиции исчезают вместе с уходящим прошлым — помочь человечеству познать и понять систему фактов мира собственной души так же, как окружающего мира.

В этом плане за последние примерно три четверти века позиция психологов претерпела заметное изменение. Читая великую и заслуженно превозносимую «Золотую ветвь» сэра Джеймса Фрэзера, первое издание которой вышло в 1890 году, мы вступаем в диалог с типичным автором XIX века, который был убежден, что суеверия мифологии в конце концов будут опровергнуты наукой и навсегда забыты. Он видел основу мифа в магии, а магии — в психологии. Однако его психология была преимущественно рационалистичной по сути, недостаточно внимательной к глубинным иррациональным побуждениям нашей натуры; он предполагал, что достаточно показать неразумность обычая или верования, и они тут же исчезнут. Легко убедиться, как он ошибался, застав любого профессора философии в боулинге: понаблюдайте, как он крутится и изгибается, когда уже выпустил шар из руки и хочет, чтобы тот катился по зигзагу, собирая кегли. Фрэзеровское объяснение магии состояло в том, что если одно явление ассоциируется с другим в сознании, люди начинают верить в их связь на самом деле. Потрясите погремушкой, напоминающей шум дождя, и вскоре пойдет дождь. Совершите ритуальное совокупление, и плодородие почвы восстановится. Фигурку врага, названную его именем, нашпигуйте булавками, и тогда враг умрет. Можно, впрочем, воздействовать на обрывок одежды, прядь волос, обрезок ногтя или другую частицу, некогда

соприкасавшуюся со своим хозяином, и получить похожий результат. Первый закон магии по Фрэзеру гласит, что «подобное производит подобное», «следствие похоже на свою причину», а второй — что «предметы, которые однажды находились в соприкосновении друг с другом, продолжают действовать друг на друга на расстоянии и после потери прямого контакта». Фрэзер считал, что и магия, и религия главной и конечной целью имеют власть над внешним миром, причем магия действует механически, подражательными действиями, а религия — молитвами и жертвоприношениями, обращенными к персонифицированным силам, предположительно управляющим природными явлениями. Похоже, он вообще не задумывался об актуальности и важности магии и религии для внутреннего мира, поэтому был уверен, что по мере научно-технического прогресса магия и религия постепенно исчезнут, ведь цели, которым они, по его мнению, служат, лучше и гораздо надежнее обеспечиваются наукой.

Как бы там ни было, одновременно с томами Фрэзера в Париже вышел ряд не менее важных публикаций выдающегося невролога Жана-Мартена Шарко об истерии, афазии, гипнотических состояниях и тому подобном, помимо прочего продемонстрировавших связь полученных результатов с иконографией и искусством. Зигмунд Фрейд, проведший 1885 год под его руководством, за первую четверть нынешнего века вывел изучение истерии, сновидений и мифов на новую глубину. Согласно взглядам Фрейда, мифы являются психологическим каркасом сновидений. Мифы — это, так сказать, сны общества, а сновидения — личные мифы. По его мнению, и то и другое — симптомы подавления детского влечения к кровосмешению, а единственное существенное отличие религии от невроза состоит в том, что первая в большей степени публична. Человек с неврозом ощущает стыд, одиночество и обособленность в своей болезни, тогда как боги являют собой проекции общества на экран Вселенной. Религия и неврозы в равной степени — проявления подсознательных на-

вязчивых страхов и заблуждений. Более того, все виды искусств, в частности религиозных, представляются Фрейду одинаково патологичными, впрочем, как и любая философия. Сама цивилизация, по сути, является патологическим заменителем для подсознательных детских разочарований. Фрейд, как и Фрэзер, оценивал сферы мифов, магии и религии отрицательно, считал их ошибками, которые в конце концов будут опровергнуты, превзойдены и вытеснены наукой.

Совершенно другой подход обозначил Карл Густав Юнг, в представлении которого образы мифологии и религии служат положительным, жизнеутверждающим целям. Согласно его точке зрения, у каждой из наших «внутренностей» — не только связанных с сексом и агрессией — есть своя цель и назначение; одни подчиняются сознательному контролю, а другие — нет. Наше ориентированное вовне сознание, нацеленное на повседневные заботы, может потерять контакт с этими внутренними силами, и правильно прочитанные мифы, утверждает Юнг, служат средством восстановить его. Языком образов они рассказывают человеку о духовных силах, которые ему нужно познать и интегрировать в жизнь, о силах, которые представляют ту мудрость человеческого рода, благодаря которой мы пережили тысячелетия. Их нельзя заменить или вытеснить открытиями науки, которая имеет отношение скорее к внешнему миру, чем к глубинам, в которые мы погружаемся во сне. Посредством диалога с этими внутренними силами в сновидениях и через изучение мифов мы можем шире и глубже исследовать собственное, более мудрое внутреннее «Я» и примириться с ним. Таким образом, общество, которое лелеет и поддерживает жизнь своих мифов, сможет подпитываться из чистейших и богатейших духовных источников.

Однако в этом есть и опасность. Сновидения и мифы, унаследованные из архаики, могут оторвать от мира современного сознания, законсервировать человека в непригодных для жизни

сегодня шаблонах архаичных переживаний и мышления. По этой причине, утверждает Юнг, нужен диалог, а не впадение в одну из крайностей, непрерывный диалог посредством символических форм, которые возникают в подсознании и осмысливаются сознанием.

Что же происходит с детьми общества, которое отказывается от возможности подобного взаимодействия и, цепляясь за свои родовые сновидения как за непреложный атрибут абсолютной истины, отвергает все, что предлагают сознание, разум, наука, и факты? Есть одна известная история, которая может послужить подходящим предупреждением.

Как знает любой школьник, то, что мы считаем наукой, предположительно зародилось в античной Греции. Аккумулированные там знания распространились и стали известны в Азии, через Персию в Индии и еще дальше, в Китае. Но в каждом из восточных царств к тому времени уже получили развитие собственные направления мифологической мысли, и на объективные, прагматические, исследовательские и экспериментальные подходы греческой науки не обратили внимания. Сравните, например, с научной точки зрения науку в Библии, священной книге Востока, составленной в основном после того, как маккавеи избавились от греческого влияния, — скажем, с наукой Аристотеля, не говоря уж об Аристархе Самосском (ок. 275 г. до н. э.), для кого Земля была небесным телом, вращающимся по орбите вокруг солнца. Эратосфен (ок. 250 г. до н. э.) уже верно вычислил окружность Земли, равную 250 000 стадиев (39 689 км, точная длина по экватору 40 075 км). Гиппарх (ок. 240 г. до н. э.) рассчитал с точностью до нескольких миль диаметр Луны и среднее расстояние до нее от Земли. И просто попробуйте представить, сколько пролилось крови, пота и настоящих слез — ведь за ересь людей сжигали на костре, — всего этого можно было избежать, если бы вместо закрытия всех языческих школ Греции

в 529 г. н. э. Юстиниан поддержал их! Вместо этих школ мы и наши потомки получили первую и вторую главы Книги Бытия и более чем тысячелетнюю задержку развития не только науки, но и всей мировой культуры.

Одну из самых интересных историй того, куда заводит отказ от науки, мы можем увидеть в исламе, который сначала принимал, одобрял и даже развивал наследие Античности. На протяжении примерно пяти-шести столетий «золотого века ислама» мусульмане оставили впечатляющий след в развитии научной мысли, экспериментировании и исследованиях, особенно в области медицины. Но затем, увы, авторитет общины, сунны, согласия, провозглашенных пророком Мухаммедом, рухнул. Слово Божие, запечатленное в Коране, было признано единственным источником и проводником истины, а научная мысль — «ведущей к утрате веры в происхождение мира и в его Творца». В итоге как раз в то самое время, когда свет учения древних греков начал доходить от мусульманского мира до Европы — начиная примерно с 1100 года, — мусульманские наука и медицина застыли и омертвели, а вместе с ними и сам ислам. Факел не только научного, но и исторического прогресса перешел к христианскому Западу. Мы можем подробно наблюдать за чудесным развитием науки с начала XII века через историю отважных и блестящих умов, чьи открытия превзошли всё сделанное за всю долгую жизнь человечества. Величину нашего долга перед этими умами не сможет оценить тот, кто никогда не ступал на одну из земель, лежащих за пределами этого европейского периода. Все социальные преобразования у так называемых «развивающихся народов» сегодня, как и веками ранее, являются результатом не длительных процессов, а внешних вмешательств и их последствий. Каждая малая группа закрепляется в своей собственной укоренившейся, застывшей мифологии, изменения происходят только в результате столкновений — как, например, когда в Индию вторглись воины ислама и какое-то время был неизбежен обмен идеями, или

после прихода британцев, принесшего следующую эру потрясающих и неожиданных открытий. С другой стороны, в современном западном мире, благодаря немногим храбрецам, неустанно, чистосердечно и непредвзято ищущим предела бесконечной истины, идет последовательный и непрерывный плодотворный рост, по сути идентичный расцвету живого организма.

Итак, что означает слово «истина» для современного ученого? Конечно, не то же самое, что для мистика! Действительно великим и существенным в научном откровении — и это самое замечательное и многообещающее — является то, что наука не претендует и не может претендовать на звание абсолютной истины ни в каком смысле. Она не собирается говорить «последнее слово». Это умозрительное выстраивание не более чем «рабочих гипотез» («Ох, уж эти ученые!» — «Да, я знаю, но они нашли кости»), которые просто учитывают все известные на текущий момент факты, имеющие отношение к делу.

Нет ли тут неявного намерения успокоиться на некоем окончательном объяснении или достаточном количестве фактов?

Конечно же, нет! Поиск нового будет только продолжаться — поскольку разум стремится расти. И такое развитие, пока оно идет, будет мерой жизни современного западного человека, мерилом мира со всеми его исполненными обещаниями и теми надеждами, которые он все еще продолжает осуществлять: мира перемен, новых мыслей, новых вещей, новых открытий и постоянного преобразования, а не окостенения, ригидности и когда-то открытых «истин», превратившихся в общеобязательный канон.

Итак, друзья мои, ничего мы не знаем, и даже наша наука не может рассказать нам правду, поскольку она не больше чем стремление к истине, неважно, куда оно может завести. И поэтому мне кажется, что здесь нас снова ожидает открытие, более великое

и жизненное, чем все, что древние религии когда-либо дали или даже просто внушили нам. Старинные тексты успокаивают нас перспективами. Они говорят, что где-то там есть любящий, добрый и справедливый отец, который, поглядывая на нас свысока, готов принять нас и вечно думает о наших драгоценных жизнях. С другой стороны, согласно научной точке зрения, никто не знает, что такое «где-то там» и существует ли оно вообще. Пока все, что нам известно, есть область феноменологии, в которой органы чувств транслируют в наш мозг информацию о внешних явлениях в соответствии с природой нашего разума. Есть не менее потрясающая область воображения, транслирующего внутренние образы, — наиболее полно мы воспринимаем их по ночам, во сне, но они в любое время могут вмешаться в нашу дневную жизнь и иногда даже разрушить ее, ввергнув нас в безумие. Мы можем только догадываться о возможном происхождении этих образов, и внешних, и внутренних, и по возможности продвигаться вперед, опираясь на гипотезы. Что они такое, откуда и почему (перечислите все, что принято спрашивать) — абсолютная тайна. Приходится признать: пока точно известно только одно — что ничего неизвестно.

Больше нет никаких «Да будешь ты...» или «Да не будет у тебя...». Нет ничего, во что нужно верить, и ничего, что следует делать. С другой стороны, каждый по-прежнему может — если, конечно, хочет — принять для себя правила старинной игры Средневековья, или какой-нибудь из игр Востока, или даже первобытной. Мы живем в трудное время, и для тех из нас, кто потерял силу духа, любые способы, ограждающие от сумасшедшего дома, достаточно хороши.

Когда зимой 1954 года я был в Индии, один индийский джентльмен примерно моего возраста, с которым мне довелось беседовать, спросил, выждав паузу после того, как мы обменялись любезностями: «Что вы, западные ученые, нынче скажете о датировке Вед?»

Следует знать, что Веды для индуса — то же самое, что Тора для иудея: его самые древние священные книги, содержащие наивысшее откровение.

«Ну, — ответил я, — дата появления Вед недавно была признана более поздней, и теперь определяется, как я полагаю, где-то 1500–1000 годами до нашей эры. Как вы, вероятно, знаете, — добавил я, — в самой Индии были найдены останки более ранней цивилизации, чем ведическая».

«Да, — сказал индийский джентльмен без раздражения, но твердо, со вздохом невозмутимой уверенности, — я знаю, но как ортодоксальный индуист не могу поверить, что во вселенной есть что-либо древнее Вед».

Он действительно так и считал.

«Ладно, — сказал я, — тогда зачем спрашивали?»

Однако, отдавая должное старой Индии, позвольте мне закончить фрагментом индуистского мифа, который, как мне кажется, с помощью весьма удачного образа ухватил суть тенденции, с которой мы все столкнулись сегодня, в критической точке истории человечества. Он рассказывает о древних временах, когда боги и их главные враги, демоны, были заняты одной из своих вечных войн. На этот раз они решили заключить перемирие и совместными усилиями взбить Молочный океан — Море вселенной — в масло бессмертия. В качестве палки-маслобойки они взяли Космическую гору (ведический аналог горы Чистилища у Данте), а в качестве шнура для вращения обернули вокруг горы Мирового змея. Затем все боги потянули за змеиную голову, демоны — за хвост, таким образом заставив Космическую гору вращаться. И крутили они так тысячи лет, пока из вод не поднялась огромная черная туча исключительно ядовитого дыма, и пахтание пришлось остановить. Они пробились к беспримерному источнику силы и первым делом испытали на себе ее не-

гативное, смертельное воздействие. Чтобы продолжить работу, кому-то было необходимо проглотить и впитать ядовитую тучу. Все знали, что на такое был способен лишь один из них — изначальный бог йоги, Шива, ужасный и демонический. Он просто собрал весь яд в свою миску для подаяния и одним глотком выпил до дна, с помощью йоги задержав отраву на уровне горла, которое после этого посинело, а сам он с тех пор стал известен как «Синее горло», Нилаханта. Когда изумительное деяние свершилось, все вернулись к общей работе. И вертели они, и вертели, и снова вертели без устали, пока — глядите-ка! — из Космического моря не начали во множестве возникать удивительные блага: луна, солнце, слон с восемью хоботами, великолепный конь, чудодейственные лекарства, и — да, наконец! — огромный сияющий сосуд, наполненный амброзией.

Я считаю, что этот старинный индийский миф может стать для современного мира отличной притчей — призывом не сдаваться и продолжать свой труд, несмотря на страхи.

Глава II

НА ЗАРЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (1966)

Мифология, несомненно, является ровесницей человечества. В самом далеком прошлом — насколько мы смогли проследить по фрагментарным и разрозненным ранним свидетельствам возникновения нашего вида — были обнаружены признаки, указывающие, что уже тогда творчество и быт Homo sapiens формировались целями и соображениями, основанными на мифе. Подобные подтверждения говорят нам нечто важное о единстве нашего вида, поскольку основные темы мифологической мысли остались неизменными и всеобщими не только на протяжении всей истории человечества, но и на всем земном пространстве, где живут люди. Обычно, обсуждая эволюцию человека, ученые концентрируются на физических признаках, анатомических особенностях, которые отличают нас: вертикальное положение тела, большой мозг, число и расположение зубов, противостоящий большой палец, позволяющий нашим рукам управляться с орудиями труда. Профессор Луис Лики, чьим открытиям в Восточной Африке мы обязаны большей частью того, что знаем о самых ранних гоминидах, назвал самую человекоподобную из своих первых находок — около 1,8 млн лет до нашей эры — homo habilis, Человеком умелым. Это название прекрасно подошло малому,

который, возможно, был первым мастером по изготовлению примитивных орудий труда. Однако когда вместо физических мы рассматриваем психологические признаки нашего вида, самое очевидное отличие — организация жизни в соответствии, прежде всего, с целями и законами, диктуемыми мифом, и только во вторую очередь — с обусловленными экономически. Да, еда и питье, размножение и постройка жилища играют в жизни человека роль не менее важную, чем у шимпанзе. Но что насчет экономической целесообразности египетских пирамид и средневековых соборов, умирающих с голоду индусов, вокруг которых бродят пригодные в пищу коровы, наконец, истории Израиля со времен Саула до наших дней? Если надо назвать главное отличие психологии человека от психологии животных, это, несомненно, подчинение мифологическому даже хозяйственной сферы деятельности. Вопрос: почему же, каким образом нематериальный порыв подмял под себя требования физической жизни? Ответ прост: в удивительном человеческом мозгу однажды забрезжило понимание, неведомое остальным приматам. Это было осмысление себя как личности и осознание, что и ты сам, и те, кто важен для тебя, однажды умрут.

Признание своей смертности и потребность ее преодолеть являются первым большим толчком к формированию мифологии. Есть и еще один факт, осознание которого влияет на ее развитие: а именно то, что сообщество, в котором человек рождается, которое кормит и защищает его и которое он сам помогает кормить и защищать большую часть своей жизни, существовало задолго до его собственного рождения и останется после его ухода. Иначе говоря, отдельный представитель нашего вида не только осознает себя самого и угрозу смерти, но также сталкивается с необходимостью приспособиться к любым правилам жизни, принятым в обществе, где он родился, к порядку, довлеющему над его личными желаниями, к сверхорганизму, в который он должен быть принят, через сопричастность которому он придет к жизни, побеждающей смерть. В каждой мифологической

системе из тех, что от начала времен, включая доисторическую эпоху, распространились по разным областям и территориям Земли, эти две основные идеи — неизбежности личной смерти и долговечности общественного порядка — были символически объединены и составляли стержень, на котором держались ритуалы, а следовательно, и само общество.

Однако взрослеющий в первобытном обществе охотников мальчик должен был приспосабливаться к социуму, полностью отличному от того, к которому нужно адаптироваться подросткам в промышленной стране вроде нашей. Между этими двумя крайностями — неисчислимое множество общественных укладов. Следовательно, двойственная идея, о которой я только что говорил, определяет не только единство нашего вида, но также и его разнообразие. Хотя каждого ожидает смерть, народы мира относятся к ней весьма по-разному. Соответственно, межкультурное исследование мифологий человечества должно обратить внимание не только на общие сюжеты, но и на их трансформацию в частностях.

Третий фактор, мощно влияющий на формирование мифологий, еще одна сфера опыта сугубо человеческого, который взрослеющая личность неизбежно получает по мере развития способности мыслить и наблюдать, — театр Вселенной, мир природы, в котором оказывается человек. Загадочна связь между существованием человека и этим миром, загадочны его величие, вечная переменчивость и вечное возвращение на круги своя. Представление человека о Вселенной сильно поменялось на протяжении тысячелетий, особенно — совсем недавно, после усовершенствования наших исследовательских инструментов. Но большие сдвиги были и в прошлом: например, во времена расцвета ранних шумерских городов-государств, с появлением жрецов, наблюдающих за небесными траекториями, или во времена физиков и астрономов Александрии с их концепцией земного шара внутри семи вращающихся небесных сфер.

По этой причине при анализе мифов, легенд и соответствующих обрядов, помимо определенных постоянных сюжетов и принципов, нужно распознавать и частности, обусловленные не только разнообразием общественных систем, но и природными особенностями, которые в течение тысячелетий формировали и меняли представление человека об окружающем мире.

Более того, в свете археологических находок становится очевидным, что в течение первобытных эпох происходило общее центробежное расселение народов во все стороны, различные популяции все дальше и дальше обособлялись друг от друга, и каждая вырабатывала свои собственные способы применения разделяемых всеми общих идей и соответствующие их трактовки. Теперь же мировые транспорт и средства связи снова объединяют человечество, и различия стираются. Прежние расхождения, отделяющие одну систему от другой, становятся сейчас все менее и менее значимыми, все менее заметными. Наоборот, становится важно научиться увидеть за различиями общие внутренние сюжеты, которые возникли, когда пращуры человека впервые поднялись над уровнем развития животных, и по-прежнему пребывают с нами.

Еще одно соображение, прежде чем перейти к следующему вопросу: в наши дни — по крайней мере, в ведущих современных центрах культурного творчества — люди начали воспринимать наличие обеспечивающего их жизнь общественного порядка как само собой разумеющееся. Вместо того чтобы стремиться защищать и укреплять общество, они стали концентрироваться на развитии и защите индивидуума — не как части государства, а как отдельной сущности и конечной меры всех вещей. Такая ситуация характеризует собой исключительно важный, беспрецедентный сдвиг точки зрения, последствия которого для будущего мифологии мы еще обсудим.

Давайте, однако, сначала рассмотрим некоторые значимые различия в традиционных взглядах, давшие начало противоречивым трактовкам общих мифов в различных частях мира.

Что касается первых книг и глав Библии, то и для иудеев, и для христиан было общей нормой понимать повествования о происхождении вселенной и подлинных доисторических событиях буквально, как достоверные свидетельства. Считали и учили, что мир был сотворен за семь дней неким Богом, известным только иудеям, что где-то на этой просторной новой земле находился эдемский сад со змеем, умеющим говорить, что первая женщина Ева была создана из ребра первого человека и что злой змей рассказал ей о чудесных свойствах плодов, которые Бог запретил паре есть. Вследствие того, что первые люди съели плод, случилось грехопадение всего человечества, смерть вошла в мир, а пару изгнали из сада. Ибо в саду было и второе дерево, плоды которого могли даровать вечную жизнь; Создатель, боясь, как бы люди теперь не поели еще и от него, став такими же знающими и бессмертными, как он сам, проклял их и изгнал, а у ворот сада поставил херувима с пламенным мечом, охраняющего все подступы к древу жизни.

Сегодня кажется невероятным, но люди еще верили во все это едва ли не полвека назад: священники, философы, государственные чиновники и прочие. Сегодня мы знаем — и знаем точно, — что ничего подобного не было: на земле нет никакого эдемского сада, змеи никогда не могли говорить, никогда не происходило ни доисторического грехопадения, ни изгнания из сада, ни Всемирного потопа, не существовало и Ноева ковчега. История, на которой были основаны ведущие западные религии, является сборником вымыслов. Но что удивительно, такие выдумки были широко распространены и стали базовыми преданиями многих других религий. Их двойники обнаруживаются повсюду — и тем не менее, не было никогда таких сада, змеи, дерева и потопа.

Как объяснить эти странности? Кто придумывает эти невероятные истории? Откуда берутся эти образы? И почему — несмотря на явную абсурдность — им так благоговейно верят повсюду?

Предположу, что, сравнивая разные мифологические традиции разных частей света, можно прийти к пониманию их силы, источника и возможного смысла. Они не историчны. Это совершенно ясно. Следовательно, они говорят не о событиях внешнего мира, а о сущностях воображения. И поскольку они обнаруживают действительно всеобщие признаки, то в каком-то смысле должны отражать особенности воображения, присущие человеческой расе, неизменные свойства души человека или, как мы говорим сегодня, психики. Мифы говорят о фундаментальных темах, вечных базовых принципах, которые стоило бы познать. В сущности, их необходимо исследовать, чтобы сохранить связь разума с тайными побуждениями и глубинами психики. Короче говоря, священные сказания с их образами являются посланиями разуму из уголков души, неизвестных бодрствующему сознанию. Если толковать их как хронику событий, имевших место в определенном пространстве и времени — будущем, настоящем или прошлом, — они неизбежно будут поняты превратно, воздействие их исказится, а функции символа примет на себя какой-либо второстепенный предмет: священный жезл, камень или животное, человек, событие, город или социальная группа.

Давайте чуть более пристально рассмотрим библейский образ сада.

Его название, Эдем, на иврите означает «наслаждение, место наслаждения». Английское Paradise происходит от персидского *пайри*, «вокруг», и *дайза*, «стена», по сути означая «огороженное стеной место». Очевидно, что Эдем — окруженный стеной сад наслаждения, в центре которого стоит огромное дерево — точнее, два: древо познания добра и зла и древо вечной жизни. Кроме того, из сада — как из неиссякаемого источника — в четырех направлениях текут четыре реки, питающие мир. А когда наши прародители, съевшие плоды, были высланы прочь, у восточных ворот сада поставили херувимов, чтобы (как мы уже слышали) преградить путь к возвращению.

Этот образ Эдема — описывающий не какое-то географическое место, а панораму души — внутри нас. Однако наш разум не в состоянии войти в него и насладиться вкусом вечной жизни, поскольку мы уже вкусили знание добра и зла. По сути, именно знание выгнало нас из сада, изгнало из собственной сердцевины. В итоге мы судим обо всем в категориях знания и переживаем только добро и зло вместо вечной жизни, которая, поскольку огороженный сад заключен внутри нас, уже должна быть нашей, хотя даже не осознанна. Таким представляется смысл мифа, если трактовать его не как рассказ о доисторической эпохе, а как описание внутреннего, духовного состояния человека.

Теперь от этого библейского предания, пленившего Запад, перейдем к покорившему весь Восток индийскому сказанию о Будде, в котором тоже есть мифический образ древа вечной жизни, охраняемого вселяющими ужас стражниками. Именно под этим деревом сидел Сиддхартха, обратившись лицом на восток, когда пробудился к истинному пониманию своей собственной вечности, после чего стал известен как *Будда*, «Пробудившийся». В буддийской легенде есть и змея, но вместо отождествления со злом ее считают символом вечной энергии, наполняющей все живое на земле. Для змеи сбросить кожу — то же самое, что заново родиться, на Востоке ее уподобляют духу перевоплощения, который обретает новое тело и избавляется от старого, как человек надевает и снимает одежду. В индийской мифологии рассказывается об огромной кобре, удерживающей на своей голове плоскую, как стол, Землю: голова змеи, конечно же, находится по центру Земли, прямо под мировым древом. Согласно легенде о Будде, когда «Благословенный», достигнув всеведения, несколько дней продолжал сидеть, погрузившись в состояние полной медитации, он оказался в опасности из-за большой бури, разразившейся в мире вокруг него. Тогда эта громадная змея, поднявшаяся из недр, обвилась вокруг Будды, защищая, а голову его прикрыла своим капюшоном.

Таким образом, в одной из этих двух легенд о дереве помощь змеи отвергнута и само животное проклято, а в другой — принята. В обоих случаях змея как-то связана с деревом и явно насладилась его плодами, поскольку может сбросить кожу и жить по новой, но в библейском предании наших прародителей выгнали из сада с древом, а в буддистском — мы все еще желанные гости. Таким образом, дерево, под которым сидел Будда, соотносится со вторым древом Эдема, как уже было сказано, не географического, а психологического. В таком случае что мешает нам вернуться и усесться под деревом, подобно Будде? Кто такие или что такое те два херувима? Есть ли у буддистов представление о подобной паре?

Один из самых крупных буддистских центров в мире сегодня — священный город Нара, Япония, где в огромном храме хранится удивительная бронзовая статуя. Шестнадцатиметровый Будда сидит со скрещенными ногами на гигантском лотосе, подняв правую руку в жесте, говорящем: «Не бойся». Каждый приближающийся к территории этого храма проходит через ворота, которые охраняются, слева и справа, двумя гигантскими потрясающе грозными фигурами воинов, размахивающих мечами. Это буддистские двойники херувимов, поставленных Яхве у ворот сада. Однако тут нас не собираются запугивать и сдерживать. Страх смерти и желание жить, которые вызывают в нас эти грозящие стражники, следует оставить позади, проходя между ними.

Иначе говоря, в представлении буддистов снаружи сада нас удерживает не подозрительность или гнев какого-то бога, а собственная инстинктивная привязанность к тому, что мы принимаем за настоящую жизнь. Наши чувства, направленные наружу, в мир пространства и времени, привязали нас к этому миру и бренным оболочкам. Мы не желаем бросать то, что считаем благами и удовольствиями материальной жизни, и привязанность к ним — важное обстоятельство, значимое условие или препятствие, удерживающее нас вне сада. Она и только она мешает нам увидеть

внутри себя то бессмертное вселенское сознание, для которого наши физические ощущения, обращенные наружу, являются всего лишь проводниками.

Согласно этой доктрине, не нужен никакой херувим со сверкающим мечом, чтобы не дать нам войти в собственный внутренний сад. Мы сами не пускаем себя туда из-за жадного интереса к преходящим внешним аспектам как своей личности, так и всего окружающего. Таким образом, проход через охраняемые ворота символизирует наш отказ и от такого знакомого мира, и от привычного образа себя: от данных нам лишь в ощущениях вещей, на наших глазах зарождающихся и погибающих, определяемых как добро или зло и, следовательно, рассматриваемых с желанием и страхом. У одного из двух больших буддистских херувимов рот открыт, у другого закрыт — как мне сказали, в знак того, что в этом бренном мире мы всегда познаем все в категориях пары противоположностей. Проходя между ними, мы должны оставить такое мышление.

Но разве, в конце концов, не в этом же урок библейской истории? Ева и затем Адам съели плод познания добра и зла, иначе говоря, пары противоположностей, тут же осознали себя отличающимися друг от друга и устыдились. Поэтому Бог не более чем подтвердил уже свершившееся, когда выгнал их из сада познать муки смерти, рождения и тяжелого труда ради пропитания в этом мире. Более того, теперь они узнали самого Бога как совершенно «другого», гневного и угрожающего, а херувимы у ворот стали метафорами нового опыта — теперь их собственного — познания и Бога и самих себя. Но, как нам говорит то же библейское предание, на самом деле бессмертие все еще было доступно Адаму: «И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Христианский образ распятого Спасителя в точности определяет, что нам надлежит делать. Учат, что Христос вернул человеку бессмертие. На всем протяжении Средних веков его крест приравнивался к дереву вечной жизни, и плодом этого

древа был сам распятый Спаситель, предложивший, чтобы его плоть и кровь стали нам «истинно пищей» и «истинно питием». Он сам, так сказать, смело шагнул прямо сквозь охраняемые ворота без страха перед херувимом и вращающимся пламенным мечом. Как Будда пятью столетиями раньше оставил позади все эгоистичные желания и страхи, чтобы прийти к познанию себя как чистой вечной Пустоты, так и западный Спаситель оставил свое тело пригвожденным к дереву и чистым духом отправился на искупление — воссоединение — с Отцом, чтобы мы могли последовать за ним.

Таким образом, символические образы этих двух религий формально равнозначны, даже при том, что позиции религий будет трудно согласовать. В Ветхом и Новом Заветах Бог и человек — не единое целое, а противоположности, и причина изгнания человека из сада — в том, что он ослушался своего Создателя. Соответственно, жертва на кресте была по своей природе не столько реализацией воссоединения, сколько покаянным искуплением. С точки зрения буддистов, разъединение человека с источником его бытия следует скорее определять в терминах психологии — как результат того, что разум сбился с пути, не ведает о своем месте и происхождении и объясняет итоговую реальность лишь данными в ощущениях явлениями. Уровень наставлений, представленных в библейской истории, больше похож на сказку о непослушании и наказании за него, которую детям рассказывают перед сном, прививая подчинение, боязнь и почтительную преданность, — что, возможно, подходит для ребенка и его отношения к родителям. Буддистское же учение, напротив, предназначено для отвечающих за себя взрослых. Несмотря на это, используемый обеими религиями образный ряд гораздо старше любой из них, древнее, чем Ветхий Завет, значительно древнее буддизма, древнее даже самой Индии. Символику змеи, дерева и сада бессмертия можно найти уже в самых ранних клинописных текстах, на старых шумерских

цилиндрических печатях и даже в первобытных изображениях и обрядах по всему миру.

С точки зрения сравнительного изучения символических форм не имеет значения, действительно ли Христос или Будда когда-то жили и совершали чудеса, ассоциируемые с их учениями. В мировой религиозной литературе полно аналогий этих двух великих жизнеописаний. В конечном счете, из каждого можно вынести, что спаситель, герой, избавитель — это тот, кто научился преодолевать защитную стену страхов, которые, как правило, наяву и даже в ночных сновидениях отгораживают нас от собственного опыта и божественной основы мира. Мифологизированные биографии таких спасителей, несущих послание о выходящей за пределы познаваемого мира мудрости, оперируют трансцендентальными символами, которые по иронии судьбы обычно переводятся обратно в такие же вербализованные запреты, из которых построены исходные внутренние стены. Бывало, я с сожалением слушал, как добродетельные христианские священники во время венчания наставляют молодую пару жить в браке так, чтобы в мире грядущем их ожидала жизнь вечная. Более уместным для мифа был бы совет так построить совместное будущее, чтобы уже на этом свете испытать жизнь вечную. Ибо бессмертие действительно существует — это вопрос базовых человеческих ценностей, определяющих каждый поступок в жизни человека, присущих как приобретению опыта, так и его реализации, всему тому, с чем люди в любые времена живут и умирают. Мы все неосознанно воплощаем их, просто великими становятся те, кто пробудился и осознал это, — как намекают слова, приписываемые Христу, в гностическом Евангелии от Фомы: «Но царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его».

В свете этого мифологии можно определить, как поэтические выражения трансцендентального видения. Если позволительно использовать в качестве свидетельства древность известных базовых мифических фигур — бога в змеином обличье, напри-

мер, или священного дерева, — основы того, что мы сегодня считаем мистическими откровениями, были известны с самого начала, хотя бы некоторым еще первобытным учителям человечества.

Каковы же тогда первые проявления мифологического мышления?

Как уже отмечалось, среди самых ранних свидетельств существования человекообразных существ сегодня мы можем упомянуть останки, недавно раскопанные в ущелье Олдувай в Восточной Африке доктором Луисом Лики: явно гуманоидные челюсти и черепа, обнаруженные в слоях пород, имеющих возраст около 1,8 млн лет. Это очень далекое прошлое. С той поры и до возникновения на Ближнем Востоке земледелия и одомашнивания скота пропитание человека полностью зависело от собирательства, охоты и рыбалки. В первые тысячелетия люди обитали и кочевали небольшими группами, составляя на земле меньшинство. Это сегодня мы доминируем над остальными живыми существами, и даже враги, с которыми мы сталкиваемся, — наши собственные соплеменники. В те времена первенство оставалось за зверями, которые к тому же являлись «старожилами» земли, обладали отточенными и проверенными приемами борьбы за существование, находились в родной обстановке, и многие из них были крайне опасны. Исключительно редко выходило так, что одна община людей сталкивалась и имела дело с другой. Обычно вступать в схватки — безнадежные и наоборот — приходилось с животными. И как в наши дни мы по-разному относимся к соседям: с опаской, уважением, отвращением, симпатией или безразличием, так на протяжении всех этих тысяч веков аналогичные чувства люди испытывали к живущим рядом с ними животным. И как сегодня мы достигаем понимания с соседями — или как минимум считаем, что находим, — так и первые обезьяноподобные люди, должно быть, полагали, что между ними и миром животных есть определенное взаимопонимание.

Наши первые ощутимые свидетельства мифологического мышления относятся к периоду неандертальцев, длившемуся где-то с 250 до 50 тысячелетие до нашей эры. Они включают в себя, во-первых, захоронения с запасами еды, погребальным инвентарем, орудиями труда, принесенными в жертву животными и т. п., а во-вторых — ряд «молелен» в высокогорных пещерах, где сохранились ритуально упорядоченные в символической выкладке черепа пещерных медведей. Захоронения предполагают идею если не бессмертия, то как минимум какого-то типа грядущей жизни. Почти недоступные святилища медвежьих черепов высоко в горах, конечно, означают культ этого громадного, умеющего, подобно человеку, вставать на задние лапы мохнатого персонажа. Медведю все еще поклоняются живущие охотой и рыболовством северные народы — и в Европе, и в Сибири, а также племена североамериканских индейцев: по нашим данным, среди них принято сохранять головы и черепа почитаемых зверей, как и у далеких пещерных неандертальцев.

Особенно поучительным и хорошо описанным является пример культа медведя у айнов — европеоидной расы, которая пришла на территорию Японии и обосновалась там на несколько веков ранее монголоидных японцев, а сегодня заселяет только северные острова, Хоккайдо и Сахалин (последний, конечно, теперь принадлежит России). Эти любознательные люди придерживаются здравого убеждения, что наш мир гораздо привлекательнее потустороннего, и потому божественные существа, живущие в том, другом, любят наносить нам визиты. Они приходят в облике животных, но, однажды надев звериные шкуры, уже не способны снять их. Поэтому боги не могут вернуться домой без содействия человека. Айны оказывают им помощь — убивая их, снимая и поедая звериные оболочки и ритуально желая визитерам счастливого пути.

У нас есть целый ряд подробных отчетов о таких ритуалах, и даже в наше время исследователю может повезти оказаться

свидетелем подобного. Пойманные еще детенышами медведи растут любимцами в семье охотника, нежно выкармливаемые женщинами, им позволяют кувыркаться с детьми. Когда они вырастают и становятся слишком опасными, их держат в клетке. Наконец, маленький гость достигает четырех лет, и для него приходит время отправиться домой. Глава дома, в котором живет медвежонок, готовит его к будущему событию, поясняя, что хотя он может посчитать торжества слегка грубоватыми, они, без сомнения, производятся со всем почтением и были такими задуманы. «Маленькое божество, — обращаются к сидящему в клетке медвежонку, — мы собираемся отправить тебя домой. Если ты никогда раньше не участвовал в подобной церемонии, знай, что она проводится именно так. Мы хотим, чтобы ты пошел домой и рассказал своим родителям, как хорошо здесь, на земле, с тобой обходились. Если ты получил удовольствие, живя среди нас, и хотел бы доверить нам честь снова принять тебя в гости, мы в свою очередь обещаем предоставить тебе честь участия в еще одной такой церемонии». С медвежонком быстро и умело расправляются. С него снимают шкуру вместе с головой и лапами и закрепляют ее на каркасе так, будто это живой зверь. Затем готовится пиршество, основным блюдом которого является тушенка из порубленного кусками мяса этого самого медведя, полную миску которой ставят под его мордой, чтобы он в последний раз отужинал на земле, после чего, как предполагается, потустороннее существо, с кучей прощальных подарков и по уши довольное, отправляется домой.

Главным, к чему я хотел бы привлечь внимание, является предложение медведю вновь вернуться на землю. Это подразумевает, что, по мнению айнов, такого понятия, как смерть, не существует. Подтверждением этому мы считаем последние наставления усопшим во время погребальных ритуалов айнов. Мертвые не возвращаются назад призраками или вселяясь в одержимых духами — только естественным путем, снова

превращаясь в младенцев. Более того, поскольку сама по себе смерть не может служить наказанием для айнов, самым суровым приговором за тяжкие преступления у них считается гибель под пытками.

Вторая важная идея состоит в представлении медведя божественным гостем, чье животное тело должно быть «разломано» (как они говорят), чтобы освободить гостя для возвращения к себе, в потусторонний мир. Многие съедобные растения, как и звери, на которых охотятся айны, считаются посетителями подобного рода, так что айны, убивая и съедая их, на самом деле не причиняют им вред, а оказывают услугу. Здесь прослеживается очевидная психологическая защита первобытного народа охотников и рыболовов, чье существование целиком зависит от непрерывной череды беспощадных убийств, от чувства вины и страха мести. Убитые звери и съеденные растения считаются добровольными жертвами, так что их освобожденные души должны откликнуться благодарностью, а не злостью за «разламывание и поедание» временных физических оболочек.

У айнов округа Кусиро (на юго-восточном побережье Хоккайдо) существует легенда, чье предназначение — объяснить, почему к медведю относятся с большим почитанием. В ней говорится о молодой женщине, которая каждый день ходила со своим малюткой в горы в поисках корешков лилии и других съедобных растений. Когда она набирала достаточно и шла к ручью промыть коренья, то снимала ребенка со спины и оставляла на берегу завернутым в ее одежду, а сама обнаженная входила в воду. В один из таких дней, зайдя в ручей, она запела красивую песню, а выбравшись на берег, не только не замолчала, но еще и затанцевала под собственное пение. Всецело поглощенная танцем и песней, она не замечала ничего вокруг, пока внезапно не услышала зловещий шум и, повернувшись, не увидела направляющегося к ней бога-медведя. В ужасе она убежала в чем была. Когда бог-медведь заметил брошенного у ручья малыша, он подумал: «Я подошел,

плененный прекрасной песней, ступая тихо, чтобы не быть замеченным. Но увы! Ее музыка была так чудесна, что привела меня в восторг, и я нечаянно помешал».

Младенец начал кричать, и бог-медведь сунул свой язык ему в рот, чтобы покормить и успокоить, и еще несколько дней умудрялся поддерживать в нем жизнь, нежно нянча и не оставляя одного. Когда подошла группа охотников из деревни, медведь удалился, а крестьяне, наткнувшись на брошенного живого ребенка, догадались, что медведь заботился о нем, и с восхищением сказали друг другу: «Он заботился об этом потерянном малыше. Медведь хороший. Он — достойное божество и, конечно, заслуживает нашего поклонения». Так что они последовали за медведем и убили его, а затем принесли в деревню, устроили медвежье празднество и, поднеся вкусной еды и вина его душе, а также осыпав ее амулетами, отправили домой в богатстве и радости.

Поскольку медведь, главная фигура пантеона айнов, считается богом гор, ряд ученых предполагают, что это может объяснить выбор высокогорных пещер в качестве ритуальных помещений древнего медвежьего культа неандертальцев. Айны тоже собирают черепа медведей, которых приносят в жертву. Кроме того, в горных «молельнях» неандертальцев были замечены признаки кострищ; в ходе ритуала айнов богиню огня Фудзи приглашают разделить с принесенным в жертву медведем трапезу его мясом. Предполагается, что эти два божества, богиня огня и бог гор, беседуют друг с другом, пока хозяева и хозяйки пиршества, айны, ночь напролет развлекают их песнями и угощают едой и питьем. Мы не можем быть уверены наверняка, что у далеких неандертальцев двести тысяч лет назад были какие-то похожие представления. Некоторые авторитетные ученые сильно сомневаются в правомерности интерпретации доисторических находок в привязке к обычаям современных примитивных народов. И все же в данном случае параллели действительно поражают.

Отмечалось даже, что и тогда, и сейчас у отрубленных черепов обычно оставлено по два шейных позвонка. В любом случае мы можем с уверенностью, без тени сомнений утверждать, что у обоих народов медведь является почитаемым животным, чьи силы превозмогают смерть и сохраняются в отрубленном черепе, что ритуалы призваны увязать его силы с целями и жизнью человеческого сообщества и что сила огня каким-то способом связана с обрядами.

Самые ранние известные свидетельства добывания и поддержания огня восходят к периоду, столь же далекому от эпохи неандертальца, как его непримечательный день далек от наших дней, а именно — к временам питекантропа примерно пятьсот тысяч лет назад, к логовам вечно голодного низколобого каннибала, известного как пекинский человек, который, в частности, видимо, обожал мозги а-ля натюрель и пожирал их сырыми из только что вскрытых черепов. Он не использовал костры для приготовления еды. Как и неандертальцы. Тогда для чего? Чтобы согреться? Возможно! Как возможно и то, что питекантроп поддерживал огонь в очаге, словно на алтаре, завороженный магией пламени. Такая догадка кажется еще вероятнее, если учесть, что позднее усмиренный огонь появится не только в высокогорных медвежьих храмах неандертальцев, но и на медвежьих пиршествах айнов, где недвусмысленно признается олицетворением богини. Вполне возможно, что огонь был первым божеством доисторического человека. У огня есть свойство не уменьшаться при разделении на части, а увеличиваться. Огонь, единственный на земле, сияет, подобно солнцу и молнии. Еще он живой: в теплоте человеческого тела заключена сама жизнь, которая уходит из него, когда тело остывает. Он чудовищен при извержении вулканов и, как мы знаем из преданий многих примитивных народов, часто отождествляется с вулканическим дьяволом, властвующим над загробным миром, где мертвые веселятся в вечной пляске среди мистически танцующих языков подземного пламени.

Суровые будни и жестокие нравы неандертальцев ушли в прошлое и даже стерлись из памяти с завершением ледниковых эпох, приблизительно сорок тысяч лет назад; затем появилась — довольно внезапно — бесспорно, более развитая человеческая раса, в буквальном смысле человек разумный, Homo sapiens, от которого напрямую происходим мы. Именно с людьми этого периода связывают удивительные наскальные рисунки в Пиренейских горах, возле реки Дордонь во Франции и в Кантабрийских холмах в Испании. Им же приписывают маленькие женские фигурки из камня и кости мамонта или слона, которые забавно прозваны палеолитическими Венерами и которые, по-видимому, являются первыми произведениями человеческого искусства. Череп пещерного медведя, которому поклоняются, — не акт искусства в том смысле, в каком я здесь использую этот термин, как и погребальные предметы или каменные орудия труда. Статуэтки были сделаны без ступней, поскольку задумывались, чтобы втыкать их в землю, устанавливая в маленьких домашних святилищах.

Мне кажется важным отметить, что мужские фигуры, встречающиеся в наскальных рисунках того периода, всегда во что-то одеты, женщины неизменно изображены полностью обнаженными и безо всяких украшений. Это кое-что сообщает о психологических и, следовательно, мифических значениях соответственно мужского и женского начал. Женщина мистична сама по себе и воспринимается именно так: не только как несущая и дарующая жизнь, но и очаровывающая одним прикосновением, даже присутствием. Соответствие ее циклов смене лунных фаз добавляет таинственности. В то же время одетый мужчина — тот, кто обрел полномочия, кто выполняет конкретную, определенную социальную роль или функцию. В младенчестве — как отмечали и Фрейд, и Юнг — мать воспринимается как сила природы, а отец — как власть общества. Мать, родившая ребенка из чрева, обеспечивает его питанием и в детском воображении может также представляться

(как ведьма из сказки про Гензеля и Гретель) матерью пожирающей, угрожающей поглотить обратно свое порождение. Отец же — тот, кто осуществляет инициацию, не только знакомя сына с его социальной ролью, но и служа для дочери основой самых первых впечатлений о мужском характере, так сказать, пробуждая дочь к ее социальной роли женщины рядом с мужчиной. Палеолитических Венер всегда находили поблизости от домашних очагов, в то время как изображения мужчин в нарядах обнаруживаются в дальних темных углах покрытых изображениями пещерных храмов, среди множества старательно прорисованных животных. Одеяниями и позами эти фигуры напоминают шаманов более поздних примитивных племен и, несомненно, были связаны с ритуалами охоты и посвящения.

Позвольте мне теперь разобрать легенду североамериканского индейского племени черноногих, которую я уже изложил в первом томе «Масок Бога» («Первобытная мифология). Она лучше, чем какая-либо из известных мне легенд, объясняет, как художники-охотники палеолита должны были интерпретировать ритуалы в своих таинственно разрисованных пещерных храмах. Легенда черноногих рассказывает о времени, когда индейцы на подходе зимы не смогли собрать достаточных запасов бизоньего мяса, поскольку животных не удавалось направить к обрыву и заставить спрыгнуть. Загнанные бизоны у самого края ухитрялись свернуть в сторону и убегали прочь.

И вот однажды ранним утром девушка из голодающей деревни, расположенной у подножия большого крутого холма, отправилась за водой. Подняв глаза, она заметила стадо, пасущееся вверху на равнине, и крикнула, что, если только бизоны собьются в загон, она выйдет замуж за одного из них. Вдруг сразу после этих слов животные начали сбегаться к обрыву, срываясь вниз и разбиваясь насмерть. Она, конечно, удивилась и обрадовалась, но потом, когда большой бык одним скачком перемахнул через ограду загона и понесся в ее сторону, пере-

пугалась. «Пошли!» — сказал он. «Ох, нет!» — ответила она, отступая. Но он, напомнив о ее обещании, увел девушку на холм и прочь, в прерию.

Этот бык был воплощением духа стада, фигурой скорее мифической, чем принадлежащей реальному миру. В легендах примитивных охотников мы повсюду находим его двойников: полузверь-получеловек, шаманские образы (как змея в Эдеме), в которых трудно разделить звериное и человеческое, хотя в рамках сюжета мы легко воспринимаем проявления отдельных сторон.

Когда довольные жители деревни кончили забивать «упавшую с неба» добычу, они поняли, что девушка исчезла. Ее отец, обнаружив следы дочери и заметив промеж них бизоньи, сходил за луком и стрелами, а затем отправился по следам вверх по холму и на равнину. Проделав немалый путь, он вышел к озерцу с бизоньими грязевыми ваннами и неподалеку разглядел стадо. Уставший охотник присел, раздумывая, что делать дальше, и увидел летящую сороку, которая опустилась поблизости и стала что-то поклевывать.

«Ух ты! — воскликнул человек. — Прекрасная птица, ты же летаешь повсюду. Если увидишь мою дочь, скажи ей, пожалуйста, что здесь, у озерца, ее дожидается отец!»

Прекрасная черно-белая птица с длинным изящным хвостом упорхнула прочь прямиком к стаду и, отыскав там девушку, опустилась поблизости на землю. Она опять стала поклевывать землю, вертя головой туда-сюда, пока не оказалась очень близко к девушке, и только тогда прошептала: «Твой отец ждет тебя возле озерца».

Девушка испугано осмотрелась вокруг. Бык, ее муж, расположившийся совсем рядом, спал. «Ш-ш-ш! Лети назад, — прошептала она, — и скажи моему отцу, пусть ждет».

Птица вернулась с посланием к отцу девушки, а тем временем большой бык проснулся.

«Сходи, принеси мне воды», — сказал он. Девушка, поднявшись, сняла рог с головы мужа и направилась к озерцу, где отец тут же схватил ее за руку. «Нет, нет! — предостерегла она. — Бизоны погонятся следом и убьют нас обоих. Нам надо подождать, пока большой бык снова заснет, тогда я приду и мы ускользнем».

Она наполнила рог и вернулась назад к мужу, который сделал большой глоток и потянул носом воздух. «Где-то рядом человек», — сказал он. Хлебнул еще и принюхался снова, затем встал и заревел. Какой ужасный рев!

Подскочили все быки. Они подняли свои короткие хвосты и затрясли ими, вскинули могучие головы и замычали, затем, разбрасывая копытами грязь, помчались на все четыре стороны. Наконец, достигнув озерца, они затоптали до смерти бедного индейца, пришедшего на поиски дочери: поднимали его на рога и снова топтали копытами, пока от тела не осталось и следа. Дочь кричала: «О отец, о мой отец!» И по лицу ее катились слезы.

«Ага! — жестко сказал бык. — Так ты рыдаешь по своему отцу! Теперь, возможно, ты поймешь, что происходит и всегда происходило с нами. Мы видели, как твой народ убивал и резал наших матерей, отцов, всех наших родных. Но я пожалею тебя и дам лишь один шанс. Если ты сможешь вернуть своего отца к жизни, позволю тебе и ему возвратиться к своим».

Несчастная девушка, повернувшись к сороке, упросила ее поискать в растоптанной грязи какую-нибудь частицу тела ее отца, чем птица и занялась. Она копалась возле озерца, пока ее длинный клюв не извлек кусок человеческого позвонка. Девушка осторожно положила его на землю и, накрыв своим платьем, запела

некую песнь. Совсем скоро стало заметно, что под одеждой лежит человек. Она приподняла уголок. Это был ее отец, пока бездыханный. Девушка опустила ткань и продолжила песню, а когда снова подняла платье, отец был жив. Он встал, и изумленная сорока запорхала вокруг него с цоканьем удивления. Бизоны были поражены.

«Сегодня мы видели странные вещи, — сказал большой бык своим сородичам. — Человек, которого мы затоптали насмерть, снова жив. Сила людей велика».

Затем он повернулся к девушке и сказал: «Прежде чем вы с отцом уйдете, мы обучим вас нашим танцу и песне, никогда их не забывайте». Танец с песней были магическими средствами, с помощью которых можно вернуть к жизни убитого людьми бизона точно так же, как был оживлен человек, убитый бизонами.

Все быки пустились в пляс, — как и подобало таким крупным зверям, их песня была неторопливой и торжественной, а поступь — тяжелой и размеренной. Когда танец окончился, большой бык сказал: «Теперь идите к себе домой и не забывайте, что видели. Научите этим танцу и песне свой народ. Головы быков и бизоньи шкуры будут служить священными предметами обряда — все, кто изображает в танце быков, должны надевать их на себя».

Поразительно, как много нарисованных фигурок в больших палеолитических пещерах начинают выглядеть иначе, когда рассматриваешь их в контексте таких вот легенд современных племен, живущих охотой. Конечно, нельзя быть до конца уверенными, что предполагаемые связи полностью точны. Однако почти наверняка основные идеи были сходными. Мы можем перечислить некоторые из них: убитые животные являются добровольными жертвами, обряды взывания к их духам представляют собой мистическое соглашение между животным миром и человеком, а песня и танец служат средством проявления вол-

шебной силы таких обрядов. Более того, концепция отношения к каждому виду животных как к эдакой множественной особи, происходящей от полузверя-получеловека, Звериного Господина, обладающего магической силой, связана с идеей о том, что смерти как таковой не существует. Материальные тела являются просто одеждой для невидимых сущностей, которые могут проходить туда-сюда сквозь неосязаемую стену между незримым потусторонним миром и этим. В древности, согласно легендам, между человеческими существами и зверями происходили контакты и переговоры, заключались браки и другие соглашения; из представлений об этих соглашениях произошли народные обряды и обычаи. Люди были убеждены в магической силе этих обрядов и в том, что для сохранения своей силы ритуалы должны проводиться в исходной, первоначальной форме, — даже малейшее отклонение разрушает их чары.

Вот таким он был, мифический мир первобытных охотников. Обитая в основном на просторных пастбищах, где природа — это широко раскинувшаяся равнина, накрытая лазурным куполом, смыкающимся с землей у далекого горизонта, а преобладающая форма жизни — группы животных, перемещающихся по этому гигантскому пространству, кочевые племена, живущие убийствами, обычно и нрав имели воинственный. Поскольку людей кормили и защищали охотничьи навыки и боевая отвага мужчин, в племенах доминировали мужская психология, ориентированная на мужчин мифология и значимость личного мужества.

В тропических джунглях, с другой стороны, преобладает совершенно другой природный порядок, соответственно отличаются их психология и мифология. Основные события разворачиваются среди буйной растительности, где происходящее чаще скрыто, чем видимо глазу. Над головой — покрытый листвой верхний мир, населенный снующими кричащими птицами; под ногами — плотный покров из листьев, под которым притаились змеи,

скорпионы и разные другие угрожающие смертью твари. Нигде не найти чистого горизонта, во всех направлениях — бесконечное переплетение стволов и листвы, куда опасно лезть в одиночку. Жизнь поселения относительно стабильна, привязана к земле, люди питаются растительной пищей, собираемой или выращиваемой в основном женщинами, и потому мужская психология не в цене. Даже первоначальная для юноши психологическая задача достижения независимости от матери с трудом выполнима в мире, где вся важная работа, за что ни возьмись, выполняется исключительно знающими свое дело женщинами.

Поэтому именно среди тропических племен возникла поразительная практика мужских тайных обществ, куда не допускали женщин, где можно было погрузиться в тешащие мужское влечение к подвигам символические игры для любознательных и сделать это в безопасности и втайне, вдали от контролирующего взора матери. В этих регионах привычное зрелище гниющей растительности, дающей начало новым зеленым побегам, по-видимому, зародило мысли о символическом значении смерти как дарительницы жизни, из которых родилась ужасная идея о том, что путь к приумножению жизни проходит через приумножение смерти. Итогом стало охватившее на многие тысячелетия весь тропический пояс нашей планеты повальное увлечение жертвоприношениями. Оно в корне отличалось от сравнительно ребяческих обрядов поклонения животным и умиротворения их духов, бытовавших среди охотников великих равнин: безжалостное принесение в жертву людей, как и животных, весьма символичное в каждой своей детали, жертвование урожая, первенцев, вдов на могилах их мужей и даже всех придворных вместе с их королями. Мифическая идея добровольной жертвы стала связываться здесь с образом изначального существа, которое когда-то в древности выразило готовность быть убитым, расчлененным и похороненным, чтобы из его погребенных частей выросли съедобные растения, благодаря которым люди смогли бы выжить.

На полинезийских островах Кука существует занятный местный вариант этого общепринятого мифа в форме легенды о девушке по имени Хина (Луна), которая любила купаться в некоем озере. Однажды громадный угорь проплывал мимо и прикоснулся к ней. Это повторялось день за днем, пока как-то раз угорь не сбросил свою кожу и перед девушкой не предстал красивый юноша, Те Туна (Угорь), который и стал ее возлюбленным. С той поры он мог навещать ее в человеческом облике и снова становился угрем, когда уплывал, пока однажды не объявил, что пришло ему время покинуть Хину навсегда. Он нанесет ей еще один визит в виде угря, во время большого прилива, а она должна будет отрезать ему голову и зарыть ее. Так и случилось, и Хина сделала все точно, как ей было сказано. Потом она каждый день приходила на место, где закопала голову, пока не появился зеленый росток, который вырос в красивое дерево, со временем принесшее плоды. Так появились первые кокосы, и на любом орехе, когда его почистишь, по-прежнему видны глаза и лицо возлюбленного Хины.

Глава III

ЗНАЧЕНИЕ ОБРЯДОВ
(1964)

Назначение ритуала, как я его понимаю, — придать форму человеческой жизни, и не путем простого поверхностного упорядочения, а в глубинной сути. В древние времена каждое общественное событие было ритуально структурировано, и ощущение его значимости передавалось через тщательно выдерживаемую религиозную атмосферу. Сегодня она приберегается для исключительных, совершенно особых, «священных» поводов. И все же ритуалы живут, даже в шаблонах нашего поведения в обычной жизни. Их можно распознать, например, не только в судебных регламентах и военных уставах, но даже в манерах людей, усаживающихся вместе за один стол.

Вся жизнь — структура. В биосфере чем сложнее структура, тем выше форма жизни. Морская звезда с изгибающимися лучами значительно сложнее, чем амеба, и по мере продвижения вверх по линии эволюции, скажем до шимпанзе, сложность все нарастает. То же самое можно сказать о культурной сфере человека: незрелое представление о том, что энергию и силу можно представить или передать, отбросив и нарушив структуры, опровергнуто всем, что мы знаем о происхождении жизни и ее эволюции.

Так вот, структурирующие модели поведения животных являются неотъемлемой частью унаследованных животными нервных систем, и так называемые врожденные спусковые механизмы, которыми определяются эти модели, по большей части стереотипны. От животного к животному отклики в рамках вида однообразны. Больше того, поразительна сложность некоторых установившихся шаблонов поведения: взять хоть иволгу, вьющую свое искусное висячее гнездо, или паукообразных с их чудесными сетями. Если бы не привычка к подобному зрелищу, нас бы переполняло недоверие и удивление при виде математической правильности и сбалансированности мерцающей паутины, идеально развешанной между выбранными веточками сбоку от лесной тропы, задуманной и выполненной (как мы обычно говорим о любой сопоставимой человеческой работе) с безошибочным ощущением прочности материалов, натяжений, равновесий и так далее. Все подобные чудеса малой архитектуры — ульи, муравейники, раковины наутилуса и тому подобное — созданы в соответствии с унаследованными навыками, укоренившимися в клетках и нервных системах животного вида.

Наш человеческий род, с другой стороны, отличает то, что спусковые механизмы реакций нашей центральной нервной системы по большей части не «стереотипны», а «открыты». Следовательно, они восприимчивы к влиянию общества, в котором человек растет. Ибо человеческий младенец рождается — в биологическом смысле — примерно лет на десять или двенадцать раньше положенного срока. Он вырабатывает свой человеческий характер, растет в высоту, обретает способность говорить и обзаводится багажом собственных взглядов, — и все это происходит под влиянием определенной культуры, особенности которой, так сказать, впечатываются в его нервы. Структурные шаблоны, которые в мире животных наследуются биологически, у людей в основном формируются правилами социальной среды и закрепляются в период, давно известный как «возраст восприимчивости». Ритуалы являются общепризнанным спо-

собом такого обучения. Мифы — ментальная основа обрядов, а обряды — физическое воплощение мифов. Постигая мифы своей социальной группы и участвуя в ее обрядах, ребенок развивается в соответствии со своей социальной, а также природной средой и из аморфного, преждевременно родившегося творения природы превращается в обладающего характером и компетентностью члена вполне конкретного, эффективно функционирующего общественного строя.

Эта в целом экстраординарная преждевременность рождения человеческого младенца, из-за которой на всем протяжении своего детства он зависим от родителей, навела биологов и психологов на сравнение нашей ситуации с тем, что происходит у сумчатых. Например, кенгуру дают потомство всего через три недели после зачатия. Крошечные недоразвитые создания инстинктивно заползают по животу матери в ее сумку, где пристраиваются — без всякого обучения — к соскам и остаются, выкармливаемые и защищаемые, так сказать, во второй утробе, пока не станут готовы к самостоятельной жизни. Эволюция пошла еще дальше, и у млекопитающих в дело включилась биологическая новация, плацента, которая позволяет детенышу оставаться внутри матери почти до готовности к независимости, так что, как правило, млекопитающие могут позаботиться о себе практически сразу после рождения или, по крайней мере, через несколько дней или недель. С другой стороны, у людей, с их огромным мозгом, которому требуются многие годы формирования, дети снова рождаются раньше срока, но вместо сумки матери у нас есть родительский дом, который, помимо прочего, служит своего рода внешней второй утробой.

Во время этого этапа домашней жизни закладываются все основные социальные модели. Однако они связаны с позицией зависимости, которую предстоит оставить в прошлом, прежде чем будет достигнута психологическая зрелость. Несовершеннолетний реагирует на вызовы своего окружения, обращаясь

к родителям за советом, поддержкой и защитой, и прежде чем на человека можно будет рассчитывать как на взрослого, эта модель действий должна быть изменена. Соответственно, одна из первых функций как обрядов половой зрелости в первобытных сообществах, так и образования вообще всегда заключалась в переключении систем реагирования подростков от зависимости к ответственному поведению. Это преобразование не так просто выполнить. С расширением периода зависимости в нашей культуре до двадцати пяти или даже почти до тридцати лет проблема сегодня гораздо грознее, чем когда-либо, а наши неудачи все более и более очевидны.

В таком контексте невротика можно определить как человека, которому не удалось пройти через критический порог своего «второго рождения» в мир взрослых. Стимулы, которые должны пробудить в нем ответственные мысли и действия, вместо этого вызывают желание сбежать под защиту, страх перед наказанием, потребность в поддержке и так далее. Невротик должен все время корректировать спонтанность своих ответных шаблонов. Как ребенок, он будет склонен приписывать свои неудачи и неприятности или родителям, или удобному их заменителю, государству и общественному порядку, которые его защищают и поддерживают. От взрослого прежде всего требуется брать на себя ответственность за свои неудачи, за свою жизнь и за свои поступки в реальных условиях мира, в котором он обитает. Следует учесть азбучный факт из психологии: до такого состояния не разовьются те, кто постоянно мечтают, какими бы великими они стали, если бы только условия их жизни оказались другими, — не такие безразличные к их потребностям родители, менее жестокое общество или иначе устроенная Вселенная. Первое требование любого общества состоит в том, чтобы взрослая его часть осознавала и следовала простой правде — именно они составляют жизнь и бытие общества. В таком случае главная функция обрядов половой

зрелости должна заключаться в том, чтобы заложить в личность систему отношений, которая подходит для общества, где человек намеревается жить, и на которую само общество будет опираться в своем существовании.

В современном западном мире к тому же есть дополнительная сложность, поскольку мы требуем от взрослого чего-то большего, чем просто принять, без критического рассмотрения и вынесения личного суждения, традиции и унаследованные обычаи местного сообщества. Мы требуем и ожидаем, что человек будет развивать черты, названные Зигмундом Фрейдом «функцией реальности», — качества независимо действующего и свободно мыслящего человека, способного непредвзято оценивать возможности как свои, так и своего окружения, анализировать и созидать, а не просто воспроизводить унаследованные шаблоны, в конечном итоге став сосредоточием нововведений, активным, творческим ядром жизненного процесса.

Другими словами, наш идеал общества не в том, чтобы оно было совершенно статичной структурой, основанной в эпоху предков и остающейся с той поры неизменной. Скорее это процесс продвижения к выполнению пока еще нереализованных возможностей, и в этом живом процессе каждому предстоит быть не только инициатором, но и помощником. Соответственно, перед нами стоит комплексная проблема воспитания молодежи, поскольку требуется научить ее не просто слепо перенимать модели прошлого, а находить и развивать свои собственные творческие возможности, не оставаться на достаточно известном уровне ранней биологии и социологии, а воплощать движение вида в будущее. И я бы сказал, что это в каком-то смысле особая забота всех, кто считает себя представителем современной западной цивилизации, поскольку именно с середины XIII века именно она остается буквально единственной цивилизацией новаторов в мире.

Однако нельзя не отметить, что примерно с 1914 года в нашем прогрессивном мире росло пренебрежение и даже презрение к тем ритуальным формам, которые когда-то породили и до сих пор продолжают питать эту бесконечно богатую и плодотворную цивилизацию. Смехотворные сантименты вокруг «естественного человека» обретают все больше влияния. Их начало уводит нас в XVIII век прямиком к Жан-Жаку Руссо с его искусственными попытками возврата к природе и представлениями о благородном дикаре. Начиная со времен Марка Твена американцы за границей являли собой печально известные образчики наивной убежденности в том, что европейцев и азиатов, живущих в застарелой, законсервированной среде, следует взбодрить и вернуть к их собственной невинной естественности с помощью милой сердцу американской почвы, Билля о правах и неподдельной неотесанности самих граждан земли обетованной. В Германии представителями этого реакционного направления в современной жизни были, между двумя войнами, группы «Вандерфогель» — «Перелетные птицы» с их рюкзаками и гитарами, а позднее гитлерюгенд. Прямо сейчас в благословенной Америке идиллические привалы босых белых и черных «индейцев», разбивших на городском тротуаре свой лагерь с тамтамами, постельными скатками и детьми в заплечных сумках, того и гляди превратят целые городские кварталы в районы полевых антропологических исследованиях. Ведь у них, как и во всех обществах, есть отличительные одеяния, обряды посвящения, обязательные верования и все причитающееся. Однако в нашем случае они явно представляют собой реакционное и редукционное направление, так же как если бы в ходе биологической эволюции кто-то регрессировал с уровня шимпанзе до морской звезды или даже амебы. Сложные социальные модели поведения отвергаются и упрощаются, при таком подходе жизненные силы и свобода действий не приобретаются, а теряются.

Сфера искусств — вот где сегодня редуцирующий, ограничивающий движения жизни эффект от потери чувства формы

опаснее всего, так как именно в творчестве лучше всего проявляются и измеряются созидательные силы народа. Невозможно удержаться от сравнения современной культуры с положением дел в искусстве Древнего Рима. Почему произведения римской архитектуры и скульптуры, при всем их величии и красоте, менее впечатляющи, менее волнующи, менее выразительны внешне, чем греческие? Многие задумывались над этой проблемой, и однажды ночью ко мне во сне пришел ответ, который я бы теперь хотел представить как важное озарение. Дело в том, что в небольшом сообществе типа Афинского отношения творца с местными правителями могли быть открытыми и прямыми, эти люди наверняка знали друг друга с детства. В современном Нью-Йорке, Лондоне или Париже художнику, желающему стать известным, надо ходить на коктейльные вечеринки. Заказы получают не те, кто сиднем сидит в своей студии, а участники приемов и выставок, появляющиеся в нужном месте и встречающиеся с нужными людьми. Они не настолько сильно поглощены муками уединенной творческой работы, чтобы уйти дальше своих первых достижений на поле востребованных на рынке стиля и техники. Еще одно последствие описанного — «сиюминутное искусство». Какой-нибудь смышленый малый, слегка напрягши творческий мускул, изображает нечто оригинальное. Затем его находка попадает в критические заметки, где бурно восхваляется или осуждается дружественными или враждебными журналистами, которым самим надо много где побывать и много с кем пообщаться. В итоге — учитывая нехватку времени на не предусмотренное бурной социальной жизнью погружение в предмет — эти же критики обнаруживают себя в недоумении перед чем-то действительно сложным или действительно передовым.

С нескрываемым отвращением вспоминаю я рецензии на вышедший в 1939 году роман «Поминки по Финнегану». Мало того что от по-настоящему эпохальной работы отмахнулись как от невнятной, — она была отвергнута с напыщенным пренебре-

жением как надувательство и пустая трата времени читателя. Однако два года спустя пьеса Торнтона Уайлдера «На волосок от гибели», которая полностью, от начала и до конца, опирается на замысел, композицию, персонажей, сюжетные линии и даже второстепенные детали — и все это списано откровенно, явно и бесстыдно, — «Поминок по Финнегану» великого ирландца, получила Пулитцеровскую премию по литературе как величайшая американская пьеса того проклятого сезона. Практически любому значимому современному произведению, во-первых, чрезвычайно трудно пробиться к известности. Во-вторых, даже когда это случается, так называемые критики почти наверняка расправятся с ним. Разве не примечательно, например, возвращаясь к истории с Джеймсом Джойсом, что за всю карьеру этому величайшему литературному гению нашего века так и не дали Нобелевской премии? И разве не удивительно, что до сей поры у нас так и не появилось творческой работы, соответствующей требованиям и возможностям невероятного периода после Второй мировой войны — времени, возможно, величайшего духовного преобразования в истории человеческого рода? Ситуация более чем печальная, поскольку именно из озарений творческих провидцев и художников любой народ создает актуальные мифы и ритуалы, которые поддерживают жизнь и помогают взрослеть.

Позвольте мне напомнить здесь высказывания Ницше о классическом и романтическом искусстве. В каждом из них он определял два типа, или уровня. Есть романтизм истинной силы, который ломает существующие порядки, чтобы пойти дальше, к новым формам, и есть, с другой стороны, романтизм, который вообще не способен облечь себя в законченную форму, он уничтожает и осуждает от возмущения. Точно такая же история и с классицизмом: есть классицизм, который легко достигает воплощения в признанных формах и может как угодно играть с ними, живо и ярко выражая через них свои собственные творческие цели, и есть классицизм, который из-за своей слабости

отчаянно цепляется за форму, сухой и жесткий, авторитарный и холодный. Хотел бы отдельно остановиться на том, — и думаю, Ницше со мной бы согласился, — что форма исполняет роль средства, проводника, благодаря которому жизнь проявляется величественно, ясно и грандиозно, а бессмысленный взлом этой формы — то же самое для человека, что природное бедствие для животных, поскольку именно ритуалы и правила структурируют любую цивилизацию.

Мне удалось на собственном опыте самым точным образом уловить действие ритуала, раскрывающее ценность окружающей жизни, когда несколько лет назад в Японии я был приглашен на чайную церемонию, распорядителем которой должен был быть выдающийся мастер. Если в мире есть что-нибудь более требовательное к скрупулезному соблюдению правил, чем японская чайная церемония, я был бы рад об этом узнать. В Японии, как мне рассказали, есть люди, которые изучают и практикуют эту церемонию всю свою жизнь, так и не достигая совершенства, настолько строги ее законы. Не стоит говорить, что в крошечном чайном домике я ощущал себя известным слоном в посудной лавке. По сути, типичный опыт, вынесенный иностранцем из Японии, состоит в том, что там он всегда хоть в чем-то, но ошибается. Соблюдение правил не привили ему с рождения, даже тело, и то неладно скроено. И чайная церемония, являющаяся чистейшей квинтэссенцией чуда сплошного упорядочения в этой чрезвычайно регламентированной цивилизации, после ряда ритуальных предварительных шагов достигает своей собственной номинальной кульминации в виде поистине искусного представления, когда хозяин церемонии размешивает чай и подает его весьма небольшому кругу гостей. Не буду вдаваться в подробности, да и не смог бы при всем желании. Достаточно сказать, что каждый жест и даже кивок головой регламентирован, и все же, когда я позже разговаривал с другими приглашенными, они с похвалой отмечали непринужденность хозяина дома.

Единственным вариантом сравнения, которое тогда пришло мне в голову, было поэтическое искусство сонета, поскольку в нем тоже присутствует самая строгая форма, в рамках которой поэт достигает силы и масштаба выразительности, каких он никогда, возможно, не добился бы без нее, — а тем самым нового уровня свободы. Мне выпала честь наблюдать в Японии стили нескольких мастеров чайной церемонии, и я научился разбираться, насколько каждый на самом деле был спокоен и свободен. Цивилизационный ритуал становится естественной, как бы внутренней частью мастера, который в его границах может действовать непринужденно и с выразительной тщательностью. Результат в своем роде похож на эстетику прекрасного японского сада, где природа и искусство, чтобы произвести совместное впечатление, поставлены во взаимоотношения, гармонизирующие и воплощающие обе стороны.

Есть ли что-нибудь подобное у нас, в современной североамериканской цивилизации?

Недавно вечером я включил телевизор и случайно наткнулся на замечательные соревнования по легкой атлетике, проходившие тогда в Лос-Анджелесе. Это были первые соревнования, увиденные мной с той поры, когда я сам в середине двадцатых выступал на подобных — примерно сорок лет назад, и все эти годы я не занимался спортом в основном потому, что он пробуждал во мне больше чем надо бурных эмоций. Репортаж был о забеге шести именитых бегунов на одну милю — действительно великолепном. Но когда он кончился, комментатор сообщил, что забег не оправдал ожиданий. Я был поражен. Победивший уложился в четыре минуты шесть секунд, следующие два бегуна отстали от победителя на пару секунд, тогда как в мое время милю смогли пробежать, самое быстрое, за четыре минуты и пятнадцать секунд, и я до сих пор вспоминаю волнение от того достижения. Нынче же рекорд составляет меньше четырех минут. Подумав, я сообразил: вот оно! Там, где игра разыгрывается самым серьезным

образом и заключается не в коктейльных вечеринках и прочем подобном, а в открытом честном поединке в чистом поле, мы попрежнему соблюдаем форму и делаем это на должном уровне! Освальд Шпенглер в «Закате Европы» определяет культуру как нахождение общества «в форме» в том смысле, в каком спортсмен находится «в форме». Выбранное положение рук, угол, под которым наклонено тело, — каждая деталь фигуры атлета работает на результат, чтобы мгновение жизни раскрылось полностью, как цветок. И то же самое можно сказать о высокоупорядоченном обществе «в форме», японском мастере чая «в форме», правилах поведения, собравшихся вместе цивилизованных людей «в форме». Разрушение формы не приводит к победе ни в забеге на милю, ни в соперничестве культур, а поскольку, в конце концов, мир суров, цивилизованная жизнь может выжить только при условии поддержания высшей формы. Как и в спорте — если забег проигран, второй попытки не будет.

Теперь позвольте мне привести в качестве иллюстрации высокой роли ритуала в обществе очень торжественную государственную церемонию, которая прошла в Вашингтоне, округ Колумбия, после убийства президента Кеннеди. Это было ритуализированное событие, крайне необходимое обществу. Целая нация понесла непомерную утрату, потерю, которая глубоко шокировала каждого. Неважно, какие у кого могли быть убеждения и политические взгляды, великолепный молодой человек, представляющий все наше общество, живой социальный организм, членами которого мы все являемся, был лишен жизни на пике своей карьеры, когда эта жизнь бьет ключом. Его внезапная гибель и последовавшие за ней ужасные волнения — все это требовало компенсирующего обряда, чтобы восстановить ощущение солидарности народа, не только внутреннего события для граждан страны, но еще и заявления миру о величии и достоинстве Америки как современного цивилизованного государства. Великолепную работу радио и телекомпаний в то критическое время я считаю существенной

частью ритуала, о котором говорю: трансляции были одним из непосредственных, живых аспектов происходящего. Несмотря на обширность страны, на те четыре дня она стала единодушным сообществом, включающим в себя всех нас, одинаково и одновременно причастных к символическому событию. На моей памяти в первый и единственный раз в мирное время случилась вещь подобного рода, когда я почувствовал себя частью всего этого народного сообщества, вовлеченного как единое целое в проведение обряда глубокой значимости. Тогда уже вышло из моды — лет за двадцать или тридцать до того — поднимать у дома американский флаг, если, конечно, вы не хотели быть причисленным к сторонникам Джона Берча. Но в те дни, я полагаю, нельзя было не ощущать, как участие в жизни и судьбе страны придает значение твоей собственной жизни и тебе самому. Вся система отношений, нужная народу, чтобы выжить, в те дни общей молитвы была в сущности восстановлена и введена в действие.

Но пока я наблюдал за ходом похорон, в голове у меня мелькали некоторые мысли из более общего плана. Я думал, например, о символизме перевозящего задрапированный флагом гроб орудийного лафета, который тянули семь серых коней, клацающих зачерненными копытами; еще одну лошадь, также с зачерненными копытами, медленно и гордо шагающую рядом с ними, с пустым седлом и развернутыми стременами, вел под уздцы военный. Казалось, я видел перед собой семь призрачных коней мрачного Владыки смерти, явившегося сюда проводить павшего молодого героя в его последнее небесное путешествие, символично пролегающее вверх через семь небесных сфер к пристанищу вечности, откуда он когда-то спустился. Символика этих семи сфер, миф о путешествии души из своего небесного дома вниз к земной жизни и затем, когда земной путь пройден, снова вверх сквозь все семь, существует столько же, сколько сама наша цивилизация. Конь с седлом без всадника и пере-

вернутыми стременами, шагающий рядом с мертвым молодым воином, в древние времена был бы принесен в жертву, сожжен вместе с телом своего хозяина на огромном погребальном костре, символизирующем сияние золотых солнечных дверей, через которые путешествующая душа героя уйдет на свое место в бессмертном зале славы павших воинов. Поскольку, опять же символически, такой конь представляет собой тело и его жизненный путь, а всадник — управляющее телом сознание, они воспринимались как единое целое. И покуда я смотрел на статное кортежное животное, идущее в кортеже без всадника, с зачерненными копытами, я вспоминал легенду о благородном коне Кантака, принадлежавшем молодому принцу ариев Гаутаме Шакьямуни. Когда его хозяин, отказавшись от мира, ускакал прочь в лес, чтобы стать там Буддой, оседланный конь вернулся во дворец без всадника и от горя угас.

Эти древние легенды и предания, конечно, не были известны многим миллионам современников, которые во время похорон своего павшего молодого героя слушали стук копыт в затихшем городе и смотрели на идущего без всадника статного коня с перевернутыми стременами. И тем не менее эти мифы были не просто предпосылками, они перекочевали в подобные военные обряды, и их присутствие работало. Я в этом убежден. Вдобавок ритуал нес эхо другого периода, уже нашей собственной американской истории: орудийных лафетов Гражданской войны и похорон Линкольна, которого тоже убили и точно таким же образом проводили в вечность. Мощь современного обряда была невероятно усилена этими символическими обертонами, возможно, не слышными простому уху, но осознаваемыми всеми душой — в медленном торжественном бое военных барабанов и стуке черных копыт лошадей Царя смерти, раздающихся в абсолютной тишине.

По мере наблюдения за ритуалами, перекликающимися то с древностью, то с современностью, я все больше думал об открытой

природе человеческого разума, который может найти утешение в мистических играх, подобных этому подражанию перехода души с земли в небеса сквозь все семь сфер. За много лет до того в работах великого историка культуры Лео Фробениуса я натолкнулся на описание и обсуждение того, что он назвал «педевматикой», или педагогическими силами, посредством которых человек — несформировавшееся, неопределившееся животное, у которого спусковые механизмы нервной системы еще не стереотипированы, а открыты к запечатлению, — на протяжении всей истории взрослел и обретал определенную форму в лоне своей культуры. В самые ранние периоды, как и сегодня у примитивных народов, учителями человека были животные и растения. Позднее ими стали семь небесных сфер. У нашего несформировавшегося вида есть любопытная особенность: мы живем и формируем свои жизни под влиянием воображения. Мальчик, отождествивший себя с мустангом, несется галопом вниз по улице, обретя новые силы и новую индивидуальность. Дочь подражает матери, а сын — отцу.

В давно забытые нынче тысячелетия палеолитической Великой охоты, когда ближайшими соседями человека были животные самых разных видов, именно они были его учителями, собственной жизнью иллюстрирующими силу и сложность жизни. Члены племени брали себе звериные имена, а во время обрядов надевали маски зверей. А те, кто жил в окружении тропических джунглей, где зрелище природы состояло преимущественно из растений, наоборот, имитировали растительный мир. Как мы уже знаем, их базовый миф повествовал о боге, согласившемся или пожелавшем, чтобы тело его было убито, расчленено и зарыто в землю, дабы оттуда могли подняться съедобные растения для пропитания людей. В обрядах человеческих жертвоприношений, характерных для всех земледельческих культур, эта исходная мифологическая сцена имитировалась до отвращения буквально: в растительном мире жизнь казалась

рождающейся напрямую из смерти, свежие зеленые ростки прорастали из разложившихся, значит, то же должно было происходить с человеком. Мертвые похоронены, чтобы родиться снова, и циклы растительного мира становятся образцами для мифов и ритуалов человечества.

В великий и очень важный период расцвета Месопотамии (ок. 3500 г. до н. э.), древнейшей цивилизации городов-государств, чарующий пример для подражания переместился с Земли, царства животных и растений, на небеса. Случилось это, когда жрецы-звездочеты обнаружили, что семь небесных тел — Солнце, Луна и пять видимых планет — перемещаются среди неподвижных созвездий с математической точностью и размеренностью. Новое видение относительно чудесного устройства Вселенной достигло предела в идее космического порядка, моментально ставшего небесным образцом для общественного строя на Земле: восседающий на престоле король, коронованный как Солнце или Луна, королева как богиня-планета Венера и высшие придворные в роли второстепенных светил. В легендарных дворцах христианской Византии еще в V–XIII веках императорский трон был окружен разнообразными символами рая: рычащими золотыми львами с поднятыми хвостами, щебечущими среди самоцветных деревьев птицами из драгоценных камней и металлов. И когда посол какого-либо племени варваров, которого только что провели по ослепительным мраморным коридорам с бесконечными рядами дворцовых стражников и огромными толпами нарядных военачальников и епископов, представал перед внушительной, неподвижной и безмолвной фигурой монарха, восседающего в солнечной короне на своем лучезарном престоле, гость тут же падал на колени в искреннем благоговении перед такой божественностью — и пока он лежал в прострации, скрытый от глаз хитроумный механизм возносил царский престол в воздух. Потрясенный посетитель поднимался наконец и вдруг видел, что монарх, успевший уже облачиться в совершенно новые одеяния,

взирает на него сверху, словно сам Бог с усеянного звездами неба. В письмах к императору святой Кирилл Александрийский называет царя «Образом Божьим на Земле». Это, возможно, немного слишком, хотя по факту мало чем отличается от идеи, которую безмолвно выражают современные королевские дворы или папская месса.

Выходки такого рода до сих пор производят сильное впечатление, поскольку основаны на переносе в явь мифических образов из сновидений — человеческой плоти, церемониального наряда или архитектурной композиции, — порожденных не повседневными переживаниями, а теми глубинами души, которые ныне принято называть бессознательным. В силу своей неосознаваемой природы они вызывают у зрителя фантастический, иррациональный отклик. Вследствие этого характерной особенностью мифических сюжетов и образов, переведенных на язык ритуала, становится то, что они соединяют личность со сверхличностными целями и силами. Ученые, изучающие поведение животных, уже заметили, что в случаях, когда дело касается важнейших задач вида — например, при брачных играх и поединках за самку, — схемы стереотипного, ритуализированного поведения заставляют каждую отдельную особь действовать в соответствии с запрограммированным порядком, характерным для вида в целом. Сходным образом во всех сферах человеческого общения ритуальные процедуры лишают противников индивидуальных черт. Теперь их поведение — поступки уже не личности, но обобщенного представителя вида, общества, касты или профессии. Этим объясняется, например, обычай судей и других государственных служащих облачаться в особую форму: приступая к исполнению своих профессиональных обязанностей, они перестают быть индивидуальностями и превращаются в олицетворения принципов и законов общества. Даже в частном предпринимательстве есть свои принципы обмена и договоров, ведения торгов и выдвижения судебных исков — то есть общепризнанные ритуальные

правила игры, хотя бы отчасти лишающие личной окраски нередкие столкновения интересов. Без подобных правил игры общество просто не смогло бы жить, поскольку никто не имел бы ни малейшего представления о том, как нужно поступать в тех или иных обстоятельствах. Больше того, именно благодаря правилам игры локального сообщества человеческие свойства любой личности превращаются из отвлеченных возможностей в одну-единственную реальную жизнь, жестко очерченную границами времени, пространства и характера.

Теперь подумаем, что могло бы стать для современного человечества достойным источником благоговения. Как отмечает Фробениус, сначала трепет у человека вызывал мир животных во всем разнообразии его видов — именно эти ближайшие соседи, став объектом восторга, пробудили в человеке тягу к подражательному отождествлению. Следующим образцом оказался растительный мир — чудо плодородия почвы, в недрах которой мертвое вновь оживает. Наконец, с расцветом первых развитых цивилизаций Ближнего Востока, центр внимания перенесся на математику семи подвижных космических тел, подаривших нам, помимо прочего, семь скакунов кавалькады Царя Смерти и Воскрешения. Однако, как утверждает наш историк, сегодня нашим ближайшим соседом являются уже не звери, и не травы, и даже не свод небесный с его завораживающими огоньками. Фробениус подчеркивает, что наука лишила все это мифологичности, и потому главной загадкой ныне стал сам человек: человек как «Ты», ближний, — не такой, каким видит или хочет видеть его «Я», а такой, как есть, таинственное и удивительное существо «в себе».

Первые похвалы и признание этот новый, такой близкий предмет восхищения снискал в греческих трагедиях. Обряды всех прочих народов того времени были посвящены животным, растениям, космическим и потусторонним силам, но в Греции уже в эпоху Гомера мир стал человеческим, а трагедии великих

поэтов V века возвестили окончательное смещение духовного фокуса. В «Портрете художника в юности» Джеймс Джойс дает сжатое определение важнейших черт древнегреческой трагедии, благодаря которым открылся путь к мистическому измерению гуманной духовности. Говоря об аристотелевской «Поэтике», Джойс напоминает о двух классических «трагичных» чувствах», сострадании и страхе, одновременно отмечая, что Аристотель не дал им определения. «Аристотель не дает определений сострадания и страха. Я даю, — заявляет его герой Стивен Дедал и продолжает: — Сострадание — это чувство, которое останавливает мысль перед всем значительным и постоянным, что скрыто в человеческих бедствиях, и объединяет нас с каждым страдальцем. Страх — это чувство, которое охватывает нас перед тем значительным и постоянным в человеческих бедствиях и заставляет нас искать их тайную причину». Тайная причина бедствий, разумеется, — сама конечность существования, непременное и, следовательно, поистине «значительное и постоянное» его условие, которое невозможно отвергнуть, если принимаешь саму жизнь. Но, несмотря на согласие с этим необходимым условием, мы испытываем сострадание к человеку бедствующему: в данном случае это поистине родственная нам душа.

В похоронных обрядах, о которых только что шла речь, событие было отмечено характерным для древнего и современного Запада вниманием к человеческой личности. В любой восточной традиции сходный по важности случай воспринимали бы совсем иначе — как указующий через судьбу человека на определенный космологический порядок. Любой, кому доводилось присутствовать во время подобного восточного обряда, наверное, замечал, что церемония истребляет всячески впечатление о личности «человека страдающего», тогда как на Западе, напротив, ценность индивидуальности подчеркивают всеми средствами. Старые мехи наполнились новым вином — значимостью личности; в данном

случае это была личность выдающегося молодого человека и всего, что он собой олицетворял (в нашу историческую эпоху, а не во вневременном круговороте нескончаемо повторяющихся *тысячелетий*). *И все же в древней символике семи цокающих копытами жеребцов и оседланного скакуна без всадника* сбереглось что-то важное и для настоящего. Старинные образы слагались в новую песню — гимн уникальному, непохожему на других, не имеющему близнецов человеку страдающему, — и в то же время продолжали навевать ощущение «значительного и постоянного в человеческих бедствиях», несли священную весть о неоспоримой «тайной причине», без которой обряд лишился бы глубины и исцеляющей силы.

Позволю себе обратиться напоследок к надежде на непостижимое чудо: эту надежду силой искусства вызывают у нас мифы и обряды. Я хотел бы повторить красноречивые строки одного поэта. Лет сорок тому назад, когда я впервые прочел это короткое стихотворение, оно глубоко тронуло меня и с тех пор не раз возвращало мне душевное равновесие. Написал его калифорнийский поэт Робинсон Джефферс; он присылал стихи со своей сторожевой башни на берегу Тихого океана, где годами следил за изящным полетом пеликанов вдоль побережья, вслушивался в мирный хриплый лай тюленей и старался не замечать вторгающегося издалека размеренного и неуклонно нарастающего гула моторов.

Вот это стихотворение.

Музыка природы

Вечный рев океана, птичий щебет речушек
(Зима позолотой сменила их серебро,
Запятнала их воды и зелень побегов окрасила медью,
чтоб берега очертить)

Такие разные голоса поют на одном языке.
И я уверен, что, будь мы сильнее,
Вслушайся мы без смеси желаний и страхов
В бурю народов больных и ярь городов истощенных,
Тот же напев к нам донесся бы — ясно, как голос ребенка.
Или дыхание девы, что одиноко танцует
На берегу океана и о возлюбленных тайно мечтает.

Глава IV

РАЗДЕЛЕНИЕ ВОСТОКА И ЗАПАДА (1961)

Жителям Запада нелегко представить, что относительно недавно появившиеся у нас идеи важности индивидуального, уважения к личности, ее правам и свободе не имеют никакого смысла на Востоке. Точно так же они ничего бы не значили для первобытных людей, народов Древней Месопотамии и Египта, Индии и Китая. В общем и целом наши взгляды абсолютно противоположны идеалам, смыслу и укладу жизни большинства народов мира. Мой второй тезис состоит в том, что это поистине великое новшество подарили миру именно мы: наше западное откровение о духовных идеалах, достойных человека, соответствующих истинному, высшему потенциалу нашего биологического вида.

Основную черту, отделяющую восточный мир от западного, я провожу вертикально через Иран, вдоль шестидесятого градуса долготы к востоку от Гринвича. Это можно рассматривать как линию культурного водораздела, по обе стороны от которой находятся творческие матрицы развитых культур: Индия и Дальний Восток (Китай и Япония), а к западу — Левант, или Ближний Восток, и Европа. На протяжении истории эти четыре мира сохраняли каждый свои уникальные свойства — мифоло-

гию, религию, философию и идеалы, не говоря уже про образ жизни, стиль одежды и искусства. И сегодня они составляют пары: Индия с Дальним Востоком с одной стороны, а Левант с Европой — с противоположной.

Восточные центры, отделенные от Запада и друг от друга бескрайними горными пустынями и тысячами лет изоляции, оставались глубоко консервативными. Левант и Европа, напротив, постоянно вступали в плодотворные конфликты и торговые отношения и были широко открыты как крупным вторжениям, так и интенсивному обмену товарами и идеями. Изумительные духовные и материальные свершения нынешней бурной эпохи во многом объясняются тем, что некогда надежные стены Индии и Дальнего Востока были сперва испещрены пробоинами, а потом и вовсе разрушены; после этого, однако, мир столкнулся с проблемой, которую в мифологии олицетворяет библейское предание о строительстве Вавилонской башни, когда Господь смешал языки людей, чтобы те перестали возводить свой вечный город и рассеялись, как сказано в Писании, «по лицу всей земли» (Быт. 11:4). Сегодня уже не осталось мест, где можно было бы спрятаться друг от друга; именно в этом, конечно, и заключается особая проблема нашей эпохи.

Мифический образ Вавилона является вдвойне подходящим, поскольку в древних городах-государствах Месопотамии около 3500 г. до н. э. были заложены первые основы всех высших (то есть высокообразованных и колоссальных по масштабам) цивилизаций. Именно от Леванта, а еще точнее — от ранних храмовых городов с башнями-зиккуратами разрослись все ветви огромного дерева четырех главных цивилизаций. Более того, именно там зародились мифические формы общественного строя, которые до сих пор ограничивают жителей Востока в постижении идей по-настоящему личной жизни. В древних, первобытных общинах охотников, собирателей и рыболовов отдельные кочевые социальные группы, с трудом способные себя прокормить, не были

ни крупными, ни сложными. Единственными факторами разделения труда были возраст и пол, но каждый мужчина, женщина и даже ребенок очень неплохо владели всей совокупностью своего культурного наследия и могли стать целостными личностями — во всяком случае, в рамках местной культурной модели.

Однако примерно после 7500 г. до н. э., с расцветом и развитием древнего Ближнего Востока, сравнительно благополучного, жизнь в оседлых общинах, где уже занимались земледелием и скотоводством, сильно усложнилась: по мере неуклонного роста населения и площади таких сообществ специализированные отрасли знаний и профессиональные навыки приобретали большое значение. К 4500 г. до н. э. по всему Ближнему Востоку процветали целые созвездия самостоятельных селений, а около 3500 г. до н. э. такие селения в низовьях долины Тигра и Евфрата превратились в города — первые города на свете. Появилось четкое различие между кастами знати и прислуги, ремесленниками, обладающими специальными навыками, орденами жрецов и купеческими гильдиями и так далее, так что о целостной личности не могло уже быть и речи. Каждый стал «лишь частью». И в прикладном искусстве той эпохи тут же ярко и неожиданно проявились несомненные попытки символически передать мечту о воссоединении разрозненных частей в единое целое.

Уже в керамике середины V тысячелетия до нашей эры возникает, например, симметричная геометрическая организация круговых орнаментов с объединяющей — и символизирующей идею целого — центральной фигурой: розеткой, крестом или свастикой. В более поздних символических композициях центральное место отводили фигуре божества, а в первых городах-государствах тот же бог воплощается в монархе (в частности, египетском фараоне). Более того, и сам монарх, и все его придворные играли в жизни сообществ символические роли, определявшиеся не их личными желаниями, а скорее правилами ритуальной пантомимы, где

властителей отождествляли с небесными телами, — подобно тому, как на более ранних этапах культурной эволюции человека ритуалы были подражанием животным или круговороту жизни и смерти в мире растений.

Как отмечалось в предшествующей главе, именно за оградами храмов древнешумерских городов-государств (ок. 3500 г. до н. э.) жрецы, следившие за небесными знамениями, впервые заметили, что Солнце, Луна и пять видимых планет перемещаются среди звезд с математической точностью. Тогда и зародилась грандиозная идея небесного, космического порядка, который непременно должен отражаться в устройстве общества. Облачившись в торжественные наряды и символические короны, король, королева и придворные церемониально воспроизводили на земле величие небесных светил. Сейчас сложно поверить, что они так глубоко вживались в свои роли, но у нас есть поразительные доказательства, найденные покойным сэром Леонардом Вулли в «царских гробницах» древнего и святого города лунного бога — У́ра.

Сэр Леонард, по собственному признанию, проводил раскопки на древнем храмовом кладбище, где, по преданию, был похоронен патриарх Авраам. В какой-то момент лопаты археологов наткнулись на удивительные групповые захоронения, в некоторых из них находились до шестидесяти пяти тел. Лучше других сохранилось тело женщины по имени Шуб-ад, погребенной вместе с двадцатью пятью слугами непосредственно над могилой мужчины по имени А-бар-ги, рядом с которым покоилось около шести десятков придворных. Тело Шуб-ад в богатом убранстве привезли в гробницу на запряженных ослами санях; А-бар-ги — вероятно, ее муж — был доставлен на кладбище в крытой повозке, которую везли быки. И животные, и люди были погребены в гигантской могиле заживо. Придворные дамы мирно лежали в ряд во всех дворцовых регалиях: в волосы вплетены серебряные и золотые ленты, манжеты красных накидок отде-

ланы бисером, в ушах — крупные серьги в форме полумесяца, а на груди — золотые ожерелья с лазуритом. Скелеты арфисток все еще касались струн — вернее, того места, где были когда-то струны. Сами музыкальные инструменты напоминали видом тело быка, чья золоченая голова была украшена пышной лазуритовой бородой. Имелся в виду мифологический бык — божественный лунный бык, чья песня судьбы призвала эти две погребенные компании — сначала короля, а затем его супруги, — чтобы после смерти те могли возродиться заново. Нам даже известно имя бога, восседавшего на мифическом быке. Это был великий и легендарный ближневосточный бог-король и вселенский спаситель Таммуз (шумерский Думузи). Даты празднования его ежегодных смерти и воскресения закреплены и в нашем мифо-ритуальном календаре как дни Пасхи, которую отмечают и в синагогах, и в христианских храмах.

Мы не знаем, по какой именно причине были похоронены эти две царские свиты, но то же самое происходило практически во всех древних цивилизациях. В Египте и Китае найдены могилы, где погребено до восьмисот и более тел. Можно добавить, что фараоны первых трех династий владели сразу двумя такими «загробными владениями»: одно в Абидосе, Верхнем Египте, другое — в Мемфисе, Нижнем царстве. Это были, так сказать, столичное и загородное имения, и за каждым приглядывало до четырехсот скелетов.

Но где же во всем этом индивидуальность? В таком мире просто не могло быть частной жизни — только великий космический закон, властвующий над всеми и отводящий каждому свое место. Египтяне называли его Маат, а шумеры — Ме; в китайском это Дао, а в санскрите — Дхарма. Единый закон не допускает личного выбора, индивидуальных желаний и даже собственных суждений. У человека просто нет повода сделать паузу и спросить себя: «Чем я сам предпочел бы заниматься? Каким мне хотелось бы стать?» Кем тебе быть, о чем думать и как поступать, определяется твоим

рождением. И самое главное, что я хотел бы подчеркнуть: в начале бронзового века в основе восточного мировосприятия вплоть до наших дней лежит идея общества как отражения космического порядка, которому обязан так или иначе подчиняться каждый, если он вообще хочет кем-то быть.

В санскрите глагол «быть» в женском роде настоящего времени имеет форму «сати»; то же слово обозначает добродетельную индийскую вдову, предающую себя смерти на погребальном костре скончавшегося мужа. Этот самоотверженный, бездумный и исполненный чувства долга поступок в полной мере демонстрирует ее социальную роль и делает ее вечной, превращая в символ бесконечной верности и нерушимой совместной жизни, — иными словами, в настоящую жену. Если же индийская женщина отказывается исполнить свою роль до конца, ее называют а-сати, «не-существующая» — попросту говоря, «ничто», поскольку жизнь человека, весь смысл его существования на земле сводится к обостренному ощущению общественной роли. Он по-настоящему живет, лишь когда идеально исполняет свои обязанности. Оглядываясь назад, на две братские могилы древнего царского кладбища Ура, можно с уверенностью заключить, что на свете была по меньшей мере одна жена, выполнившая свой долг.

Выясняется, однако, что ритуально умертвили и самого А-бар-ги. Несомненные доказательства древнего обычая ритуального цареубийства обнаруживаются на большей части земного шара. Чтобы убедиться в этом, достаточно открыть на любой странице «Золотую ветвь» Джеймса Фрэзера: древних королей-богов приносили в жертву каждые шесть, восемь или двенадцать лет — в зависимости от различных местных порядков; вместе с ними умерщвляли и придворных. Все сбрасывали бренные тела, чтобы родиться заново. Несмотря на весь свой ужас, эта идея фантастична, благородна и странно-чудесна: сама по себе личность — никто и ничто, она лишь живое, даже после смерти,

воплощение единого, вечного и совершенно безличного космического закона.

Именно с этой концепцией нам предстоит сравнить западный, или, точнее, современный европейский идеал личности.

Обратимся непосредственно к нему. Начнем с мнения швейцарского психолога Карла Юнга, в чьих работах понятие «индивидуация» обозначает психологический процесс обретения индивидуальной целостности. Юнг высказывает мысль о том, что в нынешней жизни общество требует от каждого из нас исполнения определенной социальной роли. Вообще говоря, неотъемлемым условием нашего существования в мире является непрерывное разыгрывание ролей, которые Юнг называет персонами, от латинского persona, «маска, личина»; римские актеры носили эти маски на сцене и через них говорили (personare, «звучать сквозь что-либо»). Человек вынужден надевать ту или иную маску, чтобы сосуществовать с другими людьми; даже тот, кто решил отказаться от всякой маски, фактически надевает что-то вроде маски отказа: «Черт побери, нет!». Одни маски шутливы, игривы, легкомысленны; другие, напротив, полны глубины, намного большей, чем мы думаем. Как любое тело состоит из головы, двух рук, туловища и пары ног, так каждый человек имеет, помимо прочего, характер — надежно закрепившуюся persona, под которой он представляется себе и другим и без которой не может обойтись.

Поэтому глупо предлагать: «Давайте снимем наши маски и будем естественными». Так или иначе, повсюду нас окружают маски. Это маски юности, старости и социальных ролей, а также самодельные маски, которые мы цепляем на других и соответственно им реагируем.

Представьте, например, что вы сидите в самолете и ведете легкий разговор с незнакомым человеком, сидящим напротив. Проходящая мимо стюардесса вдруг уважительно обращается к нему

«сенатор». Когда она отойдет, вы, скорее всего, продолжите говорить с ним совсем в ином тоне, без прежней непринужденности. Собеседник станет для вас тем, кого Юнг назвал «мана-личностью», — субъектом, заряженным чарами внушительной социальной маски. Из обычного человека ваш сосед превращается в важную персону; более того, вы сами тут же становитесь персоной подчиненной и малопримечательной — благопристойным американским гражданином, который удостоился беседы с сенатором. В этом кратком эпизоде личины во мгновение ока меняются — по меньшей мере, для вашего восприятия. Что касается самого сенатора, он, разумеется, остался тем же человеком, что и прежде, и если не важничал минуту назад, то едва ли начнет задирать нос теперь.

Для того чтобы осуществить, говоря по-юнговски, индивидуацию, то есть жить в образе свободной личности, необходимо знать, как и когда следует надевать и снимать маски различных социальных ролей. «С волками жить — по-волчьи выть», так что дома незачем носить маску той роли, какую исполняешь в зале заседаний сената. Но это, к сожалению, не так легко, ведь некоторые личины срастаются с кожей. Маски несут с собой определенные суждения и нравственные ценности, а также гордость, честолюбие и тягу к успеху. Они могут требовать даже безрассудных страстей. Очень распространена, в частности, чрезмерная впечатлительность, почтительность к ролям, будь то собственная твоя маска или мана-маска собеседника. Работа над индивидуацией требует, между тем, устранения такого непреодолимого подобострастия. Целью является поиск своего настоящего лица и последующая жизнь, построенная вокруг этого собственного центра, с полным контролем всех «за» и «против». Но этого невозможно добиться, если подчиняешься и подыгрываешь любому маскараду жестко установленных ролей. Как утверждает Юнг, «в конечном счете, каждая жизнь представляет собой реализацию целого, то есть “Я”, так что любую самореализацию можно назвать индивидуацией. Вся жизнь связана с реализующими себя носителями

индивидуальности, без них она просто немыслима. Но у каждого жизненного пути есть собственное призвание и собственная цель, и само их постижение придает жизни смысл».

Это представление прямо противоположно идеалу, навязанному всем — даже великим святым и мудрецам — на Востоке, где человек должен до конца идентифицироваться с отведенной ему маской социального положения, а когда все обязанности, соответствующие этой роли, будут идеально исполнены, — исчезнуть, или (пользуясь известным сравнением) раствориться, словно капля, в океане всеобщего. В противоположность типичной для Западной Европы идее — что именно индивидуальная судьба и характер, потенциально данные каждому человеку, представляют собой «смысл» и «исполнение» его единственной жизни, — на Востоке центром внимания остается не отдельная личность, а (как в современных тоталитарных социалистических обществах) установленный общественный строй. Для Востока важна не уникальная творческая индивидуальность — там считают, что она, напротив, таит в себе угрозу, — а ее обуздание посредством идентификации с локальным общественным архетипом и одновременное подавление любого порыва души к собственной жизни. Образование — это навязывание определенных доктрин либо, как принято говорить сегодня, промывание мозгов: брамин должен быть брамином, сапожник — сапожником, солдат — солдатом, жена — женой. И ничем иным, не больше и не меньше.

В таких условиях личность никогда не увидит в себе ничего, кроме более-менее успешного исполнителя совершенно стандартной роли. Любые черты уникального характера, которые могли проявляться в раннем детстве, уже через пару лет полностью исчезают, сменяясь чертами социального архетипа, стандартной формой, призрачной личностью или, как еще говорят в наше время, довольным собой ничтожеством. Образцовым учеником в подобном обществе является тот, кто без лишних вопросов

исполняет любые указания и, руководствуясь похвальной добродетелью несгибаемой веры в авторитет наставника, жадно впитывает не только уже расклассифицированную информацию, но и манеры, суждения и общий образ человека, в которого ученику предстоит превратиться, — и здесь слово «превращение» следует понимать буквально, так как от прежнего ученика не останется ничего, никакой личности в нашем, западном смысле — никаких собственных мнений, предпочтений и антипатий, мыслей и целей.

Интересно отметить, что в «Божественной комедии» путешественник-визионер, скитающийся по аду, чистилищу и раю, легко узнает своих покойных друзей и беседует с ними о минувшей жизни. Сходным образом в античных загробных мирах «Одиссеи» и «Энеиды» оба главных героя с ходу узнают тени умерших и заговаривают с ними. Однако в восточных преисподних и небесах индуистов, буддистов и джайнов не встретить упоминаний о подобном сохранении личностных черт, поскольку в миг смерти сбрасывается маска земной роли и надевается новая маска загробных обязанностей: обитатели ада принимают демонический облик, а попавшие на небеса — божественный. Когда же, перевоплощаясь, эта безликая сущность вновь переносится на землю, она просто примеряет очередную маску и не имеет никаких воспоминаний о прошлом.

В европейском мировосприятии — будь то античные эпические поэмы и трагедии, «Божественная комедия» или юнговская психология «индивидуации» — центром внимания является личность, которая рождается лишь единожды, живет лишь единожды; и уникальные желания, мысли и поступки отличают ее от всех остальных. С другой стороны, на бескрайних просторах Востока — в Индии, Тибете, Китае, Корее и Японии — живое существо воспринимается как бесплотный чужеземец, который лишь меняет тела. Ты — не твое тело. Ты — не твое «Я». Пойми, что все это иллюзорно. Основополагающая разница

между восточными и привычными нам европейскими взглядами на личность затронула все сферы общественной жизни и нравственности, а также психологические, космологические и метафизические представления. «Эта объективная Вселенная, — читаем мы, например, в одном санскритском тексте, — совершенно нереальна. Столь же нереально и “Ч”, чей срок существования, очевидно, — лишь мгновение. Перестань отождествлять себя со сгустком плоти, грубым телом, и с Эго, тонким телом; ведь оба они выдуманы... Уничтожив своего врага, эгоизм, могучим мечом Самосознания, свободно насладись непосредственным блаженством своего истинного царства — величием Я, которое есть Все во Всем».

Вселенная, от которой нам, таким образом, следует обособиться, должна быть понята как вечно возникающее и пропадающее, подобное сну, иллюзорное видение в повторяющихся циклах. После такого прозрения человек учится исполнять любую роль без участия Эго, без каких-либо желаний, надежд и страхов, и тогда наконец наступает освобождение от непрестанного круговорота бессмысленных перевоплощений. Солнце восходит и заходит, когда необходимо, луна прибывает и убывает, как заведено, звери поступают соответственно своему виду, и мы с вами тоже обязаны жить, как предопределено рождением. Предполагается, что вследствие наших поступков в прежних жизнях нынешняя начинается как бы с того же самого места. Но для его точного определения не требуется участия какого-либо бога-судьи. Все решается само собой — измеряется, так сказать, духовным весом перевоплощающейся монады. Только от этого зависят общественное положение человека, предписанный образ жизни и все прочее, что будет приносить ему радости и страдания.

В древнеиндийских сводах законов («Законы Ману», «Установления Вишну» и так далее) подробно разъясняется, какое обучение приличествует каждой касте, что ее представителям

следует употреблять в пищу, на ком жениться, когда молиться и производить омовения, в какую сторону поворачиваться, когда чихаешь или зеваешь, как полоскать рот после еды — и так далее, ad infinitum[1]. Наказания за нарушение этих правил просто ужасны. На Дальнем Востоке, где Естественный Путь, или Порядок, описывается категориями, несколько отличными от индийских, распорядок человеческой жизни определяется примерно такими же понятиями. Там тоже существует космический порядок, воплощенный, в частности, в общественном устройстве, подчиняться которому — и долг, и естественный образ жизни человека. И так называемые регулирующие законы точно и подробно поясняют каждому, как следует жить; размеры его спальни (соответственно социальному положению), материал матраса и обуви, длину рукавов, количество чашек чая с утра и тому подобное. Тщательно описывается каждая мелочь, и в результате человек столько всего *должен*, что у него попросту не остается времени, чтобы спросить себя: «А чего бы я *хотел*?»

Иными словами, принципы личности, открытого мышления, свободы воли и самостоятельных поступков в этих обществах вызывают только отвращение и отвергаются как противоречащие всему естественному, благому и настоящему. По этой причине индивидуация, которая, по мнению Юнга, представляет собой идеал душевного здоровья и благополучия взрослой жизни, Востоку просто непонятна. Позволю себе привести лишь один пример, а именно отрывок из индийских «Законов Ману», связанный с общими правилами поведения благоверной индийской женщины:

Женщина — в детском возрасте, молодая или даже пожилая — не должна исполнять никакого дела по своей воле даже в [собственном] доме.

---

[1] До бесконечности (*лат.*).

В детстве ей полагается быть под властью отца, в молодости — мужа, по смерти мужа — [под властью] сыновей: пусть женщина [никогда] не пользуется самостоятельностью.

Пусть она никогда не желает разлуки с отцом, мужем и сыновьями; оставляя их, женщина лишает достоинства обе семьи [свою и мужа].

[Ей] надлежит быть всегда веселой, бережливой, искусной в домашних делах, иметь хорошо вычищенную утварь.

Кому бы ни отдал ее в жены отец или, с разрешения отца, брат, ей следует повиноваться мужу при жизни и не пренебрегать им после его смерти. <...>

Муж, [даже] чуждый добродетели, распутный или лишенный добрых качеств, добродетельной женой должен быть почитаем, как бог. <...>

Вследствие такого поведения женщина, обуздавшая мысли, слова и тело, достигает в этом мире высшей славы, а в будущем — местопребывания мужа[1].

Индийскую философию национальные учителя делят на четыре школы, в соответствии с возможными заверениями жизни, то есть четырьмя целями, к которым стремится человек в этом мире. Первой является *дхарма* («долг», «добродетель»); именно о ней только что шла речь, и мы убедились, что для каждого человека она определяется его местом в общественной жизни. Вторая и третья цели связаны с природой, и к ним, естественно, тянется все живое: успех, свершение, величие, именуемое на санскрите *артха*, и чувственное удовольствие, которое называют *кама*. Эти цели соответствуют тому, что Фрейд обозначил понятием «Оно». Они представляют собой выражение первичных биологических побуждений души, простейшее «я хочу!» животной при-

---

[1] Пер. С. Д. Эльмановича.

роды. В отличие от них, налагаемый обществом принцип дхармы равнозначен сверх-Я Фрейда, культурному «Ты должен!». В индийском обществе удовольствиям и успехам человека не следует, так сказать, покидать «потолок» его дхармы: «Должен!» стоит выше «Я хочу!». К середине жизни, когда все обязанности исполнены, мужчина уходит в лес, чтобы стать отшельником и силой йоги стереть последние следы «хочу!», а вместе с ним — и все отголоски «должен!». После этого он достигает четвертой цели, окончательного итога жизни, известного как *мокша* — «полное освобождение», — хотя это вовсе не «свобода» в понимании Запада, где человек стремится быть тем, кем хочет, и делать то, что хочется. Напротив, мокша означает освобождение от какой-либо тяги к дальнейшему существованию.

«Должен!» вместо «Хочу!», а затем: «Исчезни!». На взгляд современных представителей Запада, конфликт первых двух требований характерен скорее для младенческого, чем зрелого возраста, но на Востоке это противоречие присуще и взрослым. Там не поощряют и не допускают ничего такого, что на Западе сочли бы признаком зрелой личности. В результате все объясняется просто и ясно: Восток никогда не отличал Эго от Ид.

Слово «я» (санскр. *ахам*) означает для восточного философа только желания, требования, страхи и стремление чем-то обладать — те самые побуждения, которые Фрейд назвал Ид, действующим под давлением принципа удовольствия. С другой стороны, Эго (опять же по определению Фрейда) означает психологическое свойство, объективно относящее нас, с одной стороны, к внешней, эмпирической «реальности» (миру фактов, «здесь и сейчас»), в ее терминах наблюдаемое, распознаваемое, осмысляемое и оцениваемое, соотносящее нас с нами самими внутри этой реальности. Взвешенный поступок взрослого и ответственного Эго в корне отличается от действий жадного, необузданного Ид — и тем более от действий, вызванных безогово-

рочным подчинением кодексу поведения, который унаследован от предков и вполне может оказаться непродуктивным в современных условиях, а порой приводит даже к непредвиденным общественным и личным конфликтам.

Добродетели жителя Востока сравнимы, таким образом, с достоинствами хорошего солдата, который следует приказам и несет личную ответственность не за результат своих действий, а лишь за их исполнение. Но поскольку все законы Востока происходят из бесконечно далекого прошлого, на свете давно не осталось никого, кто был бы ответственен за свое поведение лично. Впрочем, на самом деле личной ответственности никогда и не было, так как законы эти утверждены — так, во всяком случае, считается — устройством самой Вселенной. Раз источником всеобщего порядка является не бог или некое испытывающее желания существо, а совершенно безличная сила или пустота, пребывающая вне бытия, сознания и любых категорий, то в конечном счете на свете никогда не было никого и ничего, что несло бы ответственность за происходящее, — ведь сами боги тоже являются лишь высшими должностными лицами этого безостановочного калейдоскопа иллюзорных возникновений и исчезновений в бесконечном мире.

Как же и когда произошел исторический поворот от только что описанных восточных воззрений к тому, что мы называем сейчас западными взглядами на взаимоотношения личности со Вселенной? Первые несомненные признаки смещения ценностей замечены в месопотамских текстах II тысячелетия до нашей эры, где впервые проводится различие между королем как обычным человеком и богом, которому король обязан служить. Это уже не бог-монарх, которым считали египетского фараона. Отныне его именуют «наместником» бога. Город под правлением царя — владение бога на земле, а сам царь — просто главный управляющий или старший слуга. Более того, именно в ту эпоху в Месопотамии возникают мифы о сотворении человека

как раба. Люди превратились в слуг, а боги — в полных хозяев. Человек перестает быть воплощением божественного и приобретает совершенно иную, земную, смертную природу. Да и сама земля становится отныне глиной. Материя и дух разделяются. Я называю это состояние «мифическим разобщением»; по всем признакам оно было наиболее характерно для поздних религий Леванта — важнейшими из них сегодня, разумеется, являются иудаизм, ислам и христианство.

Позвольте мне проиллюстрировать мифологическое влияние этого отрезвляющего сдвига в мышлении легендой о потопе. Согласно множеству мифологий, до сих пор процветающих на Востоке, Всемирный потоп неизбежно происходит в конце каждого периода. В Индии продолжительность этой мировой эпохи, известной как День брахмы, исчисляется в 4 320 000 000 лет; этот период сменяется Ночью брахмы, когда все сущее на столь же долгий срок растворяется во космическом океане. Общая протяженность космического круга составляет, таким образом, 8 640 000 000 лет. В исландских Эддах сказано, что в Вальхалле 540 дверей, и из каждой в день конца света выйдет 800 воинов, готовых к битве с антибогами. Но если умножить 800 на 540, получится 432 000! За этим совпадением скрывается, судя по всему, общий мифологический сюжет, который языческая Европа разделяла с Древним Востоком. Действительно, бросив взгляд на часы, я вспоминаю, что в часе 60 минут, а в минуте — 60 секунд, то есть сутки тянутся 86 400 секунд; на протяжении этих суток день непременно сменится ночью, а к утру тьму разгонит рассвет, за которым рано или поздно снова последует вечер. Мифология смены космических дней и ночей никак не связана с идеями наказания или вины. Все происходит само собой, в согласии с природой вещей.

По словам ученого халдейского жреца Бероса, составившего в начале III в. до н. э. рассказ о вавилонской мифологии, потоп наступил через 432 000 лет после того дня, когда на престол

взошел первый шумерский король, и на протяжении этого периода страной правили последовательно десять царей, живших чрезвычайно долго. Отметим, что по Библии сотворение Адама и потоп Ноя разделяли 1656 лет, и в эту эпоху на земле обитали десять патриархов-долгожителей. Если доверять точности расчетов выдающегося еврейского ассириолога прошлого века Юлиуса Опперта (1825–1906), то в 1656 годах 86 400 семидневных недель.

Таким образом, даже в Библии угадывается месопотамская модель повторяющихся с математической упорядоченностью циклов возникновения и уничтожения мира, где каждый круг завершается потопом. Известно, однако, что наиболее распространенное и очевидное объяснение причин всемирного наводнения сводится к тому, что Яхве решил наказать людей за грехи — это уже совершенно иная идея, подчеркивающая скорее свободу воли человека, а не более раннее, скрытое представление о совершенно безличном характере цикла рождения и гибели Вселенной, столь же невинных, как обычная смена дней и ночей в году.

Самыми ранними из дошедших до нас примеров второго толкования легенды о потопе являются два шумерских клинописных текста, датируемых периодом от 2000 до 1750 г. до н. э. В них говорится о разгневанном боге Энлиле и построившем ковчег человеке, которым был десятый царь древнешумерского города-зиккурата Киша. Таблички с текстами относятся к тому же периоду, что и упоминавшийся уже обычай именовать месопотамских царей «наместниками» божеств. Подобный сдвиг мировоззрения обозначает очень многое. Прежде всего, картина зримого мира теряет чудесную составляющую. Это больше не божественная и лучезарная непостижимая загадка, в которой на равных участвуют боги и демоны, растения, животные и человеческие города. Божественное ушло с Земли, перенеслось в сверхъестественные пространства, откуда боги — единствен-

ные, кто источает мистическое сияние, — контролируют происходящее с людьми.

С другой стороны, наряду с утратой — точнее, вследствие утраты — отождествления с органичным божественным бытием живой Вселенной человек получил — вернее, завоевал — право на самобытность, определенную свободу воли. Так, он установил новые взаимоотношения с внешним божеством, тоже наделенным свободой воли. Боги великого Востока как посредники мирового цикла едва ли занимают положение выше надзирателей: они следят за ходом естественного циклического процесса, но не могут сдержать или изменить его. А теперь появляется божество, которое, наоборот, способно по собственному выбору затопить Землю, чтобы наказать созданных им же людей за грехи. Отныне есть бог, который сам устанавливает законы, вершит правосудие и приводит в исполнение приговор, — и мы оказываемся в совершенно иных условиях. Коренные перемены в сознании озарили Вселенную и все существующее новым, более ярким светом, и он, как сияние Солнца, затмил блеск Луны, планет и звезд. В течение последующих веков этот новый свет рассеялся по всем странам к западу от Ирана и полностью их преобразил.

Боги и люди больше не воспринимались как отдельные грани единого безличного бытия всего сущего, пребывающего за пределами имен и форм. Они начали различаться по природе, стали едва ли не противоположностями, причем человек оказался в подчиненном положении. В то же время наделенный личностью бог занял место не ниже, а выше законов Вселенной. Согласно ранним представлениям, боги были чем-то вроде вселенских чиновников и, подобно людям, руководствовались в своих делах и обязанностях великими естественными законами мироздания. Теперь же появился бог, который сам решает, как должны выглядеть законы. Он говорит: «Да будет так!» — и становится так. Акцент смещается с непреложного всеобщего закона на личность

и ее прихоти. Бог вправе менять свои намерения и делает это довольно часто; эти взгляды тесно сближают дух левантинцев с врожденным индивидуализмом европейцев. Тем не менее их мировоззрения кое в чем различаются.

Особенность Леванта заключается в подчеркнутой покорности людей воле Божьей, в каких бы капризах она ни проявлялась. Основная мысль сводится к тому, что бог даровал отраженное в книге Откровение. Каждый обязан его читать и почитать, никогда не критикуя, лишь веруя и подчиняясь, от того же, кто пренебрегает священной книгой или отрицает ее, Создатель просто отвернется. Таким образом, многие большие и малые народы, а подчас и целые континенты оказываются населены нечестивыми безбожниками. Действительно, всем крупным религиям, зародившимся в районе Леванта, — зороастризму, иудаизму, исламу и христианству — свойственна идея о том, что на свете есть только один народ, получивший Слово, единственная верная традиция, а представители ее, следовательно, образуют один исторический организм. Подразумевается, однако, уже не то природное, космическое единство, идея которого характерна для древних и нынешних восточных мифологий, а наделенный сверхъестественной силой, исключительный общественный институт со своими собственными, подчас на удивление неестественными законами. В Леванте главным героем является не отдельный человек, а благословенный, богоизбранный народ или Святая Церковь, где личность может рассчитывать только на роль рядового члена. Христианин, например, благословен уже потому, что крещен и принадлежит к Церкви, а иудей не должен забывать, что у него есть обязательства перед Яхве в силу самого рождения от матери-еврейки. Главное, что конец света переживут только те, кто следовал Заветам, — либо, как в христианском варианте, те, кто прошел таинство крещения и скончался «в благодати». Лишь эти люди воскреснут и предстанут перед Богом, а потом, как заверяет одна из приятных

версий загробной жизни, будут вечно вкушать за общим райским столом мясо левиафана и бегемота.

Поразительным свидетельством глубочайших трудностей, которые испытывали европейцы, когда пробовали совместить общинные идеи Леванта с исконной значимостью личности у греков и римлян, кельтов и германцев, может послужить католическая доктрина о двух судах, ожидающих душу в загробном мире. Первый, «частный», суд происходит сразу после смерти; на нем каждому человеку в отдельности определяют награду или искупительную кару. Второй, «всеобщий», суд состоится, когда наступит конец света; всех, кто когда-либо жил на Земле, соберут вместе и будут судить открыто — вероятно, для того, чтобы Промысел Божий, который в земной жизни частенько вынуждает хороших людей страдать, а злодеям дарует благоденствие, мог наконец наглядно явить всему человечеству свою непогрешимую справедливость.

В завершение я хочу пересказать три версии одного древнего мифа, которые сохранились независимо друг от друга в Индии, на Ближнем Востоке и в Греции. Это сопоставление со впечатляющей наглядностью показывает разницу между общевосточными воззрениями и двумя не очень схожими западными представлениями о характере личности и ее высших достоинствах.

Начнем с индийского мифа, рассказанного в религиозном тексте «Брихадараньяка упанишада», составленном около VIII в. до н. э.

Во времена до начала времен во Вселенной не было ничего, кроме некоей сущности, «Я» в облике человека. Эта сущность, этот «Я» «оглянулся вокруг и не увидел никого, кроме себя. И прежде всего он произнес: “Я есмь”. Так возникло имя Я». И когда он осознал себя как Я, это, ему стало страшно. «И он подумал: “Ведь нет ничего, кроме меня, — чего же я боюсь?” И тогда боязнь его прошла».

Однако, как сказано далее, «он не знал радости. Он захотел, чтобы рядом был другой». Он разросся и, разделив себя на две части, стал мужчиной и женщиной. Мужчина сочетался с женщиной, и родились люди. «И она подумала: “Как может он сочетаться со мной после того, как произвел меня через самого себя? Я должна спрятаться”. Она стала коровой, он — быком, и сочетался с ней; тогда родились коровы. Она стала кобылой, он — жеребцом...» и так далее, «вплоть до муравьев».

«Тогда он понял: “Поистине, я есмь Творение, ибо я сотворил все это”. Так он стал творением. Кто осознает это, тот сам становится создателем в своем создании».

Так выглядит индийский вариант предания. Перейдем к его левантийской версии, датируемой примерно тем же периодом и сохранившейся во второй главе Книги Бытия. Это довольно печальное повествование о нашем первопредке Адаме, сотворенном Создателем из праха, чтобы возделывать и хранить эдемский сад. Но человеку было одиноко, и Творец, желая порадовать его, создал из земли всех животных полевых и птиц небесных, и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их. Но ни одна тварь не принесла Адаму утешения. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребер его...» И, увидев женщину, человек сказал: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей» (Быт. 2:18–23). Хорошо известно, что случилось потом и как все мы оказались здесь, в этой юдоли слез.

Обратите внимание: второй вариант отличается от первого тем, что уже не Бог делится надвое, а созданный им слуга! Не сам Бог становится мужчиной и женщиной, чтобы излиться затем в виде всего сущего. Он остается в стороне и обладает особым естеством. Таким образом, это действительно две разные версии одного предания. Соответственно, различны и вытекающие из них следствия, связанные с идеалами и правилами религиозной

жизни. На Востоке идеал сводится к тому, чтобы каждый осознал, что он сам и все вокруг сотканы из той же субстанции, что и всеобщее бытие, представляющее собой, по существу, единое «Я» во всем. По этой причине традиционной целью большинства восточных религий является восприятие и постижение собственной тождественности бытию всего сущего, тогда как на Западе, согласно Библии, главное место занимают особые взаимоотношения с совершенно иной личностью, Создателем, который пребывает вовне, «где-то там», и ни в коем случае не является сокровенным «Я» человека.

Наконец, перейдем к греческому варианту той же легенды, который соответствует еще одному мировоззрению. Эта версия приводится в платоновском диалоге из «Пира», внутри которого приписывается Аристофану. Как это свойственно беззаботности великих умов из его компании, Платон предлагает скорее метафорическое объяснение загадки любви, нежели серьезное и достоверное рассуждение о происхождении человека.

Фантазия начинается с тех времен, когда уже существовал род человеческий, а еще точнее, сразу три расы: одна состояла исключительно из мужчин и обитала на Солнце, другая, женская, населяла Землю, а третья, представляющая собой слияние мужского и женского, жила, разумеется, на Луне. Ростом представители третьей расы вдвое превышали обычного человека, у каждого было по четыре руки и ноги, бока и спины образовывали круг, у головы было два лица, прочие же части тел имели привычное для нас устройство. Боги побаивались этих могущественных созданий, и в конце концов Зевс с Аполлоном рассекли их надвое, «как разрезают перед засолкой ягоды рябины или как режут яйцо волоском. И вот, когда тела были таким образом рассечены пополам, каждая половина с вожделением устремлялась к другой своей половине, они обнимались, сплетались и, страстно желая срастись, умирали от голода...», пока боги не разлучили их вновь. Урок притчи заключается в том,

что «такова была изначальная наша природа, и мы составляли нечто целостное. Таким образом, любовью называется жажда целостности и стремление к ней. Помирившись и подружившись с богом, мы встретим и найдем тех, кого любим, свою половину, что теперь мало кому удается»; с другой стороны, «если мы не будем почтительны к богам, нас рассекут еще раз, и тогда мы уподобимся выпуклым надгробным изображениям, которые как бы распилены вдоль носа».

Как и в библейском варианте, здесь надвое разделяется не высшее божество. Нет сомнений, что мы по-прежнему на Западе, где Бог и человек разобщены, а главной проблемой являются их взаимоотношения. Однако греческие боги, в отличие от Яхве, не создавали человеческий род; как и люди, они возникли из чрева богини Земли и потому были скорее старшими, более могущественными братьями человека, а не его творцами. Больше того, согласно этой типичной для греков, поэтичной и шутливой версии архаичного предания, прежде чем рассечь первых людей пополам, боги боялись их — такой ужасной властью обладал человек, столь велика была его душа. Однажды люди даже отважились напасть на богов, населявших небо, и на какое-то время весь пантеон впал в панику, ведь если бы боги уничтожили людей ударами молний, некому было бы приносить жертвы, а без поклонения боги и сами бы вскоре погибли. По этой причине богам и пришла в голову счастливая мысль о рассечении людей, которая была воплощена в жизнь.

Можно не сомневаться, что симпатии греков на стороне человека, с которым их, как-никак, связывают родственные узы. Евреи, напротив, занимают сторону Бога. Невозможно представить себе, чтобы древний грек повторил, например, слова измученного «справедливого и богобоязненного» Иова, обращенные к Богу, который «погубил его безвинно» (Иов 2:3), а после предстал перед праведником в виде бури и бахвалился своей властью.

«Знаю, что Ты все можешь, — рыдал Иов, — поэтому отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (42:3; 6).

«Раскаиваюсь»! Но в чем?!

В ту же эпоху, в V в. до н. э., когда неизвестный автор составил Книгу Иова, великий греческий драматург Эсхил вложил в уста своего Прометея — а его, между прочим, тоже терзал бог, способный «удою вытащить левиафана, забавляться им, как птичкою, и пронзить кожу его копьем», — потрясающие строки: «Чудовище... А мне до Зевса дела никакого нет. Пусть правит как угодно...»

Эти слова и сегодня все мы повторяем в душе, хотя многих из нас приучали лишь к лепету Иова.

Глава V

КОНФРОНТАЦИЯ ВОСТОКА И ЗАПАДА В РЕЛИГИИ (1970)

Когда в двадцатые годы я был студентом, едва ли кто-то мог предположить, что и в семидесятые образованные люди все еще будут читать и размышлять о религии. Все были абсолютно уверены в том, что будущее покончит с религией навсегда. Наука и разум уже главенствовали. Мы победили в Мировой войне (имею в виду, конечно, Первую), и Земля стала идеальным местом для рационального царства демократии. Героями литературы были ранний Олдос Хаксли с его «Контрапунктом», Бернард Шоу, Герберт Уэллс и прочие воспеватели рассудка. Но именно тогда, в разгар оптимистической веры в разум, демократию и социализм, вышла тревожная работа — «Закат Европы» Освальда Шпенглера. В те же счастливые годы появилась и другая неожиданная четверка: «Волшебная гора» Томаса Манна, «Улисс» Джеймса Джойса, «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста и «Бесплодные земли» Томаса Элиота.

В литературном смысле это было поистине удивительное время. Но хотя многие тогдашние авторы с уверенностью писали о триумфе разума и прогрессивных политических успехах, озаривших светом самые темные уголки Земли, в самом сердце западной цивилизации что-то начало разрушаться. Из всех предупреждений и смутных предчувствий наибольшее беспокойство вызывали предостережения Шпенглера. Они были основаны на концепции естественного жизненного цикла цивилизации, на исторической морфологии. По мнению Шпенглера, у каждой культуры есть собственный цикл жизненного пути: период молодости, период расцвета, шаткий возраст, когда цивилизация пытается скрепить себя посредством рационального планирования, проектов и организации, но все равно приходит к ветхости и оцепенению, которое Шпенглер называл «феллахизмом», и окончание жизни. Итак, с его точки зрения, в настоящее время мы находимся на стадии перехода от культуры к цивилизации, от периода непосредственной юношеской креативности к периоду тревог, неуверенности и беспокойства — иными словами, к началу конца. Он искал аналогии в классической мировой истории. По его утверждению, наша эпоха соответствовала концу II века до н. э., когда бушевали Карфагенские войны, культурный мир Греции скатывался к эллинизму, а римское военное государство расцветало. Отличительными чертами этого периода были автократия, то, что Шпенглер назвал «вторичной религиозностью», политика, основанная на предоставлении «хлеба и зрелищ» толпам жителей мегаполисов, и общая тенденция к насилию и жестокости в искусстве и досуге всего народа.

Ну что ж, могу сказать, это было интересным жизненным опытом — наблюдать, как в нашем мире, пусть и не так последовательно, исполняются предсказания Шпенглера. Вспоминаю, как часто мы сиживали, обсуждая эту перспективу, пытаясь вообразить, как ее можно отсрочить, а также предполагая, какие позитивные результаты может принести кризис. Шпенглер

утверждал, что в такие, как наша, эпохи перехода от культуры к цивилизации происходит снижение культурных форм: и действительно, в своей нынешней преподавательской деятельности я сталкиваюсь со все большим количеством студентов, которые утверждают, будто вся история западной культуры «не имеет значения», — они используют именно такое выражение. Создается впечатление, что «ребятам» (им нравится себя так называть) просто не хватает сил охватить ее и усвоить. Каждый из нас отмечает — или, по крайней мере, подозревает — у современной молодежи какую-то нехватку мужества, недостаток энергии. Однако можно взглянуть на ситуацию и иначе, увидев взаимосвязь проблем, с которыми сталкивается современность, новых фактов и влияний, которые должны быть усвоены. И тогда приходишь к заключению, что все свои силы молодежь тратит на то, чтобы справиться с усложняющимся настоящим и туманным грядущим. Приходится признать, что нынешний западный человек не только отбрасывает культуру прошлого в соответствии с представлениями Шпенглера, но и создает новые формы цивилизации, которые помогут построить грандиозное мультикультурное будущее.

Все это напоминает очень странную пророческую работу великого Уильяма Батлера Йейтса «Видение», созданную в течение тех самых двадцати лет с 1917 по 1936 год и демонстрирующую определенное сходство интуитивных предчувствий ирландского поэта с морфологическими построениями Шпенглера. Йейтс представляет современность как последнюю, завершающую фазу великого христианского цикла — «спирали» протяженностью около двух тысяч лет. «И я замечаю, — пишет он, — что, когда предел близок или миновал, когда пришло время сложить оружие, когда новая спираль начинает свой виток, меня наполняет восторг». Об этом он сочинил и издал уже в 1921 году потрясающее, вдохновленное самой судьбой стихотворение:

Второе пришествие

Все шире — круг за кругом — ходит сокол,
Не слыша, как его сокольник кличет;
Все рушится, основа расшаталась,
Мир захлестнули волны беззаконья;
Кровавый ширится прилив и топит
Стыдливости священные обряды;
У добрых сила правоты иссякла,
А злые будто бы остервенились.
Должно быть, вновь готово откровенье
И близится пришествие Второе.
Пришествие Второе! С этим словом
Из Мировой Души, Spiritus Mundi,
Всплывает образ: средь песков пустыни
Зверь с телом львиным, с ликом человечьим
И взором жестким и пустым, как солнце,
Влачится медленно, скребя когтями,
Под возмущенный крик песчаных соек.
Вновь тьма нисходит; но теперь я знаю,
Каким кошмарным скрипом колыбели
Разбужен мертвый сон тысячелетий
И что за чудище, дождавшись часа,
Ползет, чтоб вновь родиться в Вифлееме[1].

Был в те дни и другой немецкий историк культуры, Лео Фробениус, который, подобно Шпенглеру и Йейтсу, писал о культуре и цивилизации в морфологических терминах, как о своего рода органическом процессе, разворачивающемся неизбежно и необратимо. Однако, будучи африканистом и антропологом, он интересовался не только высокоразвитыми, но и примитивными цивилизациями, что привело его к идее выделения трех принципиально различных крупных этапов культурной истории

[1] Пер. Г. Кружкова.

человечества. Первый этап — время примитивной добычи продовольствия: охоты, собирательства, начинающегося земледелия и отсутствующей письменности; он тянется от самого зарождения человеческого рода и до сих пор длится в некоторых уголках земного шара. Второй этап начинается примерно с 3500 г. до н. э. Это эпоха «монументальных культур», сложных и обладающих грамотой: сначала Месопотамия и Египет, затем Греция и Рим, Индия, Китай и Япония, Центральная и Южная Америка, арабские огнепоклонники Леванта и Европа (от готики до современности). Теперь, наконец, наступает третий этап — рассвет многообещающей глобальной эры, на которую Фробениус смотрел как на заключительную фазу всей истории культуры человечества, хотя допускал, что она может продлиться несколько десятков тысяч лет. Таким образом, в периоде, который Шпенглер и Йейтс интерпретировали как конец цикла западной культуры, Фробениус видел намного более мощную перспективу: открытие нового века с безграничными горизонтами.

И действительно, наше время, когда начали объединяться прежде разобщенные культуры мира, вполне может ознаменоваться не только концом гегемонии Запада, но и возвратом человечества к возрасту расцвета, который теперь поддержат величайшие западные достижения науки и техники, без которых никакая зрелость невозможна.

Однако Шпенглер предвидит и в этой области только опустошение. По его представлениям, наука и техника являются ценностями лишь с точки зрения европейского менталитета. Неевропейские народы могут принять их только как средства разрушения и уничтожения Запада. И когда же они зарежут курицу, несущую золотые яйца, развитие науки и техники прекратится, всякий интерес к ним будет утрачен, что приведет к упадку технологии и возвращению многих народов к прежним обычаям. Нынешние зрелость и расцвет Европы и ее обещания миру — заведомо несбыточная мечта. Напротив, Фробениус, как

ранее Ницше, рассматривал настоящее как эпоху необратимого прогресса всего человеческого рода в едином жизненном пространстве — переход от детских, локальных стадий культурного роста к новому общечеловеческому будущему с творческим пониманием и реализацией, которые сейчас просто невозможно предугадать. Но я должен признаться, что, склоняясь к таким же взглядам, я все же не могу выбросить из головы то, другое, шпенглеровское видение...

В любом случае сегодня все мы, конечно, признаем то, что так или иначе входим в новый век, требующий новой мудрости: эта мудрость больше принадлежит опыту старости, чем поэтически фантазирующей молодежи, и каждый из нас, юный или пожилой, должен как-то ее усвоить. Когда мы обращаем наши мысли к религии, первое, что бросается в глаза, — глубокий беспорядок, в котором сейчас находится любая из великих традиций: то, что прежде считалось неоспоримой истиной, теперь кажется несостоятельным.

Кризис веры терзает не только молодежь, но и людей среднего и преклонного возраста. Религиозный пыл, впрочем, имеет мистическую направленность, а наиболее популярные учителя приехали к нам из мира, оставленного великой и прогрессивной современной цивилизацией далеко позади, воплощающего архаичный, давно отживший свое тип мышления. В изобилии появились гуру из Индии, роси из Японии, ламы из Тибета. Китайские книги предсказаний опережают по объемам продаж труды наших собственных философов.

...Но не психологов. И в этом нет ничего удивительного, поскольку главная тайна обращения к учениям Востока в том, что они нацелены на внутренний мир человека, мистичны и психологичны.

Я хочу провести аналогию между нынешней религиозной ситуацией и той, что сложилась в конце XIX века на севере Америки у индейских племен вследствие истребления буйволов. Это было

около ста лет назад, когда через равнины начали прокладывать железные дороги и белые американцы рыскали по равнинам, уничтожая целые стада буйволов, чтобы освободить дорогу для нового мира «железных коней», с помощью которых поселенцы отправляли вагоны с пшеницей и двигались от Миссисипи на запад. Бойня преследовала и другую цель — лишить индейцев источника пропитания и окончательно принудить к жизни в резервациях. Последствием этих разрушительных событий для индейцев стала новая религия, основанная на видениях, внезапно вошедшая в моду по всему индейскому Западу.

С жителями прерий случилось то же, что и с другими примитивными охотничьими народами: основой их религиозно-общественного порядка были взаимоотношения человека с животными — главным источником пищи. Основное беспокойство касалось невозможности поддержания неукоснительного общественного порядка. Буйволов истребили, и объединяющий символ исчез. В течение одного десятилетия существующая религия стала архаичной, и именно тогда на равнины выплеснулся спасительный с психологической точки зрения культ мескалина, прибывший из Мексики. Сейчас опубликовано уже много отчетов непосредственных участников ритуалов. Мы знаем, как индейцы собираются в особых помещениях, чтобы молиться, петь и есть пейотль, после чего каждый погружается в видения, — находя внутри себя смысл, утраченный сообществом, те самые сакральные образы, которые даруют ощущение психологической безопасности, придают глубину и осмысленность существованию.

Первый и самый важный эффект живого мифологического символа состоит в том, чтобы пробуждать и направлять энергию жизни. Он не просто, как сейчас модно говорить, «заводит», но и направляет в определенную сторону, побуждает к особым поступкам, помогающим жить и функционировать в социальной группе. Если же символы, предлагаемые социальными группами,

больше не работают, а те, что действенны, наоборот, уводят от группы, личность дает трещины, перестает быть целостной и испытывает дезориентацию — происходит то, что можно назвать патологией симво́ла.

Выдающийся профессор психиатрии Калифорнийского университета, доктор Джон В. Перри охарактеризовал живой мифологический символ как «аффективный образ». Говоря простыми словами, такой символ затрагивает в душе именно то, что нужно. Он не обращается к разуму, чтобы тот его интерпретировал и оценил. Наоборот, если символ нуждается в рациональном обосновании и осмыслении, то его можно считать мертвым. «Аффективный образ» нацелен непосредственно на эмоциональную сферу и вызывает мгновенный отклик — только после этого разум может прийти со своими интересными комментариями. Увиденный во внешнем мире образ вызывает в душе трепет, подобно тому, как одна струна отзывается другой, если они одинаково настроены. И когда жизненные символы пробуждают во всех членах социальной группы такого рода отклик, волшебный аккорд объединяет людей в неразрывный духовный организм, действующий посредством своих обособленных в космосе, но единых в бытии и вере членов.

Теперь давайте спросим: как это относится к библейской символике? Астрономические наблюдения из древнешумерских обсерваторий шеститысячелетней давности и столь же устаревшая антропология едва ли могут сейчас кого-то «завести». На самом деле пресловутый конфликт науки и религии не имеет никакого отношения к вере. Это просто конфликт двух наук: одна относится к IV тысячелетию до нашей эры, а другая — к 2000 году нашей. По иронии судьбы великая западная цивилизация, распахнувшая перед всем человечеством бесчисленные чудеса Вселенной — размерами с миллион галактик и возрастом в миллиарды лет, — опиралась в младенческие годы на религию с самой бедной и маленькой космологической системой из всех

когда-либо существовавших. Более оправданно было бы зарождение такой науки у древних майя, чей цикличный календарь охватывал 64 миллиона лет, или у индийцев, где каждая кальпа растягивалась на 4320 миллионов лет. Кроме того, в этих куда более размашистых системах окончательная божественная сила не имеет пола и превосходит любые категории; это не «мужчина», обитающий «на небесах», а сила, которая пронизывает все сущее, — для современной науки образ не настолько чуждый, чтобы не найти ему подходящего применения.

Библейский образ Вселенной сейчас не актуален, как не актуальна и сама идея «народа Божьего», которому все прочие будут служить (Ис. 49:22–23; 61:5–6 и др.), не говоря уже о своде ниспосланных свыше законов на все времена. Социальные проблемы нашего мира сильно отличаются от проблем крохотного уголка Древнего Леванта в VI в. до н. э. Общества не статичны, они постоянно меняются, и законы одного нельзя навязывать другому. Сложности, с которыми нам приходится сталкиваться, мало связаны с десятью заповедями, которые мы несем, как тяжелый багаж, несмотря на то, что само Священное Писание пренебрегает ими уже в следующей главе (Исх. 21:12–17; 20:13 и далее). Современные западные своды законов — не перечень непреложных заветов Бога, а рациональный, продуманный, развивающийся набор положений, разработанных людьми сообща — поскольку человеку свойственно ошибаться, — для того, чтобы решать логически обоснованные (и следовательно, сиюминутные) общественные задачи. Понятно, что наши законы не назначены божественным указом свыше; известно также, что это относится к законам любого народа. Таким образом, мы знаем — пусть и не всегда осмеливаемся открыто заявлять, — что наши священники не имеют права требовать непререкаемого выполнения нравственных законов, это обосновванно не больше, чем заявления о правдивости церковной науки. И даже роль «доверенного лица», дающего духовные советы, Церковь усту-

пила сейчас ученым-психиатрам — до такой степени, что многие священники сами обращаются за помощью к психологам, чтобы научиться лучше исполнять обязанности пастырей. Волшебство традиционных религиозных символов уже не в силах исцелить и может только привести к конфузу.

Короче говоря: когда с североамериканских равнин внезапно исчезли буйволы, это не только оставило индейцев без центрального мифического символа, но и лишило их самого образа жизни, который этим символом олицетворялся. В нашем собственном прекрасном мире общественные религиозные символы тоже потеряли силу и отмерли, а вместе с ними исчез и прежний уклад жизни. И, подобно индейцам, которые ушли в себя, многие обитатели озадаченного западного мира пустились — чаще под руководством Востока, а не Запада — в потенциально опасное, часто плохо организованное путешествие в глубины собственной души, чтобы отыскать там волнующие образы, которые уже не в силах предложить утративший веру общественный строй с его несообразно архаичными религиозными институтами.

Позвольте мне рассказать три истории из личного опыта, чтобы осветить некоторые проблемы конфронтации Запада и Востока.

Вот первая. В середине пятидесятых, когда Мартин Бубер[1] читал лекции в Нью-Йорке, я был удостоен чести войти в ограниченный круг приглашенных на его выступление в крошечной аудитории Колумбийского университета. Этот человек небольшого роста, наделенный, впрочем, внезапно впечатляющим обликом и тем загадочным свойством, которое называют харизмой, с ошеломительным профессионализмом прочел там пять или шесть еженедельных циклов лекций. Учитывая, что английский язык был для него не родным, его ораторское мастерство и умение

[1] Мартин Бубер (8 февраля 1878 года, Вена — 13 июня 1965 года, Иерусалим) — еврейский философ-экзистенциалист, теоретик сионизма.

держать аудиторию поражали. Однако уже к середине третьей лекции я начал осознавать, что абсолютно не понимаю, какой смысл доктор вкладывает в один из терминов. Его лекции были посвящены историям святых Ветхого Завета и включали отсылки к более поздним эпохам, а термином, смысл которого от меня ускользал, было слово «Бог». Иногда, например, так назывался воображаемый личный автор необъятной Вселенной, просторы которой открыла перед нами наука. В иных случаях речь шла очевидно о ветхозаветном Яхве на том или ином этапе становления представлений о нем. Наконец, время от времени доктор Бубер, казалось, повествовал о ком-то, с кем частенько разговаривал лично; к примеру, в разгар одной лекции он внезапно замолк, постояв несколько минут в задумчивости, покачал головой и негромко пробормотал: «Как трудно говорить о Боге в третьем лице!» Позднее я рассказал об этом доктору Гершому Шолему из Тель-Авива, и тот, усмехнувшись, ответил достаточно таинственно: «Да, временами старик и правда очень далеко заходит».

Так вот, когда на лекции в очередной раз прозвучало слово-хамелеон, я нерешительно поднял руку. Выступающий замолчал и вежливо поинтересовался:

— Что-нибудь не так?

— Доктор Бубер, — начал я, — сегодня вечером вы очень часто повторяете слово, смысла которого я не понимаю.

— Какое же?

— «Бог», — ответил я.

Его глаза расширились от удивления. Бородатое лицо слегка наклонилось ко мне:

— Вы не знаете, что значит «Бог»?

— Я не знаю, что вы понимаете под «Богом», — пояснил я. — Вы сказали, что сейчас Бог скрыл свое лицо и уже не показывается человеку. Но я недавно побывал в Индии (*чистая правда, я вернулся оттуда за год до лекции*), и там присутствие Бога ощущают, похоже, постоянно.

Доктор откинулся назад и поднял обе руки ладонями вперед:

— Не собираетесь же вы сравнивать...

Тут в разговор поспешно вмешался Джейкоб Таубз:

— Доктор, я вас очень прошу! — все присутствовавшие прекрасно поняли, что намеревался сказать лектор, а я только того и ждал. — Господин Кэмпбелл просто попросил вас объяснить, что вы подразумеваете под словом «Бог».

Бубер быстро собрался с мыслями и, обратившись ко мне, произнес тем тоном, каким обычно отмахиваются от неуместных пустяков: «Каждый бежит из пленения своим путем». С его точки зрения, ответ был, вероятно, вполне исчерпывающим, а с моей — совершенно неправомерным, так как народы Востока вовсе не пребывают в плену вдалеке от своего божества. Божественная тайна — не «где-то там», а в тебе самом, внутри. Никто не оторван от Бога. Единственная трудность сводится к тому, что некоторые не знают, как заглянуть в свою душу, но в этом не виноват никто, кроме них самих. Нет никакого первородного греха, содеянного много тысяч лет назад, ни пленения, ни воссоединения. Проблема исключительно психологическая — и, самое главное, решаемая.

Таков первый из трех моих рассказов.

Второй случай произошел года три спустя, когда ко мне пришел незнакомый индиец. Молодой человек — работал он то ли делопроизводителем, то ли секретарем одного из представителей Индии в ООН — оказался очень набожным и поклонялся Вишну.

Он читал труды Генриха Циммера, посвященные индийской философии, религии и искусству, и хотел поговорить о них со мной, так как я был редактором этих книг. Но этим цели его посещения не ограничились.

— Знаете, — сказал он, справившись с первой неловкостью, — попадая в чужую страну, я всегда стараюсь познакомиться с местной религией. Я купил Библию и вот уже несколько месяцев читаю ее с самого начала, но, понимаете... — Он замялся, раздумывая, стоит ли продолжать, но потом решился: — Я не вижу там религии!

Достойное дополнение к невысказанным словам доктора Бубера, не правда ли? В том, что каждый из этих джентльменов считал настоящей религией, другой вообще не видел ничего религиозного.

Разумеется, я сам был воспитан на Библии, но, кроме того, изучал индуизм и потому предположил, что смогу чем-нибудь помочь своему новому знакомому.

— Охотно верю, — ответил я. — Если вы не понимаете, что чтение воображаемой истории еврейского народа считается здесь религиозным занятием, то, на мой взгляд, едва ли найдете религию в большинстве библейских книг.

Позже я подумал, что следовало, пожалуй, предложить ему перейти сразу к Псалмам, но затем, когда раскрыл Библию и попытался перечитать их с точки зрения индуиста, даже порадовался, что не дал такого совета: главным сюжетом каждой песни почти неизбежно оказывалась либо добродетель самого певца, оберегаемого Богом, — который «истребит врагов» или «сокрушит зубы грешным», — либо сетования на то, что Господь не воздал еще своему верному слуге должной награды. Все это прямо противоположно тому, что приучают считать подлинно религиозным чувством праведного индуиста.

На Востоке сокровенную тайну божественного ищут за пределами человеческих категорий мышления и чувств, за гранью имен и форм — и уж точно вне таких идей, как личное великодушие или мстительность, превосходство одного народа над другими, вознаграждение молящегося и истребление тех, кто Бога не чтит. С точки зрения индуиста, попытки приписать непостижимой загадке антропоморфные, человеческие чувства представляют собой религию для малых детей, поскольку главным признаком «зрелой» веры является постижение того, что сущность самого человека — тайна, превосходящая любые понятия, имена и формы, мысли и чувства. Это откровение и выражено в знаменитых словах, с которыми кроткий брамин Аруни обращается к своему сыну в «Чхан-догья упанишаде» (ок. VIII в. до н. э.): «Ты сам, дорогой мой Шветакету, и есть То» — *тат твам аси.*

Речь идет не о том «ты», которое носит ваше имя, под которым вас знают и любят друзья, которое когда-то родилось и однажды умрет. Такое «ты» — совсем не «То». Скорее уж его можно назвать *нети нети*, «ни то, ни это». Лишь уничтожив в себе все, чем дорожит сейчас, бренное «ты» вплотную приблизится к порогу слияния с бытием, которое есть одновременно не-бытие, но все же остается бытием за гранью не-бытия всего сущего. «Тем» не является ничто из того, что «ты» когда-либо познавало или назвало именем, о чем хотя бы задумывалось. «То» — не сонм божеств и не какой-либо Бог, чьим воплощениям поклоняются. Как сказано в «Брихадаранъяка упанишаде» (составлена примерно в одно время с «Чхан-догья»):

И когда говорят: «Приноси жертву тому богу», «приноси жертву другому», то говорят лишь о его творениях, ибо он — все боги. <...>

Он [Атман] проник сюда до кончиков ногтей, как нож в ножны, как огонь в пристанище огня. Его не видят, ибо он неполон. Дышащий, он зовется дыханием, говорящий — речью, видящий — глазом, слышащий — ухом, разумеющий — разумом. Это лишь имена его

дел. Кто почитает лишь то или иное из них, не обладает знанием, ибо в том или ином он неполон. Пусть почитают его как Атмана, ибо здесь все [его дела] становятся одним. Этот Атман — след всего сущего, ибо, поистине, как находят по следу [утерянное], так узнают по нему все сущее (Брихадараньяка упанишада, 1:4.6–7; ранее цит., Т. 1)[1].

Мне вспоминается яркое выступление японского дзен-философа Д. Т. Судзуки, которое он начал с эффектного противопоставления восточного и западного восприятия тайны Бога — человека — природы. Говоря о библейском взгляде на положение человека после грехопадения, он отметил: «Человек против Бога, природа против Бога, человек и природа — друг против друга. Образ и подобие Бога (человек), Божье творение (природа) и Сам Бог — все трое воюют между собой». Разъясняя затем восточные представления, он сказал: «Природа — лоно, откуда мы приходим и куда возвращаемся»; «природа порождает человека из самой себя, и человек не может жить вне природы»; «Я — в природе, а природа — во мне». Бога, высшую Сущность, следует понимать, по его утверждению, как предшествующую всему сотворенному, «в ком не было когда-то ни природы, ни человека. Но стоит назвать его, как Бог перестает быть Богом. Возникают человек и природа — и мы снова в словесном лабиринте отвлеченных понятий».

Здесь, на Западе, мы назвали Бога — точнее, узнали его имя из книги, дошедшей до нас из чужих мест и времен. Нас приучили верить не только в абсолютность этого метафизического вымысла, но и в то, что он оказывает влияние на нашу жизнь. На Востоке, напротив, основное внимание уделяют переживаниям — своим, а не чужим. Разнообразные учения указывают пути к безошибочному, все более углубленному и обостренному восприятию собственного тождества с тем, что понимается под

---

[1] Пер. А. Я. Сыркина, 1991 г.

«божественным»: сначала отождествление, а после — избавление и от него.

Слово «Будда» означает «проснувшийся, Пробужденный». Оно происходит от санскритского корня *будх*: «измерять глубину, дотягиваться до самого дна» и, кроме того, «воспринимать, постигать, приходить в себя, просыпаться». Будда — тот, кто пробудился и увидел в себе не тело, а познающего тело, не мышление, а наблюдателя за мышлением и собственным сознанием. Кроме того, он постиг, что его значимость определяется способностью излучать сознание, как ценность лампы определяется свечением. В электрической лампочке важны не нить накаливания и не стеклянный баллон, а сам свет; в каждом из нас важно не тело или нервная система, а озаряющее их сознание. И тот, кто постигает это и перестает трястись над стеклянной колбой, обретает сознание Будды.

Существуют ли такие учения на Западе? Ничего подобного нет ни в одной нашей религиозной доктрине. Согласно Священному Писанию, Господь создал мир и человека, но Бога и его тварей заведомо нельзя приравнивать друг к другу. Собственно говоря, проповедь равенства Бога и человека как раз и есть главная примета ереси. Иисус сказал: «Я и Отец — одно» (Иоан. 10:30) и был распят за богохульство, а девять веков спустя за те же идеи казнили исламского мистика Халладжа. Но именно к этому сводятся представления Востока о настоящей религиозности!

Чему же тогда учат наши западные религии? Явно не тому, как ощутить свое равенство Богу; это, напротив, страшная ересь. Западные религии объясняют, как установить и поддерживать должные взаимоотношения с названным Богом. Как же их установить? Только благодаря принадлежности к избранному сообществу, наделенному свыше уникальными правами. Ветхозаветный Бог вступил в соглашение только с одной

исторической группой людей, одним народом — единственным священным на Земле. Как примкнуть к этой группе? Совсем недавно, 10 марта 1970 года, в Израиле законодательно подтвердили традиционный ответ: первейшим условием права на гражданство в этом мифовдохновенном государстве является рождение от матери-еврейки. Как достигается аналогичная богоизбранность в христианстве? Благодаря вочеловечению Иисуса Христа, истинного Бога и истинного Человека (что, на взгляд христианина, представляет собой поистине чудо, тогда как на Востоке настоящим Богочеловеком считается всякий, просто лишь немногие до конца сознают свое подлинное естество). С Христом нас роднит наша человечность, а его Божественность, в свою очередь, соединяет нас с Богом. Но как на деле вступают в такие взаимоотношения с единственным Богочеловеком? Путем крещения и, следовательно, духовного членства в его Церкви — опять же благодаря принадлежности к особому социальному институту.

Наше знакомство с образами, архетипами, общеизвестными главными символами открывшихся духовных тайн ограничивается декларациями этих двух социально-исторических групп, самостоятельно назначивших себя священными. Но сегодня многие их слова опровергнуты историей, астрономией, биологией и прочими науками, и это всем известно. Неудивительно, что духовенство выглядит встревоженным, а паства — смущенной!

И что теперь творится с нашими синагогами и церквами? Многие из церквей, как я замечаю, давно превратились в театры, другие — в лекционные залы, где по воскресеньям громогласно, с тем особым богословским тремоло, которое выдает Божью волю, преподают этику, политику и социологию. Почему священникам приходится падать так низко? Разве они уже не в силах исполнять свои подлинные обязанности?

Ответ, мне кажется, очевиден: конечно, могут — точнее, могли бы, если бы понимали, какой волшебной силой обладают имеющиеся в их распоряжении символы. Они могли бы служить достойно, просто представляя эти символы правильным, аффективным, волнующим образом. Ведь главным в религии является обряд, ритуал и его символика, а где нет обряда, там слова остаются просто обозначениями понятий, часто не имеющих никакого смысла в современных условиях. Ритуал представляет собой упорядоченную систему мифологических символов. Участие в драматическом обряде позволяет человеку непосредственно соприкоснуться с ними, увидеть в символике не рассказ о событиях исторического прошлого, настоящего или грядущего, а откровения о происходящем здесь и сейчас, всегда и вечно. Главная ошибка синагог и церквей — в стремлении разъяснить «смысл» символов; но ценность живого обряда заключается в том, что он вызывает у каждого собственные ассоциации, а догматы и определения лишь сбивают с толку. Вдалбливание рациональных доктрин вовсе не способствует религиозным размышлениям, но неизбежно им мешает, поскольку ощущение присутствия Бога рождается у человека только в развитии его собственного духовного начала. Какой прок в том, что твои представления о Боге — самой сокровенной и потаенной загадке жизни — описаны понятиями, которые были введены каким-то Собором или святым отцом, скажем, в V веке? Созерцание распятия, аромат ладана, культовые одежды, звучание слаженного григорианского напева, невнятная перекличка интроитов и «Господи, помилуй», слышимые и беззвучные освящения — вот что по-настоящему действенно! Но как волнующая значительность такого рода чудес связана с догматами Соборов? Разве мы улавливаем буквальный смысл таких, например, выражений, как «Oramus te, Domine, per merita Sanctorum tuorum»[1]. Захочется узнать их точное значение — вот он, перевод, здесь же, в молитвеннике. Но если рассеиваются волшебные чары обряда...

---

[1] «Молим Тебя, Господи, по заслугам Святых твоих...»

Теперь я намерен высказать несколько соображений. Начнем с индийской традиции, затем перейдем к японской, а в конце я хотел бы поговорить о том, какие наши чисто европейские нужды не может удовлетворить Восток.

Основополагающим текстом индуизма является, конечно же, «Бхагавадгита», где описаны четыре главных пути йоги. Само слово «йога» происходит от санскритского корня *юдж*, означающего «укрощать, связывать одно с другим». Йога подразумевает соединение ума с его источником, сознания — с причиной сознания, и смысл этого определения лучше всего объясняется учением, которое называют йогой знания или, иначе, йогой различения — в любом акте познания — познающего и Узнаваемого, субъекта и объекта, и последующего отождествления себя с познаваемым. «Я знаю свое тело. Мое тело — объект. Я — наблюдатель, познающий этот объект. Следовательно, я — не мое тело». Затем: «Я знаю свои мысли. Я — не мои мысли», «Я знаю свои чувства. Я — не мои чувства» и так далее. Тут мимо проходит Будда и добавляет: «Ты даже не наблюдатель. Наблюдателя нет». Что же остается? Где же, собственно, «Я»? Этот подход именуется *джайна-йога*, путь истинного знания.

Второй путь называют *раджа-йога* — «царская», «высшая» йога. Именно ее обычно имеют в виду, когда говорят просто о йоге. Этот путь можно описать как психологическую гимнастику, сочетающуюся с физическим и духовным развитием: поза лотоса, разнообразные виды медитации, глубокие вдохи и выдохи с определенной скоростью и ритмом — вдох через правую ноздрю, задержка, выдох через левую, задержка дыхания и так далее. Итогом должно стать подлинное психологическое преображение, а вершиной — восторженное переживание ярчайшего света сознания, освободившегося от всех условностей, ограничений, причин и следствий.

Третий путь, именуемый *бхакти* — йога благочестия, — больше всего похож на то, что понимают на Западе под словами «рели-

гиозность» и «вера». Следуя этому пути, человек посвящает всю свою жизнь бескорыстному служению возлюбленной сущности, которая становится, таким образом, «избранным божеством». Индийский святой XIX века Рамакришна рассказывал очаровательную историю: однажды к нему явилась дама, взволнованная внезапным пониманием того, что на самом деле никогда по-настоящему не любила бога и поклонялась ему не искренне. «А вы вообще кого-нибудь любите?» — спросил ее Рамакришна, и женщина ответила, что любит своего маленького племянника. «Он и есть ваш Кришна, ваш Возлюбленный, — сказал святой. — Заботясь о нем, вы служите Богу». Малыш и вправду был самим богом, ведь в одной из легенд говорится, что, когда Кришна родился в племени простых пастухов, он научил этот народ поклоняться не какому-то невидимому божеству на небесах, а своим собственным коровам. «Вот кому нужно служить, так как через коров Бог несет вам благословение. Поклоняйтесь коровам». И пастухи украсили свой скот гирляндами и начали проводить в его честь обряды. Урок притчи ясен и даже в чем-то схож с поучением современного богослова Пауля Тиллиха, который провозгласил:

«Бог — это то, о чем вы заботитесь больше всего».

Наконец, четвертым путем йоги является *карма-йога*, йога действия. Именно ей посвящена большая часть «Бхагавадгиты». К разговору о ней читателя готовят сами обстоятельства знаменитого сюжета: поле битвы, где разворачивается легендарная война сынов Индии, знаменующая закат ведо-арийской эпохи рыцарства, когда феодалы-аристократы всей страны истребили друг друга в кровавых сражениях. Центральное место на фоне зловещего пейзажа занимает юный царевич Арджуна, который, готовясь к важнейшему событию своей воинской карьеры, просит возничего — своего прославленного друга, юного бога Кришну, — провести колесницу меж двумя рядами противостоящих армий. Глядя налево и направо, Арджуна видит по обе

стороны множество родственников и друзей, благородных товарищей и отважных героев. Дрогнувшая рука царевича роняет лук, и, охваченный чувством вины и горя, он говорит богу-возничему:

При виде моих родных, пришедших для битвы, Кришна,
Подкашиваются мои ноги, во рту пересохло,
Дрожит мое тело, волосы дыбом встали. <...>
Их убивать не желаю, Мадхусудана, хоть и грозящих смертью,
Даже за власть над тремя мирами, не то что за блага земные.

Юный бог отвечает на это упреком, после чего начинает великое поучение:

Как у тебя в беде такое смятенье возникло?
Оно для арийца позорно. <...>
Рожденный неизбежно умрет, умерший неизбежно родится;
О неотвратимом ты сокрушаться не должен. <...>
Если же ты справедливого боя не примешь,
Ты согрешишь, изменив своим долгу и чести. <...>
Итак, на дело направь усилья, о плодах не заботясь,
Да не будет плод дела твоим побужденьем,
Но и бездействию не предавайся[1].

После суровых речей бог открывает Арджуне глаза, и тот с изумлением видит своего друга преобразившимся: лучезарным, как тысяча солнц, многоглавым, с тысячей лиц, горящих глаз, брящающих оружием рук и усеянных клыками ртов. С обеих сторон в эти ужасные зубастые пасти вливались два несметных полчища гибнущих живых тварей, а чудовище слизывало их с губ. «Бог мой! Да кто же ты?» — восклицает Арджуна, и волосы у него становятся дыбом. И его друг, Владыка Мира, отвечает так: «Я Время, продвигаясь, миры разрушаю, для их погибели здесь

---

[1] Пер. Б. Л. Смирнова.

возрастая; и без тебя погибнут все воины, стоящие друг против друга в обеих ратях. Поэтому — воспрянь, победи врагов, <...> ибо раньше их поразил, ты будь лишь орудием, как воин <...> Богатырей, убитых Мною в сраженье, рази не колеблясь, сражайся, одолей соперников в битве!»

«Будь орудием» означает в Индии «без сомнений исполняй долг, предписанный твоей касте». Арджуна — воин, и его долг — сражаться. Однако у нас, на Западе, так уже никто не рассуждает, и потому восточная идея непогрешимости духовного наставника, гуру, не принесет нам какой-либо реальной пользы. Она не сработает, просто не сможет подействовать. По нашим представлениям, зрелая личность — вовсе не тот, кто без раздумий соглашается с требованиями и преходящими идеалами своей социальной группы, как поступают дети, которые обязаны во всем слушаться родителей. Нашим идеалом, напротив, является человек, который благодаря личным переживаниям, житейскому опыту и взвешенным суждениям (я имею в виду суждения, основанные именно на опыте, а не попугайское повторение отрывков из курса лекций по социологии, составленного для первокурсников старым профессором имярек в духе его собственной программы мироустройства) пришел к достаточно трезвым и продуманным взглядам на мир и превратился из покорного слуги непреложной власти в ответственную, самостоятельную и самоопределяющуюся личность. С этой точки зрения на Западе «долг» означает нечто совсем иное: не смиренное детское согласие со всем, что твердят власть имущие, а рассудительное, оценивающее и развивающееся Эго — иными словами, способность к независимому наблюдению и обоснованным сомнениям, умение толковать окружающий мир и соизмерять свои силы с весом обстоятельств. Разумеется, поступки человека в этом случае соотносятся не с идеалами прошлого, а с возможностями настоящего. Но именно это на Востоке и запрещено!

Многие мои друзья полагают, что сегодняшним студентам нужен не преподаватель, а именно учитель восточного типа, гуру,

который несет ответственность за нравственность ученика. Верно и обратное: цели ученика должны совпадать с целями гуру, то есть ученику следует как можно больше походить на учителя. Однако, по моему мнению — и я высказывал его своим приятелям из академических кругов, — наши студенты лишены главного достоинства восточного ученика, а именно веры, *шраддха*, «безоговорочного доверия» к почитаемому гуру. С другой стороны, мы сами стараемся развивать в учениках здоровый скептицизм и самостоятельные суждения — и это не так уж редко удается. По правде сказать, с нынешним поколением мы даже в чем-то перестарались, так что оно едва ли не с пеленок поучает собственных наставников. Не берусь даже гадать, что именно современная молодежь сможет перенять у Востока, к которому сейчас многие так тянутся. На мой взгляд, достаточно отметить, что это непременно будет как-то связано с мистическим погружением в себя — хотя бы и неглубоким. И если при этом молодежь не утратит связи с современными условиями жизни, следствием вполне могут стать многочисленные прорывы творческой мысли и жизненные свершения, новые явления в искусстве и литературе.

Эти размышления подводят нас к обещанной третьей истории о столкновении миров в сфере религии; на сей раз речь пойдет о том, как Восток превращает волшебство религии в искусство. Дело было летом 1958 года, когда я приехал в Японию на IX Международный конгресс по истории религий. Даже в этом необычайно пестром собрании явно выделялся один участник — знаменитый обществовед из Нью-Йорка, человек эрудированный, добродушный и обаятельный, но не очень-то подкованный в том, что касается как Востока, так и религии (честно говоря, я вообще не мог понять, как он там оказался). Вместе со всеми участниками он посетил ряд величавых синтоистских святынь и буддийских храмов, после чего начал задавать довольно показательные вопросы. В конгрессе участвовало много японцев, в том числе

духовенство, и на большом пикнике на лоне природы наш друг направился прямиком к одному из священников-синтоистов. «Знаете, — заявил он, — я видел уже много церемоний, посетил изрядное число храмов, но до сих пор не улавливаю идеологии. Я не понимаю вашего богословия».

Как известно, японцы не любят огорчать гостей. Благовоспитанный синтоист отнесся к серьезному вопросу иностранного ученого с видимым почтением, немного помолчал с задумчивым видом, а затем, покусывая губы, удрученно покачал головой и признался: «Думаю, у нас нет идеологии. Богословия у нас тоже нет. Мы просто танцуем».

На мой взгляд, это был важнейший урок всего конгресса. По существу, этот краткий разговор показал, что исконная для Японии религия синто с ее невероятно величественными, впечатляющими своей музыкальностью обрядами далека от каких-либо попыток свести «волнующие образы» к обычным словам. Символы — в обличье обрядов и произведений искусства — говорят сами за себя и обращаются через глаза к внимающему сердцу. Мне кажется, того же следовало бы добиваться и в наших религиозных обрядах. Спросите художника, в чем «смысл» его картины, и вы едва ли решитесь задать подобный вопрос когда-нибудь еще. Наглядные символы передают свои откровения без участия речи; они лишены того смысла, какой вмещают слова. И если символы безмолвствуют, то только для того, кто еще не готов их воспринять, а слова в этом случае позволяют ему мнить, будто он что-то понимает, и тем самым окончательно отгораживают от возможности постичь символику. Мы ведь не спрашиваем, в чем смысл танца, мы просто весело танцуем. Мы не спрашиваем, что означает окружающий нас мир, а просто получаем от него удовольствие. Мы не спрашиваем, в чем смысл нас самих, — просто радуемся тому, что мы есть (по крайней мере, когда пребываем в добром здравии).

Но для того чтобы радоваться жизни, нужны не только хорошее самочувствие и расположение духа — ведь этот мир, как всем нам уже понятно, в высшей степени ужасен. «Жизнь есть страдание», — возвестил Будда; это правда. Живое пожирает живое, и в этом вся сущность бытия, которое означает извечное становление. «Мир — неугасимое пламя», — сказал Будда, и это тоже правда. Именно это и приходится подтверждать... да! конечно, танцем! — исполненным понимания, торжественным, величавым танцем мистического блаженства, возносящим человека над той болью, что кроется в глубине любого мифического обряда.

В завершение я расскажу удивительную индийскую легенду из бесконечного комплекса мифических преданий о боге Шиве и его прекрасной жене Парвати, богине всего нашего мира. Однажды перед великим божеством предстал дерзкий демон, который только что сверг богов — правителей мира, а теперь явился к высочайшему среди них с ультиматумом: демон требовал, чтобы бог отдал ему свою супругу. Чем же ответил Шива? Он просто приоткрыл свой мистический третий глаз посреди лба, и — ба-бах! — землю поразил удар молнии, и появился второй демон, еще сильнее первого. Порождение Шивы представляло собой гигантскую костлявую тварь с львиной головой и раскинувшейся на все стороны света гривой; сутью же этого чудовища был неутолимый голод. Существо должно было сожрать наглого демона и, похоже, без труда справилось бы с задачей. Демон лихорадочно искал спасения, и вот ему в голову пришла счастливая мысль — сдаться на милость Шиве.

Есть известное богословское правило: если сдаешься на божью милость, бог не может отказать тебе в помощи. Теперь Шиве пришлось спасать и защищать демона от собственного создания; но в результате чудовищу нечем было утолить голод, и оно в отчаянии спросило Шиву: «Кого же мне съесть?»

И бог ответил: «Почему бы тебе не сожрать самого себя?»

Сказано — сделано. Омерзительное создание принялось грызть собственные ноги, затем, продвигаясь вверх, проглотило живот, грудь и шею, пока не осталась только морда. Это зрелище привело Шиву в полный восторг, так как явило собой идеальный образ чудовищности самой жизни, которая питается сама собой. И тогда обрадованный Шива сказал похожей на солнце маске льва (это было все, что осталось от алчной твари): «Я назову тебя Кирттимукха, Лицо Славы, и будешь ты блистать над входом в каждый мой храм. И кто не станет воздавать тебе почести, тому никогда не познать меня».

Урок очевиден: первым шагом к постижению высшего божественного символа чуда и тайны жизни является признание ее чудовищной сущности и в то же время величия, воплощенных в персонаже легенды. С этим можно только смириться: так уж заведено, и ничего тут не изменишь. Тем, кто уверен — а имя им легион, — будто прекрасно знают, какое мироустройство было бы лучше существующего и как бы оно выглядело, если бы Вселенную создавали они, — без боли, без горя, без времени, без жизни, — не видать просветления. Подобным образом многие предлагают: «Давайте сначала изменим общество, а потом уже каждый займется собой»; но и эти не смогут миновать даже самые первые врата божественной обители мира. Любой общественный строй зол, ужасен и несправедлив. Так было и будет всегда, и если хочешь по-настоящему помочь этому миру, то учи, как жить в нем; но на такое способен лишь тот, кто сам смирился с радостной скорбью и горьким счастьем знания жизни в том виде, какая она есть. Вот смысл чудовищного образа Кирттимукхи, «Лица Славы», украшающего вход в святилища бога йоги и его супруги — богини жизни. И эту божественную чету не постичь, не склонившись с должным почтением перед висящей над дверью маской, прежде чем скромно пройдешь внутрь.

Глава VI

ВДОХНОВЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ИСКУССТВА (1968)

В индийских учебниках по эстетике различают четыре классические темы, подходящие для художественного изображения. Это, во-первых, такие абстрактные качества, как добро, истина и красота; во-вторых, деяния и настроения (убийство чудовищ или врагов, завоевание любви, состояния тоски, счастья и тому подобное); в-третьих, типы людей (брамины и нищие, добрые и злые принцы, купцы, слуги, влюбленные, изгои, преступники) и, наконец, божества — все они, отметим, абстрактны. Восток не проявляет интереса к личности как таковой и единичным, исключительным фактам или событиям. Соответственно, величественная галерея восточного искусства состоит, главным образом, из многократных повторений испытанных временем тем и мотивов. При сравнении этого искусства с сияющими галактиками ренессанса и пост-ренессанса больше всего удивляет практически полное отсутствие в восточных традициях портретов. Вспомним картины Рембрандта или Тициана: основное внимание уделяется изображению того, что именуют характером,

индивидуальностью, уникальностью каждого человека — как его физического облика, так и души. Такая озабоченность преходящими свойствами крайне противоречит духу всего восточного искусства. Наше уважение к личности как уникальному явлению, чьи особенности нужно не подавлять, а, напротив, развивать как некий дар, которого никогда еще не было на земле и больше не будет, совершенно неприемлемо не только для искусства, но и для всего образа жизни Востока. Поэтому художник должен не изобретать и выдумывать что-то свое, а совершенствоваться в воспроизведении имеющихся норм.

Соответственно, восточному художнику следует не только обращаться к стандартным сюжетам, но также избегать того, что мы называем самовыражением. Изобилующие в биографиях западных мастеров рассказы об одиночестве и муках художника, ищущего специальный язык, с помощью которого удастся передать свой личный посыл, придется искать в летописях восточного искусства долго — и, вероятно, безуспешно. Такое направление совершенно чуждо восточной мысли, жизни и религиозности, которые нацелены на подавление Эго и любого интереса к недолговечному «Я», представляющему собой лишь мимолетный сон.

У этого есть своя отрицательная сторона. Такое культивирование безликости привело к возникновению необозримой панорамы академических стереотипов, но это не относится к нашей теме. Прежде всего я хочу обсудить те классические шедевры искусства, которые действительно являют глазу смертного откровение о присутствии Бессмертного во всех окружающих вещах. Песня, которую слышит душа при чтении «Бхагавадгиты», — звучание духа, который никогда не рождался и не умирал, чей свет восславляет и пронизывает призрачное существование всего смертного, что появляется лишь для того, чтобы затем умереть; эта вселенская песнь звучит не только в искусстве Индии, но и во всем дальневосточном образе жизни. Именно эту мелодию мне хотелось бы сейчас подхватить.

Начнем с того, что индийское искусство (зародившееся в Индии и позже распространившееся на Дальнем Востоке) — это йога, а его выдающиеся представители являются йогами. Долгие годы они послушно ходят в учениках, и лишь по окончании этого периода их признают настоящими мастерами — скажем, дают заказ на воздвижение храма или создание священного образа. Сначала художник медитирует, чтобы перед его внутренним взором предстало видение символического здания идти божества. Согласно легендам, именно таким образом создавались целые города: святой монарх мог увидеть во сне еще не построенный храм или город. Порой мне кажется, что именно поэтому во многих восточных городах кажется, что ты идешь сквозь сон наяву: все вокруг кажется сказочным, потому что было задумано во сне и лишь потом воплощено в камне.

Искусный художник, собирающийся создать образ божества — предположим, Вишну, — сначала изучит все относящиеся к делу тексты, чтобы зафиксировать в памяти канонические знаки, позы, пропорции и прочие приметы бога. Затем он сядет и начнет про себя повторять корневой слог имени божества — и, если повезет, в установленный срок перед его внутренним взором возникнет образ, который и будет служить моделью для произведения искусства. Таким образом, величайшие творения периодов расцвета Индии были на самом деле откровениями, и для того, чтобы оценить их верно — не как посланные свыше некими сверхъестественными существами, а созданные силой, скрытой в каждом человеке, для высвобождения которой просто надо ее осознать, — достаточно обратиться к превосходному учебнику по психологии «Шатчакра-нирупанам» — «Описание шести центров раскрывающейся в человеческом теле силы Змеи», которую еще шестьдесят лет назад превосходно перевел сэр Джон Вудроф (издательство «Ганеш и компания», Мадрас).

Основное положение кундалини-йоги объясняется в этой фундаментальной работе так: в теле человека от его основания

до темени есть шесть плюс один, то есть семь, психических центров; благодаря йоге эти центры можно последовательно активировать, достигая таким образом высших уровней духовного сознания и блаженства. Они известны как «лотосы» (*падма*), или «колеса» (*чакра*), и в обычном состоянии малоактивны. Однако прикосновение духовной силы под названием *кундалини*, восходящей по мистическому каналу в позвоночнике, заставляет чакру воспламениться, пробуждает ее к жизни. Санскритское слово «кундалини», «свернувшаяся кольцами» является существительным женского рода и передает образ свернувшейся змеи, изначально спящей в самом нижнем из семи центров. В восточной мифологии змея обычно олицетворяет жизненную силу, которая отвергает смерть, поскольку сбрасывает кожу и, можно сказать, рождается заново. В Индии эта сила считается женской: она формирует, дает жизнь и поддерживает то, благодаря чему жива Вселенная и все существа в ней. Когда змея спит в нижнем центре, остальные шесть чакр остаются бездеятельными. Цель кундалини-йоги — пробудить змею, заставить ее поднять голову и взойти по мистическому позвоночному каналу (известному как *сутумна* — «богатый удовольствиями»), во время этого захватывающего подъема поочередно проникая в другие лотосы. Йог, сидящий со скрещенными ногами и прямой спиной, удерживает в сознании определенные мысли и произносит мистические слоги. На первом этапе он занят регулированием ритма дыхания — глубокие вдохи, выдохи и задержки между ними должны иметь определенную продолжительность; дышать следует то через правую ноздрю, то через левую, и так далее, благодаря чему воздух проникает во все тело, наполняет его праной — «духом, дыханием» жизни, и наконец, свернувшаяся кольцами змея пробуждается.

Говорят, что, когда змея спит в первом лотосе, характерной чертой человека является духовное безразличие. Его мир — невеселое бодрствующее сознание, но человек жадно цепляется за это бездушное существование и не желает его отпускать. В связи с этим

я всегда вспоминаю легенды о привычке драконов копить в своих пещерах сокровища и бдительно их охранять. Чаще всего сокровищами являются красивые девушки и золото. Пользы от них дракону, разумеется, никакой, но он все равно оберегает их. Таких людей в жизни называют скупердяями — и, бог свидетель, их достаточно много. Первый лотос носит название *муладхара*, «корневое основание», у него четыре темно-красных лепестка, его стихией является земля, а расположен он между гениталиями и анусом.

Второй центр находится на уровне половых органов. Соответственно, каждый, чья энергия поднялась до этого уровня, представляет собой идеал фрейдистской психологии: для такого человека все так или иначе связано с сексом — как и для самого Фрейда, уверенного в том, что в жизни нет никакого другого смысла. У нас и сейчас имеется крупная школа подобных мыслителей (которые величают себя философами). Они интерпретируют весь ход истории человека, все его мысли и искусство исключительно с точки зрения половой жизни — подавленной, несостоявшейся, возвышенной или благополучной. Название этого центра — *свадхиштхана*, «ее любимое пристанище». Это лотос с шестью алыми лепестками, и связан он со стихией воды.

Третий лотос расположен на уровне пупка. Его название, *манипура*, означает «город сверкающих драгоценных камней». У лотоса десять лепестков цвета грозовых туч, а соответствует ему стихия огня. Когда сила змеи задерживается в этом центре, человека охватывает желание потреблять, завоевывать, превращать все в свое подобие и навязывать другим свои взгляды. Его психология, которой управляет ненасытная жажда власти, относится к адлеровскому типу. Таким образом, можно сказать, что Фрейд, Адлер и их последователи интерпретировали феноменологию духа исключительно в понятиях второй и третьей чакры — и одного этого достаточно, чтобы понять, почему им не удалось заметить более интересные мифологические символы и устремления человека.

Дело в том, что подлинно человеческие — в противоположность сублимированным животным — цели и побуждения активизируются и становятся заметными только на уровне четвертой чакры. *По индийским представлениям, религиозные символы* (не относящиеся к первым трем чакрам), художественные образы и философские проблемы воспринимаются по-настоящему именно начиная с этого центра, расположенного на уровне сердца. Его стихией является воздух; у него двенадцать лепестков оранжево-малиновой окраски (как у цветка бандхука — Pentapoetes Phoenicea). Его называют *анахата* — «без удара», что означает «звучание, которое не вызвано столкновением двух вещей». Все звуки, что мы слышим в мире пространства и времени, вызваны соприкосновением пары предметов: например, моя речь вызвана ударами потока воздуха по голосовым связкам. Аналогично и любой услышанный звук возникает при столкновении двух видимых или незримых предметов друг с другом. Но какой же звук может рождаться иным путем?

Ответ такой: звук, производимый не двумя сталкивающимися вещами, — это звучание изначальной энергии, чьим выражением является сама Вселенная. Этот звук предшествует появлению всего сущего. Может быть, он чем-то напоминает гудение проводов линии электропередачи или неслышное жужжание протонов и нейтронов в атоме; иными словами, это внутреннее звучание вибрирующей первичной энергии, видимыми проявлениями которой являемся мы и всё вокруг. Говорят, что звук этот больше всего напоминает «ОМ».

Полагают, что этот священный индийский слог молитвы и медитации состоит из четырех символических элементов. Поскольку в санскрите звук «о» считается слиянием звуков «а» и «у», священный слог можно записывать и слышать как «АУМ», и в этой форме видны три из четырех частей. Четвертой составляющей является окружающая сам слог Тишина, в которой он зарождается и растворяется, источник его существования.

Когда произносишь этот слог, легко заметить, что начальное «а» в «АУМ» возникает в глубине рта. При переходе к «у» звучащий воздух заполняет полость, а «м» рождается уже на губах. Говорят, что при правильном произношении священный слог содержит все гласные звуки речи. Поскольку согласные представляют собой не что иное, как прерывание гласных, слог «АУМ» содержит в себе — опять же при правильном произношении — семена всех слов, а значит, и названия всех вещей и отношений между ними.

В одной из чрезвычайно интересных и важных упанишад, «Мандукъя», четыре символические части священного слога — звуки «а», «у», «м» и тишина — аллегорически толкуются как указания на четыре уровня, ступени или вида сознания. Звук «а», исходящий из глубины рта, символизирует бодрствующее сознание; на этом уровне субъект и объект познания независимы друг от друга. Предметы бытия состоят из грубой материи; они не обладают собственным свечением и медленно изменяют свою форму. Тут господствует Аристотелева логика: А, равнозначное отрицанию не-А. Природой мысли на этом уровне являются механистические науки, позитивистские рассуждения, а цели жизни определяются свойствами первой, второй и третьей чакры.

Затем звук «у», раздающийся, когда воздушная масса заполняет всю голову, упанишады связывают со сновидениями, где субъект и объект, спящий и сам сон лишь кажутся отдельными, но на самом деле неразрывно связаны, ведь сновидения порождены волей спящего. Кроме того, они сотканы из тонкой, светящейся и быстро меняющейся материи и имеют божественную природу — это закономерно, так как все боги и демоны, небеса и ад являются, по существу, космическими эквивалентами персонажей снов. Более того, поскольку на этом тонком плане существования наблюдающий и наблюдаемое — одно и то же, то все боги и демоны — это мы сами, а рай и ад кроются внутри нас. Если ищете модель для изображения божества, загляните в глубины

собственной души. Таким образом восточное искусство выражает восприятие именно этого уровня сознания.

Третий звук «м», издаваемый сомкнутыми губами, подобен в «Мандукъя-упанишаде» глубокому сну без сновидений. Нет уже ни объекта наблюдения, ни наблюдающего субъекта, есть лишь несознаваемое — точнее, скрытое, потенциальное, единообразное и окутанное тьмой сознание. Мифологически это состояние тождественно бытию Вселенной в промежутке между циклами, когда все погружается в космическую ночь, чрево космической матери — «хаос» на греческом языке. Говоря языком Книги Бытия, «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною». Нет сознания какого-либо объекта ни наяву, ни во сне — только неизменное сознание в его нетронутом, девственном виде: затерянное во тьме.

Конечной целью йоги, следовательно, может быть только проникновение в эту область в пробужденном состоянии. Иными словами, йог должен «соединить» (вспомним санскритский корень «юдж», от которого возникло само слово «йога») бодрствующее сознание с его источником, сознанием как таковым, которое не сосредоточено на каком-либо объекте и не ограничено никаким субъектом из мира реального или сновидений, — сознанием чистым, неопределенным и не ограниченным ничем.

Поскольку все слова языка относятся к неким объектам или к связанным с ними идеям и мыслям, восприятие этого, четвертого состояния невозможно описать словами. Даже такие понятия, как «тишина» или «пустота», постигаются только при сопоставлении со звучанием и наличием, то есть как отсутствие звуков или вещей. Однако в данном случае речь идет об изначальной Тишине, предшествовавшей зарождению первого звучания и потенциально вмещающей звук, и о предвечной Пустоте, которая была раньше всех вещей и содержала в себе все пространство, время и космические галактики. Нет слов, способных выразить

то, о чем говорит Безмолвие, окутывающее нас извне и царящее внутри, — Тишина, которая вовсе не тишина и которая слышна сквозь все явления, будь то наяву, в сновидении или в глубоком сне. Именно эта Тишина окружает, поддерживает и покрывает слог «АУМ».

Прислушайтесь к городскому шуму, голосу соседа или крикам диких гусей в небе. Вслушайтесь в любой звук или тишину, но не пытайтесь интерпретировать их, и тогда анахата почувствует Пустоту, откуда явилось все сущее, саму опору бытия — Тишину и Слог. И когда «услышишь» этот беззвучный голос как звучание и бытие собственного сердца и всей своей жизни, воцарится мир и покой: ничего не нужно больше искать, потому что все — здесь, и там, и повсюду. Высшая функция восточного искусства — подтвердить, что это действительно так. Западный поэт Герхарт Гауптман сказал, что цель настоящей поэзии в том, «чтобы заставить Слово зазвучать вне слов». Мистик Майстер Экхарт выражал ту же самую мысль в теологических понятиях, говоря своим прихожанам: «Любая букашка в Господе благороднее высочайшего ангела. В Господе все становится одним — самим Богом». Так вкратце можно описать переживания на уровне анахаты, четвертой чакры, где вещи уже не скрывают истину и произошло чудо, увиденное Блейком, написавшим: «Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, как оно есть, — бесконечным».

Но что же тогда с пятой чакрой?

Пятая чакра расположена на уровне гортани и носит название *вишуддха* — «очищение». У этого лотоса шестнадцать пепельно-лиловых лепестков, а стихия его — эфир, пространство. Йог, достигнув этого центра, оставляет позади искусство, религию, философию и само мышление. Подобно тому как в христианском чистилище душа избавляется от последних привязанностей к земному и готовится переживать созерцание Бога, в этом

индийском средоточии очищения устраняются все мирские помехи, отделяющие человека от звучания «АУМ», — либо, если пользоваться зрительными сравнениями, от видения Божественности. Идеалы и учения этого этапа связаны скорее с кельей или монастырем, а не с искусством и светской жизнью, — эстетику заменяет аскетизм.

Когда же достигается, наконец, шестой центр, мистический внутренний глаз и ухо раскрываются до конца, и человек во всей полноте воспринимает зрелище и звучание Бога, формой которого является Облик всех обликов, чье сияние звучит как музыка. Название шестого лотоса — *аджня* — означает «власть, господство». У него два ослепительно белых лепестка; его стихия — разум, а находится он, как известно, чуть выше бровей, посреди лба. Человек попадает на небеса, и душа его созерцает самый совершенный объект — Бога.

Остается тем не менее еще один, последний барьер: как объяснил однажды своим ученикам великий индийский святой и учитель Рамакришна, когда опытный йог созерцает своего Возлюбленного, между ним и тем, в ком йог хотел бы познать последнее исчезновение, все еще есть невидимая стеклянная стена. Поскольку окончательной целью является не блаженство, обретаемое на шестом уровне, а абсолютное, недвойственное состояние вне всяких категорий, видений, чувств, мыслей и ощущений, его и приносит седьмой, и последний, лотос на темени — *сахасрара*, что означает «тысячелепестковый».

Уберем же стеклянную стену. Душа и ее Бог, внутренний взор и созерцаемое исчезают вместе с ней. Теперь нет ни объекта, ни субъекта, ничего, что познается и чему можно дать имя, — только Тишина, четвертый, и последний, основной элемент прозвучавшего, но более не слышного слога «АУМ».

Разумеется, исчезает и искусство — даже индийское. Его произведения, я бы сказал, призваны передавать переживания сродни

четвертому, пятому и шестому центрам-лотосам: на четвертом уровне объекты и живые существа предстают как они есть (по словам Экхарта, «в Боге»), на пятом уровне проявляются пугающие, разрушительные грани космических сил в роли губителей Эго, и предстают они под личинами яростных, чудовищных, ужасающих демонов; на шестом уровне открывается их благодатный, поразительный, мирный, героический облик. В этих действительно возвышенных, пророческих шедеврах извечно просматриваются либо существа под маской вечности, либо мифические олицетворения тех аспектов вечности, что доступны человеку.

Таким образом, в восточном искусстве очень мало эмпирической, повседневной действительности — мира в нашем обычном восприятии. Главный объект этого искусства — божественное и мифологическое. Когда приближаешься к индийскому храму любого периода и стиля, возникает поразительное ощущение: сооружение кажется не то выросшим из-под земли, не то спустившимся с высоты. Храм являет собой то ли часть подземного пейзажа, который вырвался на поверхность вследствие извержения, то ли мягко приземлившуюся колесницу или волшебный дворец какого-то небесного божества, — полная противоположность, к примеру, уютным храмовым садикам Дальнего Востока. Действительно, входя в один из многих дивных пещерных храмов Индии, высеченных в отвесных скалистых стенах руками настоящих мастеров, не просто оставляешь позади мир обычных переживаний, словно войдя в подземелье гномов, но и теряешь обычное чувство реальности, причем новые ощущения кажутся более правдивыми, реальными и, как ни странно, близкими твоей душе, чем давно знакомые откровения залитого солнцем мира. Индийское искусство, можно сказать, стремится подняться выше обычного, зрительного восприятия жизни; оно пытается открыть третий глаз посередине лба, лотос власти, разбудить зрителя и показать ему видение сказочной страны небес или ада, застывших в камне.

Искусство другого Востока — Китая, Кореи и Японии — очень отличается. Буддизм, распространенный в этих странах, зародился в Индии и пришел в Китай в I в. н. э., а в Японию и Корею еще позже — в шестом. Вместе с буддизмом на эти земли перекочевало удивительное индийское искусство, изображающее силы небес и ада за пределами нашего мира. Однако дальневосточное мышление по своей природе приземленнее индийского; его больше волнуют практические, зрительные и временные стороны бытия. Как подчеркивал во многих своих трудах по истории буддизма выдающийся японский философ Д. Т. Судзуки, буйство индийского воображения, ослепительный блеск его поэтических полетов, равнодушие к ходу времени и легкое порхание среди бесконечных сфер и эпох — все это контрастирует со складом ума, присущим, в частности, китайцам, у которых обычным мерилом бесконечности Вселенной является «мир десяти тысяч вещей». Такого числа вполне достаточно для взгляда и мысли, сосредоточенных скорее на времени, чем на вечности: времени в его историческом течении и пространстве в земных масштабах, не выходящих за обозримые горизонты. Следовательно, даже в буддистском искусстве Дальнего Востока заметно смещение интересов с уровня шестой чакры до четвертой — от подобного луне лотоса с двумя лепестками, где контуры вещей уже не заслоняют божественное, до богатейшего сада этой прекрасной земли, где любой предмет, пребывающий на своем месте, может быть признан божественным, поскольку, как я слышал, «даже в едином волоске кроется тысяча золотых львов».

Таким образом, в дальневосточном искусстве можно выделить два определенно разных направления. Одно из них является буддистской иконографией, максимально передающей дух индийского мечтательного вдохновения, пусть и находящегося на уровне четвертой чакры. Другое направление наиболее заметно представлено в непревзойденной традиции китайской и японской пейзажной живописи. Эти работы несут в себе в целом отличный

от европейской живописи дух и представляют исконную дальневосточную философию Дао. Это китайское слово переводится обычно как «Путь», или «Путь Естества». Все появляется на свет из темноты, а затем вновь уходит во мрак. Два начала — свет и тьма — находятся в постоянном взаимодействии и составляют различные комбинации, создавая мир «десяти тысяч вещей».

Свет и тьма в этой философской системе именуются ян и инь — соответственно «солнечный» и «затененный» берега ручья. Сторона ян — солнечная, инь — затемненная. На солнечной стороне светло, тепло и сухо; в тени прохладно и влажно. Темное, холодное и мокрое против яркого, жаркого и сухого — противостояние земли и солнца в действии. Кроме того, они связаны с женским и мужским, пассивным и активным началами. Такое деление не влечет, однако, никаких моральных выводов: один принцип ничуть не «лучше» и не «сильнее» другого. Это два одинаково мощных и основополагающих начала, на которых покоится все мироздание. В своем взаимодействии они пронизывают, порождают и разрушают все сущее.

Обозревая, скажем, пейзаж, состоящий из гор, водопадов и озер, — мы видим только свет и тень, тень и свет, куда ни глянь, всюду лишь черно-белые тона, разнообразные сочетания света и тьмы. Поэтому художник может просто накладывать кистью черное на белое, мрак на свет, чтобы получить такой пейзаж. По существу, это и есть первый принцип обучения живописи: как черным и белым изображать вещи, которые не только по облику, но и по сущности сотканы из света и тьмы, ян и инь. А внешняя форма, светлая и темная, становится проявлением внутреннего содержания. Итак, кисть художника «управляет» оттенками первичных свойств, лежащих в основе природы вещей, а творчество раскрывает и помогает понять сущность этого мира, опирающегося на бесконечное многообразие сочетаний инь и ян. Удовольствие от созерцания этого взаимопроникновения объясняется тем, что мы не хотим разрушать стены мира и вырываться наружу, —

достаточно оставаться здесь, внутри, и играть свою роль в бесконечном и постоянно меняющемся разнообразии вселенской двойственности.

Взгляд китайского или японского художника открыт окружающему миру. Собирается ли он нарисовать бамбук? Погрузись в ритм инь и ян бамбука, изучи бамбук, стань им, гляди на него, почувствуй его, даже попробуй на вкус. В Китае и Японии придерживаются шести канонов, классических принципов живописи. Первый из них — ритм. Рисуя бамбук, нужно привыкнуть к ритму бамбука, глядя на птицу — усвоить ритм ее жизни, ходьбы, равновесия и полета. Для того чтобы нарисовать любой предмет, необходимо сперва познать и ощутить его ритм, без которого искусство не может существовать.

Второй закон — органичная форма. Линия, например, должна быть изящной, непрерывной, живой, то есть органичной, а не просто имитирующей нечто живое. Разумеется, в своей жизненности она должна передавать ритм изображаемого предмета.

Третий закон — верность природе. Взор художника не должен отвлекаться от предмета. Он рисует реальную природу, хотя это, конечно, не значит, что работа должна быть фотографически точной. Художник должен быть верен прежде всего ритму жизни предмета: если он изображает птицу, на картине должна быть именно птица, а если она сидит на бамбуке, то нужно учесть и природу бамбука.

Четвертый закон — цвет, что подразумевает все таинственное богатство света и тени, света и темноты, олицетворяющих сущность подвижности и бездеятельности.

Пятый закон — он, я заметил, поразительно соблюдается в современной японской фотографии, — размещение предмета в пространстве. В Японии существует, например, вид живописи, известный как «краевой» или «угловой»: относительно небол-

шой по величине предмет размещают на краю огромной пустоты (скажем, рыбачья лодка в тумане) так продуманно, что он приносит жизнь и целостность во всю композицию.

Наконец, последний, шестой закон — выбор стиля и всего, что его составляет: нажим, размах, толщина мазков и прочее должны соответствовать ритму изображаемого.

Для того чтобы практически познать объект, художник должен созерцать его; а созерцание — действие ненасильственное. Глазам нельзя сказать: «Пойди и сделай что-нибудь вон с той штукой». Ты смотришь, смотришь долго, а мир живет своей жизнью. У китайцев есть важное понятие — у-вэй, «недеяние», но означает оно не безделье, а отсутствие усилий, когда все идет своим чередом, согласно своей природе. И подобно тому как медитирующему индийскому художнику может явиться бог, так мир раскрывает свою глубинную сущность взору китайца или японца. «Дао рядом, а люди ищут его вдалеке», — сказал китайский философ Мэн-цзы. Идея Вселенной, обретающей внешний облик самопроизвольно, является одной из неотъемлемых особенностей даосского мировоззрения; столь же спонтанна природа самого художника и, следовательно, его кисти, передающей черным по белому Дао вещей.

В китайском языке есть два разных слова для понятия «закон», Джозеф Нидхем объяснил их значения во втором томе своей работы «Наука и цивилизация в Китае». Это слова «ли» и «цзэ». Предполагают, что слово «ли» некогда обозначало естественные зерна и прожилки на кусочках нефрита, а позже так начали называть всякую естественную крупицу жизни; второе слово, «цзэ», указывало, напротив, на рукотворные отметины резца. Впоследствии под цзэ стали понимать общественные, выдуманные человеком законы — в противоположность естественным: законы, созданные разумом, по сравнению с непреложным устройством природы. Цель искусства заключается именно в том, чтобы

постигать и передавать естественное, то есть законы природы и принципы ее деятельности. Но, познавая их, художник не вправе навязывать природе свои намерения. Потому искусство превращается в чуткое согласование представлений художника о природе, его творческого замысла и плана предстоящей работы с фактическим мироустройством; так достигается баланс между трудом и недеянием, который приводит к созданию произведения искусства.

Кроме того, принцип творчества посредством недеяния пронизывает все направления жизни Дальнего Востока, имеющие отношение к активной деятельности. Когда я был последний раз в Японии, в Токио проходил чемпионат по борьбе сумо. Сумо, как известно, это поединок двух толстых и высоких парней. Они и вправду огромные; однажды кто-то даже сказал, что борцы сумо иллюстрируют собой закон «выживают самые толстые». Большую часть схватки два борца неподвижно сидят на корточках, бросая друг на друга оценивающие взгляды. Посидев немного, они отходят в сторону, берут горсточку соли, аккуратно ссыпают ее на пол и снова замирают. Они повторяют эти действия несколько раз, а толпа японцев пребывает в полном восторге и кричит, ожидая единственного момента, — когда эти двое внезапно бросаются друг на друга и один из них — бабах! — уже прижат к циновке. Поединок закончен. Почему же борцы на несколько раундов замирают в неподвижной позе готовности? Оба оценивают друг друга и ищут в собственной неподвижности тот центр, где зарождается любое действие, устанавливают баланс между активностью и пассивностью, своеобразную корреляцию инь и ян — и проигрывает тот, кто не успевает это сделать.

Мне рассказывали, что в былые времена, когда в Японии молодой человек учился обращению с мечом, наставник какое-то время почти не обращал на него внимания: ученик просто убирался в школе, мыл посуду и так далее. Время от времени наставник внезапно появлялся рядом и наносил ученику удар палкой.

Вскоре юноша уже был готов к неожиданностям, но от этого тоже не было никакого толку: когда он ждал удара из-за угла, учитель заходил со спины, а то и вовсе возникал из ниоткуда. В конце концов сбитый с толку ученик начинал понимать, что нет смысла угадывать, с какой стороны ударят; попытки предвидеть, откуда надвигается угроза, только мешают увернуться от внезапного нападения, так как обычно отвлекают внимание в неверном направлении. Единственной защитой, таким образом, остается сосредоточенность, когда внимание не обращено никуда конкретно; настороженность и мгновенная реакция готовят к внезапному нападению.

Есть забавная история о том, как один такой наставник сказал своим ученикам, что поклонится любому из них, кто застанет его врасплох. Шли дни, но учителя невозможно было подловить. Но однажды, вернувшись после прогулки по саду, наставник потребовал принести ему воды, чтобы вымыть ноги. Вода, принесенная десятилетним учеником, оказалась холодной, и наставник велел подогреть ее. Мальчик вернулся с кипятком; учитель без раздумий сунул ноги в таз, вскрикнул — и почтительно склонился перед самым младшим учеником школы.

Отсутствие настороженности и бдительности приводит к тому, что человек не осознает текущий миг жизни, тогда как все искусство действенного недеяния (у-вэй) сводится к постоянному вниманию. Когда ты все время настороже, жизнь, осознанная в каждый свой момент, течет, можно сказать, во всей полноте. Не нужно направлять ее. Она идет своим чередом, существует сама по себе, говорит и действует сама за себя.

По этой причине в восточном мире — Индии, Китае, Японии — идеальное искусство никогда не превращалось в оторванное от жизни занятие, ограниченное студией скульптора, живописца, танцора, композитора или актера. Искусство Древнего Востока — искусство жизни. Говоря словами покойного доктора

А. К. Кумарасвами, который около тридцати лет был куратором Бостонского музея изящных искусств, «в древнем мире художники вовсе не были категорией людей определенного рода; напротив, каждый человек был определенного рода художником». В быту, работе, в любом ремесле главной задачей и высшей целью было совершенство в своей деятельности — и это, пожалуй, полная противоположность (или нет?) идеалам современных профсоюзов, где самое важное — сколько за работу заплатят и как быстро ее удастся закончить. «Работающему взрослому должно быть стыдно, — писал Кумарасвами в одной из статей на эту тему, — если результат его работы недотягивает до уровня шедевра». И действительно, за долгие годы изучения произведений искусства древних народов — Египта и Месопотамии, Греции и Востока — у меня часто возникало впечатление, что создатели этих невероятных шедевров были, должно быть, эльфами или ангелами — в любом случае, совсем не такими, как мы. С другой стороны, мне кажется, что если бы мы сегодня овладели способностью удерживать сосредоточенное внимание между перерывами на кофе, нам тоже удалось бы открыть в себе ангельские таланты, силы и навыки.

Как я уже говорил, если индийское мышление и искусство имеют тенденцию улетать воображением прочь от мира десяти тысяч вещей, то китайские художники следуют Дао, предпочитают оставаться в гармонии с природой и добиваются созвучия с ее чудесами. Старинные тексты утверждают, что древнекитайские даосские мудрецы тоже любили холмы и ручьи. Чаще всего они покидали города и уединялись в пустынной местности, где могли жить в согласии с миром. Однако в Японии это невозможно: там повсюду столько людей, что вы просто не сможете остаться один на один с природой — по крайней мере надолго. Поднимитесь на вершину самой неприступной скалы — а там уже в самом разгаре праздничный пикник. В Японии нет никакого спасения от людей и общества. Хотя идеограммы, обозначающие «свободу» (япон-

ское *дзию*, китайское *цзу-юй*), внешне одинаковы, китайский знак подразумевает освобождение от связей с людьми, а японский — уступчивость обществу, которая выражается добровольной социальной деятельностью. С одной стороны — свобода вне общества и сбор грибов в затянутых туманом горах под бескрайним сводом небес, где никто тебя не найдет; с другой — свобода в окружении мира и социума, где ты родился, вырос и живешь. Даже оставаясь в этой тесноте, можно ощутить «свободу», если достиг полного и добровольного согласия с окружающим миром. В конце концов, та жизнь сердца, которую можно обрести на вершине утеса, продолжается внутри, даже когда ты находишься в густонаселенном городе.

Есть в японском языке чрезвычайно интересное понятие, обозначающее особый оборот вежливой, аристократической речи, — известный как «язык игры», *асёбасэ котоба*. Вместо того чтобы сказать, например: «Я вижу, вы приехали в Токио», можно выразиться иначе: «Я вижу, вы делаете вид, будто приехали в Токио». Основная идея заключается в том, что человек, к которому обращена фраза, настолько контролирует свою жизнь, что для него все является игрой. Он погружается в жизнь, как в игру, где все дается свободно и легко. Доходит до того, что вместо: «Я слышал, ваш отец умер» человеку могут сказать: «Я слышал, ваш отец сделал вид, будто умер». Должен признать, что это действительно благородный и величественный подход к жизни: даже неизбежное воспринимается так, словно «разыгрывается» по желанию человека. Именно это Ницше называл *Amor fati* — любовь к судьбе. То же самое говорил римлянин Сенека: Ducunt volentem fata, nolentem trahunt — «Желающего судьба ведет, нежелающего — тащит».

Должны ли мы покоряться судьбе? В этом кроется смысл мучительного вопроса Гамлета. Основа опыта — неразрывное сплетение боли и удовольствия, горя и радости. Жажда жизни, что произвела нас на свет, означает в то же время и готовность страдать,

иначе мы просто не родились бы. Эта мысль и лежит в основе восточного учения о перевоплощениях: если ты родился в этом мире здесь и сейчас, с предопределенной судьбой, то, значит, именно это и требовалось на самом деле для твоего окончательного просветления. Это осуществление великого чуда. Конечно, это не тот «ты», кем сам себя теперь считаешь, а «Ты», которое было еще до твоего рождения, которое заставляет твое сердце биться, легкие — дышать и вообще поддерживает все сложные внутренние процессы, называемые жизнью. Так не теряй самообладания! Пройди этот путь, играя в свою собственную игру на всем его протяжении!

И конечно, любой, кто играл хоть во что-нибудь, знает, что самым увлекательным — неважно, побеждаешь ты или проигрываешь — является решение сложнейших, наиболее запутанных и даже рискованных задач. Поэтому художникам (как на Востоке, так и на Западе) редко нравится заниматься простыми делами — а настоящему художнику простым кажется то, что для большинства из нас невыполнимо. Человеку творчества нравятся испытания и трудности, так как он видит в жизни не столько работу, сколько игру.

Отношение к искусству как к части жизненной игры, а к самой жизни — как к игровому искусству представляет собой удивительно радостный, оптимистичный подход к неоднозначному благословению бытия — в отличие от подхода, свойственного христианскому Западу, воспитанному на мифе о всеобщей вине. Некогда где-то в саду случилось грехопадение, и с тех пор все мы появляемся на свет с врожденной печатью проклятия. Любое естественное проявление — грех, сопровождаемый сознанием собственной вины. На Востоке же царствует идея врожденной невинности всего естественного, несмотря на то, что человеческий взор и чувства порой видят в нем жестокость. Как говорят в Индии, наш мир — «игра» Бога: игра поразительная, беспечная, но грубая, беспощадная, опасная и очень трудная,

допускающая самые грязные приемы. Часто кажется, лучшие в ней проигрывают, тогда как худшие побеждают. В конце концов, цель не в победе, ведь мы уже прошли по «богатому удовольствиями» пути пробудившейся кундалини и знаем, что победы и поражения — обычные чувства, испытываемые только на уровне нижних чакр. Задача восходящей змеи в том, чтобы разжечь и усилить внутренний свет сознания, а первый шаг к этому дару, как утверждает «Бхагавадгита» и многие другие мудрые тексты, заключается в том, чтобы отбросить всякое беспокойство о плодах действий как в этом мире, так и в грядущем. Как на поле боя Господь Кришна сказал принцу и воину Арджуне: «Направляй усилия на дело, не заботясь о плодах... Кто видит, что отречение и действие одно, — тот обладает знанием».

Жизнь как искусство, искусство как игра, действие ради действия, без размышлений о прибылях и потерях, славе и порицании, — вот ключ, поворот которого превращает саму жизнь в йогу, а творчество — в образ жизни.

Есть одна буддистская история, которая, как мне кажется, окончательно разъяснит смысл этой идеи. Это рассказ о том, как молодой китайский ученый Чжу с другом отправились погулять в горах. Там они случайно наткнулись на руины древнего храма, полуразвалившиеся стены которого служили домом для монаха-отшельника. Заметив гостей, старик привел в порядок одежду, вышел, ковыляя, навстречу и показал юношам окрестности. Среди руин сохранилось несколько скульптур Бессмертных, а на стенах кое-где еще виднелись живые и яркие изображения людей, зверей и цветов. Чжу и его друг были очарованы. Осматривая развалины, они особенно заинтересовались портретом юной красавицы с букетом цветов на фоне какого-то городка, написанным высоко на стене. Распущенные волосы девушки означали, что она не замужем, и Чжу влюбился с первого взгляда. Он в очередной раз воображал прекрасную улыбку ее губ, когда вдруг — это

старый монах решил преподать юноше урок — перенесся прямо в городок на картине, а рядом стояла очаровательная девушка.

Красавица любезно поприветствовала его, привела к себе в дом, и они несколько дней предавались страстной любви. Друзья девушки, обнаружив, что она живет с каким-то юношей, начали смеяться и дразнить ее, говоря: «О, твои волосы все еще распущены?» Они принесли девушке в подарок изящные заколки. Увидев девушку с подобранными волосами, бедный Чжу полюбил ее еще больше, чем раньше. Но однажды утром влюбленные услышали на улице грозные голоса, звон цепей и тяжелый топот: явившиеся в город императорские чиновники искали чужаков. Испуганная девушка велела Чжу спрятаться, и он полез было под кровать, но, услышав оживленную речь совсем рядом, не выдержал и кинулся к окну. Чжу почувствовал, как затрепетали на ветру его рукава, и понял, что выпрыгнул из картины. Он упал прямо к ногам хитрого старого монаха и своего друга, которые стояли там же, где и раньше. Пораженные Чжу и его приятель обернулись к старику, ожидая пояснений.

— Картины рождаются и умирают в тех, кто на них смотрит, — просто сказал отшельник. — Что может объяснить простой монах?

Но, сказав это, он обратил взор на картину. И знаете, что произошло? Волосы девушки были теперь прихвачены заколками.

Глава VII

ДЗЭН (1969)

В Индии два забавных образа используются, чтобы охарактеризовать два основных вида религиозности. Один из них — «котенок», а второй — «обезьяна». Когда котенок мяукает, мать прибегает, хватает его за загривок и переносит в безопасное место. Тот, кто хоть раз побывал в Индии, мог видеть прыгающие по деревьям и пересекающие дороги стаи обезьян и среди них — малышей, сидящих на спинах у матерей и самостоятельно за них держащихся. В контексте религии это означает, что в первом случае человек просто молится: «Боже, Боже, спаси меня», а во втором — ни о чем не просит, не хнычет и делает все сам. В Японии те же формы религиозного отношения именуются *тарики* — «внешняя сила», или «сила извне», и *дзирики* — «собственная сила», «сила изнутри». В японском буддизме два явно противоположных образа религиозной жизни и мысли определяют совершенно разные пути к просветлению.

Первый, более распространенный, представлен сектами дзёдо и син-сю, где верующие молятся недостижимому, совершенно мифическому Будде, именуемому на санскрите *Амитабха*, «Безграничное Сияние» (также *Амитайюс*, «Бесконечная Жизнь»), а в японском — *Амида*. Подобно Христу, приносящему спасение, этот Будда освобождает от перерождений. Дзирики же — путь

внутренней энергии, не предполагающий ни просьб, ни ожидания помощи от божества или Будды; этот путь основан только на самостоятельной работе и собственных достижениях и представлен в Японии главным образом *дзэн*.

В Индии рассказывают притчу о боге Вишну, опоре Вселенной. Однажды Вишну внезапно призвал свой летающий транспорт — Гаруду, солнечную птицу с золотым опереньем. Жена Вишну, богиня Лакшми, спросила, зачем он это сделал, и бог ответил, что один из его почитателей в беде. Однако, едва взлетев, Вишну тут же вернулся и отпустил птицу, а его жена вновь спросила почему. На это бог ответил, что приверженец уже сам о себе позаботился.

Путь дзирики, представленный в буддизме махаяны, в Японии называют дзэн. Он является особой формой религии (если, конечно, можно его так называть), в которой нет идеи высшего божества, а человек не зависит от Бога или богов, ему не нужен даже Будда. Более того, в дзэн нет вообще никаких отсылок к сверхъестественному.

Его можно описать как:

✧ передающий откровение без священных текстов;

✧ не связанный ни со словами, ни с письмом;

✧ обращенный напрямую к душе человека;

✧ всматривающийся в собственную природу человека;

✧ позволяющий достичь просветления через все перечисленное.

Само слово «дзэн» произошло от искажения китайского слова *чань*, которое, в свою очередь, является неправильным произношением санскритского *дхьяна*, что переводится как «созерцание, медитация». Созерцание чего именно?

Перенесемся на мгновение в лекционный зал, где я впервые представлял материал этой главы. Под потолком горят лампы.

Каждая лампочка светит независимо от других, и потому их можно считать самостоятельными предметами. С этой точки зрения они представляют собой множество эмпирических фактов, — Вселенную, воспринимаемую так, в Японии называют *дзи хоккай*, «вселенная вещей».

Но давайте рассмотрим следующие варианты. Каждая лампочка является источником света, и этот свет един, а не многообразен. Можно сказать, что все лампы дают один свет, и поэтому позволительно говорить не только о множестве ламп, но и о едином свете. Кроме того, если какая-то лампочка перегорит, ее просто заменят другой, а свет останется тем же самым. Таким образом, единый свет проявляется при помощи большого количества лампочек.

Аналогично, глядя в зал с кафедры, я вижу перед собой большую аудиторию. Так же, как каждая лампочка является носителем света, любой слушатель является носителем сознания. Но самым главным в лампочке является яркость излучаемого света. А в человеке важно качество сознания. И хотя каждый из нас склонен отождествлять себя с телом, его можно рассматривать как просто вместилище сознания. Таковы два подхода к интерпретации и восприятию одного и того же набора существующих фактов. Один подход никоим образом не хуже другого, это просто различные способы понимания. Первый основан на разнообразии отдельных вещей, а второй рассматривает частные случаи как проявление общего. Первый подход, как уже говорилось, на японском называют дзи хоккай; второй именуют *ри хоккай* — «абсолютная вселенная».

Итак, сознание дзи хоккай не может не отличать один объект от другого и, подобно свету в лампочке, ограничивается хрупким телом из стекла. В сознании ри хоккай подобных границ нет. Потому главной целью всех мистических учений Востока является помочь человеку перейти, так сказать, от отдельной

лампочки к ее свету, то есть чувствовать себя не телом, но сознанием, для которого тело — просто вместилище. В этом, собственно, и заключается весь смысл знаменитого высказывания из «Чхандогья-упанишады»: tat tvam asi — «Ты есть То», «ты и есть единообразная основа всего существующего, любого сознания и блаженства».

Это, однако, не то «ты», каким человек обычно себя видит, и не личность, которой для удобства налогового инспектора присвоены имя, номер и компьютерный код. Это «ты» — вовсе не «То», а условие, делающее нас отдельными лампочками.

Однако нелегко перейти в ощущении собственного бытия сначала от тела к собственному сознанию, а затем и к сознанию всеобщему.

В Индии я познакомился и беседовал с мудрецом по имени Шри Атмананда Гуру из Тривандрума, и он предложил мне подумать над таким вопросом: «Куда деваешься ты в промежутке между двумя мыслями?» В «Кена-упанишаде» сказано: «Туда не проникает ни глаз, ни речь, ни разум... Поистине, это отличается от познанного. И выше непознанного». Возвращаясь из промежутка между двумя мыслями, понимаешь, что все слова — которые, конечно, могут обозначать только идеи и вещи, имена и формы — просто вводят в заблуждение. Как говорится в той же Упанишаде, «мы не знаем, не понимаем, как можно учить Тому».

Я думаю, каждый из нас уже убедился на личном опыте, что невозможно передать словами свои переживания, если собеседник не испытывал ничего подобного. Попытайтесь, например, рассказать человеку, никогда не видевшему снега, что чувствуешь, когда катишься на лыжах по склону горы. Более того, мысли и определения порой сводят на нет даже наши собственные переживания. Например, когда задаешься вопросами: «Любовь ли то, что я чувствую?», «Разрешено ли это?» или «Прилично ли это?». Иногда подобные вопросы задаешь себе поневоле,

но факт остается фактом — стоит им возникнуть, как вся непринужденность моментально улетучивается. Точные определения загоняют жизнь в прошлое, откуда она уже не в силах прорваться в будущее. И очевидно, что любой, кто постоянно втискивает свою жизнь в рамки намерений, значений и поисков смысла, рано или поздно потеряет всякую остроту переживаний.

Первая и главная задача дзэн — разорвать паутину наших представлений, почему некоторые и называет его философией «отсутствия сознания». Многие школы западной психотерапии полагают, что основной потребностью человека, главной целью его поисков является смысл жизни. Некоторым это действительно помогает, но подобная помощь неизменно оказывается только интеллекту. Когда рассудок подходит к самой жизни со всеми своими названиями, категориями, определениями взаимоотношений и выяснениями смыслов, что-то сокровенное неизменно исчезает. Дзэн, напротив, придерживается мнения, что жизнь и ее восприятие предшествуют смыслу. Идея в том, чтобы жизнь шла своим чередом без всяких названий, — это позволит тебе жить «внутри своей кожи», стать тем, кто ты есть, а не кем назван.

Учителя дзэн любят рассказывать притчу о том, как однажды проповедовал Будда: он просто взял в руку лотос, и в этом жесте заключалась вся проповедь. Однако только один из слушателей, монах по имени Кашьяпа, постиг послание (сейчас он считается основоположником дзэн). Будда, заметив это, кивнул ему, а затем выступил со словесной проповедью для остальных, кому все еще был непонятен смысл и кто не мог вырваться из паутины определений, но все-таки искал путь из западни и надеялся, что рано или поздно на него выйдет.

Сам Будда, по легенде, разорвал эту паутину лишь после нескольких лет поисков и аскетизма, когда сел наконец-то под деревом бодхи — деревом просветления, растущим в самом центре

Вселенной, том центре глубочайшего внутреннего безмолвия, которое Томас Элиот в стихотворении «Бернт Нортон» назвал «спокойной точкой вращения мира». Словами поэта:

> Я знаю, что где-то мы были, но где мы были, не знаю,
> И не знаю, как долго: во времени точек нет.

Вскоре у дерева появился бог по имени Желание и Смерть, чья сила заставляет мир вращаться. Он приблизился к Благословенному, чтобы сместить его с точки неподвижности. Приняв истинный облик прекрасного искусителя, бог явил Благословенному трех своих красавиц-дочерей — Тоску, Исполнение и Страдание, — и если бы сидящий под деревом подумал: «Я», то, конечно же, подумал бы также: «Они», и смутился. Однако Будда уже утратил дзи хоккай, чувство обособленности вещей, и продолжал сидеть неподвижно. Первое искушение сорвалось.

Тогда бог Желания превратился в Царя Смерти и двинул на Благословенного всю свою гигантскую и ужасную армию. Но и в этом случае не было ни «Я», ни «Они», и Благословенный сидел неподвижно, так что и второе искушение было тщетно.

Наконец, враг принял форму бога Дхармы, Долга, и поставил под сомнение право Благословенного сидеть неподвижно, когда вокруг вращается весь мир и долг касты принуждает Будду, принца, вернуться во дворец и править людьми. После этого принц лишь изменил положение правой руки: свободно упав с колена, она коснулась кончиками пальцев земли — с тех пор этот жест так и называют: «прикосновение к земле». Тем самым Будда призвал в свидетели саму богиню Земли, Мать-Природу, бывшую прежде общества и высшую, чем оно. Раздавшийся раскат грома подтвердил, что за время бесчисленных жизней и перерождений сидящий здесь полностью отдал себя миру, и теперь под деревом никого нет.

Слон, на котором восседал бог Желания, Смерти и Долга, почтительно склонил перед Благословенным голову, и тотчас войско и сам бог исчезли. Той же ночью сидящий под деревом обрел все знания, о которых только что шла речь: он постиг себя как отсутствие «Я» и отождествился с ри хоккай, превосходящим все наименования и формы, куда (как сказано в той же «Кена упанишаде») «слова не проникают».

И когда Будда прорвался сквозь сеть отдельных вещей, где томятся мысли и чувства, он был так поражен ошеломляюще чистым светом, что просидел без движения на одном месте семь дней, затем поднялся, отошел на семь шагов и еще неделю оставался на месте, созерцая место своего просветления. Следующие семь дней он бродил от одного места к другому, после чего снова целую неделю сидел под вторым деревом, размышляя о бесполезности того, что он пережил, в паутине обычного мира, куда теперь предстояло вернуться.

Еще семь дней он размышлял под третьим деревом, медитируя над сладостью освобождения, потом неделю оставался под четвертым. И в это же время вокруг разразился невероятный шторм. Мировой змей поднялся из своего логова под вселенским деревом, ласково обвился вокруг Благословенного и прикрыл его голову капюшоном, будто зонтом. Ураган стих, и змей ушел. В течение семи дней Будда непринужденно отдыхал под пятым деревом и вдруг понял: «Просветлению нельзя научить».

И это правда, потому что просветление нельзя передать словами.

Едва лишь Будда подумал об этом, как божества высочайших небес — Брахма и Индра со своими ангелами — спустились к нему и, ради человечества, богов и всего живого, просили его быть учителем. Будда согласился и в течение сорока девяти лет проповедовал в этом мире. Но он не учил просветлению, ибо не мог. Буддизм — это лишь Путь к нему. Его называют средством переправы (*яна*) с берегов дзи хоккай (мира обособленных

вещей, многочисленных лампочек, отдельных огоньков) на тот берег, в мир ри хоккай — за грань идей и мыслей, где познание Безмолвия из безмолвия становится возможным благодаря порыву восприятия.

Но как же тогда учил Будда?

Он вернулся в мир врачом, который определяет болезнь и выписывает лекарство. Первым делом он задался вопросом: «Каковы симптомы мировой болезни?» — и ответом было: «Страдания». Так была выражена Первая Благородная Истина:

«Вся жизнь — страдание».

Услышали мы ее? Поняли? «Вся жизнь — страдание!» Здесь очень важно слово «вся», ведь оно не позволяет исказить смысл и сказать, например, что речь идет о «современной» жизни или (как я недавно слышал) «жизни при капитализме». Если бы общественный строй изменился, люди не стали бы счастливыми. Будда учил вовсе не революции. Первая Благородная Истина утверждает, что вся жизнь — сама жизнь — страдание. А действенное лекарство, следовательно, должно приносить облегчение независимо от социальных, экономических, географических обстоятельств.

Второй мыслью Будды была: «Можно ли найти такое лекарство?» — и ответом стало: «Да!» Итак, Вторая Благородная Истина:

«Спасение от страданий есть».

Но это не означает избавления от самой жизни (отречения от мира, самоубийства или чего-нибудь подобного), поскольку такой исход едва ли можно было назвать выздоровлением. Буддизм искажают, когда утверждают, что он ведет к освобождению от жизни. Будда говорил об избавлении не от жизни, а от страданий. Тогда каким образом можно определить то здоровое состояние,

которое Будда не просто засвидетельствовал, но и сам уже испытывал? На это отвечает Третья Благородная Истина:

«Избавлением от страданий является нирвана».

Буквальный перевод санскритского слова *нирвана* — «угасание»; в буддистском смысле оно означает уничтожение эгоизма. Вместе с эгоизмом исчезают и тяга к наслаждениям, и страх перед смертью, и навязанное обществом чувство долга. Освобожденный подчиняется велениям души, а не внешней власти, и эти внутренние побуждения вызваны не чувством долга, но сочувствием ко всем страдающим существам. Просветленный не умирает и не отрекается от мира; сохраняя полноту знаний и опыта из ри хоккай, он вновь перемещается в дзи хоккай, где сам Будда жил и учил до восьмидесяти двух лет. Чему он учил? Он показывал Путь к избавлению от страданий — Восьмеричный путь, как была названа его доктрина: правильные взгляды, правильные стремления, правильная речь, правильное поведение, правильная жизнь, правильные усилия, правильная медитация и правильное блаженство.

Но если вы хотите понять, что именно Будда понимал под словом «правильный» (санскр. *самьяк* — «соответствующий, целый, полный, правильный, надлежащий, истинный»), придется изучить различные пояснения авторитетных толкователей учения Будды, представляющих различные школы, которые далеко не всегда сходятся во мнениях.

Самые первые ученики Гаутамы повторяли его образ жизни буквально во всем: оставляли светский мир, становились отшельниками, как монахи, уходили в лес или монастырь, где вели аскетический образ жизни. Их путем был дзирики, «путь самостоятельности», когда человек, уйдя из мира, посредством огромных духовных усилий уничтожает тягу к земным благам, страх перед смертью и утратами, чувство общественного долга и, прежде всего, какие-либо мысли, связанные с «я» и «мое».

Сам Будда в жизни следовал этим путем отрицания, поэтому монашеская жизнь вплоть до наших дней занимает такое важное место в буддистском мире.

Однако спустя примерно пятьсот лет после рождения и ухода Будды (предполагается, что он жил ок. 563–483 гг. до н. э.) — практически одновременно с зарождением христианской эпохи на Западе — в буддистских центрах Северной Индии распространилась новая интерпретация доктрины. Ее проводниками стали более поздние последователи Учителя, которые тоже достигли просветления и могли самостоятельно определять упущенные тонкости его учения. Для того чтобы обрести дар просветления, вовсе не обязательно оставлять мир и уходить в монахи. Можно вести и обычную жизнь, бескорыстно исполнять мирские обязанности и тем не менее неуклонно приближаться к цели.

Благодаря этому исключительно важному озарению центральное положение в мышлении и символике буддистов занял новый идеал совершенства: не монах с гладко выбритой головой, живущий вдалеке от трудов и шумного общества, а царственная фигура в роскошном одеянии и короне, украшенной драгоценными камнями, держащая в руке лотос, символизирующий весь мир. Эта сущность, посвятившая себя обыденной жизни, известна под именем Бодхисаттва, тот, чье «бытие» (*саттва*) представляет собой «просветление» (однокоренные слова «будда» и «бодхи» обозначают «просветленный»). Самым известным и наиболее почитаемым из этих пробужденных является прекрасный святой Авалокитешвара, о котором рассказывается во множестве легенд. Его имя обычно переводят с санскрита как «Владыка, взирающий на мир [с состраданием]». В индийском искусстве его изображают только в мужском образе, а на Дальнем Востоке — в образе китайской богини милосердия Гуань-Инь (японская Каннон). В действительности эта сущность находится за пределами половых различий, а женский облик, безусловно, является более красноречивым и лучше выражающим милосердие, чем мужской.

В легенде о Бодхисаттве говорится, что, когда он вплотную приблизился к полному освобождению от того вихря перерождений, которым является наш мир, он услышал жалобные стоны камней, деревьев и всего сущего. Он спросил о смысле этих звуков, и ему ответили, что само его присутствие в мире сообщает всему чувство постоянного нирванического блаженства, которое будет потеряно, если Бодхисаттва оставит этот мир. Тогда, исполнившись самоотверженного безграничного сострадания, он отказался от окончательной свободы, к которой стремился на протяжении бесчисленных перевоплощений, и решил навечно остаться в этом мире в качестве учителя, чтобы помогать спасаться всем существам. Он представал в образе купца перед купцами, как король среди королей и даже среди насекомых становился насекомым. Он воплощается в каждом из нас, когда мы беседуем друг с другом, даем кому-то советы и проявляем милосердие.

Существует очаровательная китайская легенда о бесконечной спасительной силе этого поистине удивительного Бодхисаттвы. В деревне у верховий Желтой реки жили простые люди, не имевшие никакого представления о религии; их интересовали только стрельба из лука и быстрые скакуны. Но однажды утром на улице деревни появилась удивительно красивая девушка. Она несла корзинку, сплетенную из свежей ивы, полную пойманной в ручье рыбы с золотистой чешуей. Ее товар моментально раскупили, а когда рыба кончилась, девушка исчезла. На следующее утро она появилась вновь, и так продолжалось несколько дней. Конечно же, молодые люди в деревне обратили на нее внимание. Как-то утром они остановили девушку и стали умолять ее выйти замуж за одного из них.

— О благородные господа, — ответила она. — Конечно, я хотела бы выйти замуж, но я одна и не могу выйти замуж за всех вас. Я выберу того из вас, кто выучит наизусть сутру о сострадательной Гуань-Инь.

Молодые люди никогда не слышали про какие-то сутры, но тут же взялись за дело. На следующее утро перед девушкой стояло тридцать претендентов.

— Благородные господа, я одна, — снова заговорила девушка, — а вас все еще много. Кто объяснит мне смысл этой сутры, за того я и выйду замуж.

На следующий день осталось около десяти женихов.

— Тот из вас, кто сможет за три дня понять смысл сутры, станет моим мужем, — пообещала девушка.

И когда она вернулась на третий день, остался всего лишь один молодой человек. Его имя было Меро. Увидев его, красавица улыбнулась.

— Я чувствую, — сказала она, — что вы действительно постигли смысл благословенной сутры о сострадательной Гуань-Инь, и потому с радостью стану вашей женой. Мой дом находится у излучины реки. Приходите вечером и познакомьтесь с моими родителями.

Вечером Меро отправился на поиски и вскоре заметил домик среди прибрежных скал. Немолодые мужчина и женщина у ворот помахали ему рукой и, когда он приблизился, встретили и величали по имени.

— Мы ждали вас так долго, — сказал старик, и женщина провела Меро в комнату дочери. Но в ней было пусто. В открытом окне виднелась полоска речного песка, а на песке — отпечатки ног. Меро пошел по следам и заметил у самой воды пару золотых сандалий. Уже сгущались сумерки, и, оглянувшись назад, юноша не увидел домика среди скал. Там были только заросли камыша, сухо шуршащего на ветру. И внезапно Меро понял: дочь рыбака была не кем иным, как самим Бодхисаттвой. После чего во всей полноте постиг, как велико добросердечие беспредельно сострадательной Гуань-Инь.

Эта притча повествует о «помощи извне», тарики, «пути котенка», который, однако, не является путем дзэн.

Я уже рассказывал легенду о том, как Будда молча поднял вверх лотос, но смысл этого действия постиг только один слушатель. Представим, что сейчас я покажу вам лотос и спрошу, в чем его смысл! Или лучше даже не лотос, потому что он имеет множество аллегорических смыслов. Давайте я покажу какой-нибудь лютик и спрошу, в чем его смысл! Или вообще высохшую палку — и задам вопрос: «Что значит сухая палка?» Примерно так: меня спросят, в чем смысл буддизма и кто есть Будда, а я в ответ просто подниму сухую ветку!

Будду также называют «Так Идущий» — Татхагата. В образе Будды не больше смысла, чем в цветке или дереве, во Вселенной, во мне или в вас. И когда нечто воспринимается именно так — как вещь в себе, сама по себе, без связи с какими-либо идеями и ценностями, без соотнесения с чем-то другим, — чисто эстетический восторг мгновенно погружает созерцателя в его собственное бытие, лишенное всякого смысла, потому что он тоже просто есть — он «так приходящий», носитель сознания, он как искра, вырвавшаяся из огня.

В I в. н. э., когда буддизм пришел из Индии в Китай, империя отнеслась к нему очень благосклонно; было построено много монастырей, и монахи взялись за тяжелейший труд — перевод индийских текстов. Несмотря на огромные трудности перевода с санскрита на китайский, работа отлично продвигалась, хотя и тянулась добрых пятьсот дет — до тех пор, пока примерно в 520 г. н. э. в Китай из Индии не прибыл ужасно хмурый старик, буддистский святой по имени Бодхидхарма. Бодхидхарма немедленно направился прямо во дворец императора. Согласно легенде, монарх спросил неприветливого гостя, какие блага он получит за строительство множества монастырей, покровительство монахам и монахиням и заботу о переводчиках священных текстов.

И Бодхидхарма ответил: «Никаких!»

— Но как же так? — настаивал император.

— Это низшие дела, — объяснил святой. — Просто тени. Единственной наградой станет Мудрость, чистая, прекрасная и таинственная, но ее не заслужить материальными делами.

— Что же тогда представляет собой Благородная Истина в самом высоком смысле? — спросил император.

— У нее нет смысла, — ответил Бодхидхарма. — В ней нет ничего благородного.

Его величество начал раздражаться.

— Кто этот человек, стоящий передо мной? — спросил он.

— Не знаю, — таков был ответ монаха.

И он покинул дворец.

Бодхидхарма ушел в монастырь и обосновался там. Он сел лицом к стене и, как говорят, провел в полной тишине девять лет. Эта притча подчеркивает, что настоящий буддизм — это не набожный труд, перевод текстов и проведение ритуалов.

Однажды к Бодхидхарме пришел конфуцианец по имени Хуэй-ке.

— Учитель! — почтительно обратился он к святому, но тот продолжал пристально смотреть в стену, словно не слыша, а Хуэй-ке остался стоять рядом — так прошло много дней. Уже выпал снег, а Бодхидхарма, в полной тишине, так и не двинулся ни разу. Наконец, чтобы показать серьезность своих намерений, посетитель достал меч, отсек себе левую руку и протянул ее учителю. После этого монах обратил на него внимание.

— Я хочу получить наставления и понять доктрину Будды, — сказал Хуэй-ке.

— Ее не постичь с чужой помощью, — ответил святой.

— Тогда прошу, успокойте мою душу.

— Покажите мне ее, тогда я это сделаю.

— Я ищу ее в течение многих лет, — произнес Хуэй-ке, — но, сколько ни пытался, не в силах увидеть.

— Значит, она уже в покое. Просто не мешай ей, — сказал монах и снова обернулся лицом к стене.

На Хуэй-ке тотчас снизошло озарение, он разом постиг, что пребывает вне повседневных забот и знаний, и стал позже первым китайским учителем чань (дзэна).

Следующим выдающимся наставником в череде китайских великих учителей чань был Хуэй-нэн (638–713) — как говорили, безграмотный дровосек. Его мать была вдовой, и он помогал ей, поставляя дрова заказчикам. Однажды Хуэй-нэн пришел к порогу богатого дома и, дожидаясь, пока откроют, услышал, как внутри кто-то читает вслух махаянский священный текст под названием «Алмазный резец» — «Ваджраччхедика».

— Разбуди свой ум, — услышал он из-за дверей, — не сосредоточивая его ни на чем.

И Хуэй-нэн застыл, охваченный внезапным просветлением. Желая постичь больше, Хуэй-нэн пришел в монастырь Желтой Сливы, настоятелем которого был старый аббат Хун-жэнь, самый видный в то время учитель чань. Он окинул пришедшего безграмотного дровосека беглым взглядом и отправил на кухню. Восемь месяцев спустя Хун-жэнь понял, что настала пора готовить себе преемника. Он объявил, что плащ и миску для подаяния, которые символизировали должность настоятеля, получит тот из монахов, кто сможет одной стихотворной строфой передать всю суть буддистского учения.

В состязании приняло участие более полутысячи монахов, но победу прочили одному — необычайно одаренному молодому человеку по имени Шэнь-су. И действительно, именно его четверостишие выбрали и торжественно написали на стене у входа в трапезную:

Тело — дерево Бодхи,
Разум — зеркало,
Пыль на них часто садится,
Не забывай протирать.

Главная мысль этих строк заключалась в том, что суть пути буддиста — неустанное очищение.

Однако безграмотный мальчишка с кухни узнал о состязании и вечером попросил приятеля прочесть ему написанные на стене стихи. Услышав их, он упросил друга подписать ниже следующее четверостишие:

Тело — не дерево Бодхи,
Ум — не зеркало.
Так как ничего не существует,
То куда пыли садиться?

Утром старого настоятеля разбудила оживленная беседа монахов. Он спустился к столовой, прочел анонимную надпись, сорвал с ноги туфлю и яростно стер нацарапанную строфу, сразу поняв, кто автор. Вечером старик послал на кухню за Хуэй-нэном и вручил ему плащ и миску.

— Возьми, сын мой, — сказал он. — Отныне это знаки твоего положения. А теперь уходи! Прочь с глаз моих, исчезни!

С тех пор доктрина Шэнь-су стала главным положением северокитайской школы чань, основанной на идее постепенного

обучения (цзянь-цзяо) и поощрения образованности, а Хуэй-нэн стал основоположником южной школы внезапного обучения (дунь-цзяо), которое опирается на идею о том, что познание Будды достигается интуитивным и внезапным прозрением. Также в южной школе считается, что монашеская дисциплина не только не обязательна, но может подчас даже стать помехой. Старый настоятель понял, что подобная доктрина может посеять недоверие к монастырям и вообще подорвать устои монашеской жизни. «Всматривайся в себя! Тайна в тебе», — так, говорят, учил Хуэй-нэн. Но каким образом постичь эту тайну, если не через изучение доктрины?

В японских дзэн-монастырях предпочтительной формой обучения считают медитацию, которой умышленно придают абсурдную форму, называемую коан. Коаны черпают, главным образом, из поговорок древних китайских учителей, например: «Каким было твое лицо до рождения твоих родителей?» или «Как звучит хлопок одной ладони?» Подобные загадки рассуждениями не решить. Они и влекут к себе мышление, и ставят его в тупик. В монастырях наставники предлагают кандидатам, желающим просветления, поразмыслить над этими загадками и вернуться с ответом. Снова и снова ученики терпят многократные неудачи, и их вновь и вновь отправляют размышлять, пока не наступает вдруг миг, когда рассудок сдается, и в голове сам собой появляется подходящий ответ. Считается (мне так говорили), что последним коаном является сама Вселенная, и если найти ответ на него, все прочие ответы придут сами собой. «Коан, — заявил Д. Т. Судзуки, — не логическое суждение, а выражение определенного состояния ума». Это внерациональное прозрение, вызванное рядом на первый взгляд абсурдных, но на самом деле тщательно подобранных стимулов, провоцирующих рассудок. И то, что они успешно используются на протяжении уже многих веков, само по себе служит лучшим ответом на любые вопросы об их смысле или ценности, которые мог бы задать каверзный критик.

Позвольте мне рассказать современную западную притчу о буддистской «мудрости того берега» — берега за гранью разума, откуда «слова возвращаются, не долетев». Впервые я услышал о нем приблизительно тридцать лет назад из уст моего старого доброго друга Генриха Циммера. Как уже говорилось, буддизм — переправа (паром) на тот берег. Давайте вообразим, что находимся на этом берегу, например на острове Манхэттен. Он надоел нам, мы сыты им по горло и глядим на запад, а там, за Гудзоном — смотрите-ка! — виден остров Джерси. Мы уже много слышали о Джерси, и нет сомнений, что там все не так, как здесь, на грязных улочках Нью-Йорка! Но моста нет, и пересечь реку можно только на пароме.

И вот мы торчим на пристани, печально глядим на Джерси, мечтаем, медитируем о нем; мы пребываем в невежестве относительно его истинной природы, но именно поэтому желание попасть туда становится все больше и больше. И вдруг мы замечаем лодку, отходящую от Джерси. Паромщик пересекает реку, его лодка идет к берегу и останавливается прямо перед нами.

— Кому на Джерси? — интересуется паромщик.

— Нам! — кричим мы, и он протягивает нам руку.

— Вы уверены, что вам туда? — спрашивает он, когда мы поднимаемся на борт, и предупреждает: — Обратного рейса не будет. Учтите, на Манхэттен вам уже не вернуться. Когда вы покинете эти берега, все навсегда останется здесь, в Нью-Йорке, — друзья, работа, семьи, престиж, ваши имена. Вы все еще совершенно точно уверены?

Мы, возможно, начинаем немного нервничать, но киваем и заверяем, что все решено. Мы уже по горло сыты «городом развлечений».

Именно так, друзья мои, и становятся монахами. Это путь монашеского буддизма, путь первых учеников Будды, а сегод-

ня — буддистов Цейлона, Бирмы и Таиланда. Мы поднимаемся на «небольшой паром» — маленькую лодку, или хинаяну, которая названа так потому, что этим транспортом на тот берег могут переправиться только монахи, готовые отречься от мира. Люди, которые пока не желают сделать этот роковой шаг, должны будут подождать (всего-то) новых воплощений и побольше узнать о тщеславной суете роскоши. Наша лодочка мала, скамейки на ней жесткие, а на борту написано название: «Тхеравада» — «наука древних святых».

Мы расселись, паромщик вручает нам весла, и судно отчаливает от пристани. Эй, на шлюпке! Мы в пути, но плывем дольше, чем предполагали. На самом деле путешествие может растянуться на несколько жизней. Тем не менее мы очень рады, наслаждаемся дорогой, и нас уже переполняет чувство собственного превосходства.

Мы — святые, пилигримы, мы где-то на перепутье: не здесь и не там. Конечно, о райском уголке нам по-прежнему известно не больше, чем тем дурачкам (теперь мы называем их только так), что остались в крысином лабиринте Нью-Йорка, но мы твердо знаем, что движемся в правильном направлении, а жизнь наша уже совершенно отличается от жизни дома. Вспоминая о ступенях восхождения кундалини, мы поднялись к пятой чакре — вишуддхе, «очищению» — центру аскетической дисциплины.

Поначалу новая жизнь выглядит очень интересной и затягивающей, но потом, как ни странно, постепенно она начинает разочаровывать. Кажется, что все безнадежно. Ведь цель новой жизни состоит в том, чтобы полностью избавиться от Эго, но чем больше мы мечтаем об этом, тем больше становится наше Эго, ведь мы не думаем уже ни о чем, кроме себя: «Справляюсь ли я? Добился я успехов за сегодня? За последний час? На этой неделе? А за месяц? В этом году? За все десятилетие?» Некоторые

так привыкают к подобному самонаблюдению, что последнее, о чем они думают, это место назначения. Но приходит наконец внезапный момент самозабвения, случается чудо, и наша лодка, влекомая духом древних святых, причаливает к берегам Джерси, Райского Уголка, Нирваны! Мы ступаем на берег. Лодка со всеми ее «можно» и «нельзя» остается за спиной.

Давайте теперь посмотрим вокруг. Мы на берегу ри хоккай, берегу единства, недвойственности, неразделенности. Поворачиваемся в противоположную сторону, к берегам Манхэттена, желая просто взглянуть, как они выглядят отсюда... Это поразительно! Нет никакого «другого» берега. Нет реки, нет лодки, нет паромщика, нет буддизма и нет самого Будды. Прежнее невежественное представление о том, что есть какая-то разница между неволей и свободой, жизнью-страданием и блаженством нирваны было иллюзорным, ошибочным. Этот мир, который мы с вами воспринимаем сейчас, на уровне дзи хоккай, как протяженные во времени страдания, с точки зрения ри хоккай представляет собой восторг нирваны, и для того, чтобы перенестись из одного мира в другой, достаточно изменить лишь наше видение и восприятие.

Но разве не этому двадцать пять веков назад учил Будда, разве не это он обещал? Избавься от эгоизма, от желаний и страхов, и нирвана уже твоя! Мы уже там, просто не понимаем этого. Все широкие просторы земли — наш паром, качающийся у пристани в беспредельном пространстве, и все, кто живет тут, уже на родине. Именно этот факт постигают при «внезапном просветлении». Отсюда и название этого недуалистического направления буддизма, широко распространенного в Тибете и в средневековых Китае, Корее, Японии; махаяна — «большая колесница», «вместительная лодка».

Итак, мы выяснили, что мир многообразия отдельных вещей, дзи хоккай, ничем не отличается от ри хоккай. Нет никакой разницы.

В японской махаяне эту стадию просветления называют *дзи-ри-му-гэ* — «вещи и единство: нет границ».

Пребывая в мире разнообразия, мы одновременно понимаем: «Это Единый». Мы действительно испытываем всеобщность — и не только сплоченность людей, но и этих лампочек под потолком, и лекционного зала, и Манхэттена за этими стенами, и — да, конечно! — острова-сада Джерси. Мы относимся к прошлому, к своим многочисленным разным прошлым жизням точно так же, как к будущему, которое уже прячется где-то здесь, как дуб в желуде. Двигаться дальше с пониманием этого, в полноте такого восприятия — все равно что жить в дивном сне.

Но и это еще не всё, поскольку возможен иной уровень просветления, именуемый в Японии *дзи-дзи-му-гэ* — «вещь и вещь: нет границ». Отдельные вещи не разделены. Уместным сравнением станет сетка из драгоценных камней. Вселенная — это гигантская сеть, в каждом узле которой находится алмаз: в его гранях отражаются все остальные камни, и сам он тоже отражается в других алмазах. Еще одна аналогия: венок, где ни один цветок не является «причиной» другого, но все вместе они становятся венком. Обычно мы мыслим в категориях причин и следствий. Я толкаю эту книгу, и она движется. Она переместилась, потому что я ее толкнул. Причина предшествует следствию. Но что вызывает рост желудя? Дуб, которым желудю только предстоит стать! То, что должно случиться в будущем, становится причиной происходящего сейчас, а причиной настоящего были события прошлого. Более того, со всех сторон, повсюду совершается неисчислимое множество вещей, определяющих то, что происходит сейчас. Таким образом, все является причиной всего остального.

Буддистское учение, раскрывающее эту истину, называют доктриной «взаимного появления». Это подразумевает: что бы ни происходило, нет смысла кого-то или что-то в этом винить,

потому что все взаимосвязано. Эта идея — одна из главных причин того, почему в Японии даже сразу после Второй мировой на лицах людей не было заметно негодования. Враги создают друг друга, они — две стороны одного явления, как начальник и подчиненные, вы и ваши враги или вы и ваши друзья. Все вокруг — часть единого целого, одного венка. «Вещь и вещь: нет границ».

Это, конечно, очень возвышенная мысль. Именно она служит одним из главных источников вдохновения для дальневосточного буддийского искусства. Когда смотришь, например, на японское изображение журавля, это не просто картинка, в которой вы узнаете птицу, — это вся Вселенная, отражение ри хоккай, единое сознание Будды во всем сущем. И так можно воспринимать все, на что ни бросишь взгляд.

Один монах пришел к Цзи-аню из Янь-гуаня и спросил:

— Кто такой Будда Вайрочана?

— Ты не мог бы подать мне вон тот кувшин? — попросил Учитель.

Монах сходил за кувшином, но Цзи-ань велел отнести его на место. Вернувшись, монах снова задал свой вопрос о Вайрочане.

— Он уже давно ушел, — ответил Цзи-ань.

Именно это, по существу, подразумевает махаянское понятие дхарма-чань-дзэн — «созерцание». Такому созерцанию можно предаваться, когда ходишь, трудишься, да и вообще живешь, а не только когда неподвижно сидишь в позе лотоса, пристально глядя в стену, подобно Бодхидхарме. Это способ добровольного участия в обычной жизни, одновременное пребывание и в этом мире, и за его пределами, когда нашим ученичеством может стать что угодно: работа, нацеленная на пропитание, заботы о семье, общение с окружающими, повседневные радости и страдания. Томас Элиот в своей пьесе «Коктейль», где можно

обнаружить целый ряд отрывков из буддистских текстов, перенес эту идею на определенные круги современного общества. В средневековой Японии таким был буддизм самураев, и его влияние до сих пор ощущается в японском искусстве самозащиты — борьбе, фехтовании, стрельбе из лука и прочем. То же относится и к садоводству, икебане, кулинарии, даже упаковке свертков и вручению подарков — во всем этом есть буддизм. Это «путь обезьянки», дзирики, «собственных усилий», которому с большим старанием следуют не только в религиозной жизни, а именно в обыденной жизни. Этим в целом и объясняется невероятная красота японской цивилизации. В ней, конечно, встречаются и бедность, и боль, и жестокость, и несправедливость — все обычные спутники жизни присутствуют в полной мере в этой долине слез. Но есть и спасение от страданий. Освобождение от мук — это нирвана. А нирвана — все тот же мир, но воспринимаемый без желаний и страхов, таким, какой он есть: дзи-дзи-му-гэ. Он прямо здесь!

В завершение я хотел бы рассказать известную индийскую притчу, которую очень любил Рамакришна. Она демонстрирует, насколько трудно удерживать в голове сразу два уровня сознания и видеть мир одновременно многообразным и единым. Одного юношу гуру научил, как осознать себя единым с той силой, которая поддерживает весь мир и которую в теологии принято называть «Богом». Мысль о том, что он един с Господом и Бытием Вселенной, очень взволновала молодого человека, и он пошел прочь, целиком поглощенный новыми переживаниями. Выйдя из деревни, он увидел шагающего навстречу слона с паланкином на спине и погонщиком прямо на его шее. Юный кандидат на святость как раз размышлял над суждением: «Я — Бог. Все вокруг — Бог» и, завидев могучего слона, идущего навстречу, добавил к нему очевидный вывод: «Слон — тоже Бог». Животное, чьи колокольчики звенели в такт величественной походке, неуклонно шел вперед, и погонщик начал кричать: «С дороги! С дороги, идиот!» Но восторженный юноша по-прежнему раз-

мышлял: «Я — Бог, и этот слон — Бог». Когда он услышал крики погонщика, к этим мыслям добавилась еще одна: «Почему Бог должен бояться Бога? Почему один Бог должен уступать дорогу другому Богу?» События разворачивались стремительно: погонщик продолжал кричать, а юноша, погруженный в медитацию, застрял на месте и на своем возвышенном прозрении. Но настал момент истины: подойдя вплотную, слон попросту обвил чокнутого хоботом и отбросил в сторону.

Испуганный и ошеломленный юноша приземлился в кучу мусора, не столько ушибившись, сколько расстроившись. Поднявшись, он не стал даже отряхивать и поправлять одежду и побежал обратно к своему гуру за объяснениями. Он поведал о случившемся и в конце сказал:

— Вы же сказали мне, что я Бог!

— Так и есть, — ответил гуру. — Ты Бог.

— Еще вы сказали, что все вокруг — Бог.

— Это правда, — согласился гуру. — Все на свете — Бог.

— Значит, и тот слон — Бог?

— Да. Слон тоже Бог. Но почему ты не прислушался к голосу Бога, кричащего сверху, чтобы ты ушел с дороги?

Глава VIII

МИФОЛОГИЯ ЛЮБВИ
(1967)

Какая чудесная тема! И как прекрасен мир мифологии, прославляющей эту вселенскую тайну! Греки, помнится, считали Эроса, бога любви, старейшим из богов, но в то же время и самым молодым, так как он заново рождается в каждом любящем сердце и наполняет его романтикой. Более того, двум формам проявления этого божества соответствовали два вида любви — земная и небесная. А в представлении Данте, по классической традиции, любовь заставляет вращаться Вселенную и наполняет весь мир, от небесного престола Троицы до адских бездн.

Один из самых удивительных, по моему мнению, символов любви родился в Персии. Это мистическое толкование образа сатаны как самого верного приверженца Бога. Знаменитая древняя легенда утверждает, что Бог создал ангелов и приказал им не поклоняться никому, кроме Него. Однако, сотворив человека, Он велел им почтительно склониться перед этим благороднейшим творением. Люцифер отказался — как принято считать, из гордости. Однако, согласно мусульманскому прочтению, причина была в том, что он слишком сильно и пылко любил Бога и потому не мог заставить себя поклоняться кому-то еще. Именно за это

он был брошен в преисподнюю и обречен на вечную разлуку с Возлюбленным.

Самая страшная из адских мук — не огонь или зловоние, а окончательное лишение возможности созерцать Бога. Какие бесконечные страдания должен испытывать изгнанный влюбленный, который даже по воле Бога не в силах был преклоняться перед любым другим существом!

Персидские поэты спрашивали: «В чем источник неисчерпаемой силы сатаны?» и отвечали: «В его памяти о голосе Божьем, когда он молвил: «Изыди!» Какой исключительный образ тонких духовных страданий, описывающий одновременно муки и восторги любви!

Другим примером из истории Персии служат жизнь и подвиги великого суфийского мистика Халладжа, подвергшегося пыткам и распятого в 922 году за слова о том, что он и его Возлюбленный — Бог — едины. Халладж сравнивал свою любовь к Богу с тягой мотылька к пламени. Ночная бабочка до рассвета кружит у горящей лампы, возвращается к сородичам с обожженными крыльями и рассказывает о прекрасной вещи, которую увидела, а следующей ночью желание воссоединиться с пламенем заставляет ее безрассудно влететь в него и стать единым целым.

Такие метафоры говорят о восторге, который все мы в той или иной мере переживали либо по меньшей мере воображали. Но есть и другой аспект любви, который некоторые, возможно, испытывают, и его образ также описан в персидском тексте. Это древняя зороастрийская легенда о прародителях человеческого рода. Там они изображены как одна тростинка, поднявшаяся из земли, — их единение было настолько тесным, что невозможно было понять, где кто. Со временем они, однако, отделились, а после снова слились и произвели на свет двоих детей. Родители так нежно и безудержно обожали детей, что проглотили их. Одного проглотила мать, второго — отец. Чтобы защитить род челове-

ский, Бог уменьшил родительскую любовь на 99 %, и после этого прародители произвели на свет еще семь пар детей, каждая из которых — слава Богу! — выжила.

Древнегреческое представление о Любви как старейшем из божеств перекликается с рассказанным ранее индийским мифом из «Брихадараньяка упанишады»: Первое Существо было безымянной и бесформенной силой, которая сначала никак не давала о себе знать, но затем подумала: «Я», и тут же испугалась того, что возникшее в мыслях «Я» могут уничтожить. Затем «Я» рассудило: «Ведь нет ничего, кроме меня, чего мне бояться?» и, разросшись, разделилось, став двумя, мужчиной и женщиной; от них впоследствии родились все живые существа на земле. И когда творение завершилось, мужчина поглядел вокруг, увидел порожденный мир, и узнал, и произнес: «Все это — Я!»

Главный смысл этой истории в том, что предшествовавшее сознанию Первое Существо, — которое подумало: «Я», почувствовало страх, а потом желание, — является источником мотиваций, направляющих наши подсознательные намерения. Второй урок мифа заключается в том, что любовный союз делает нас соучастниками творческой деятельности того, кто основа всего существующего. Согласно индийским представлениям, наша обособленность друг от друга здесь, на земле, в сфере пространства и времени, то есть наше многообразие является лишь вторичным, иллюзорным аспектом правды, которая состоит в том, что мы — единое бытие одной основы. Она познается и ощущается в восторге любви, когда мы выходим за пределы себя.

Великий немецкий философ Шопенгауэр в своем великолепном эссе «Основы морали» рассматривает этот необыкновенный духовный опыт. Как же получается, что человек может позабыть о себе, о своем благополучии и рисковать жизнью ради того, чтобы спасти от смерти и мук другого, как будто бы чужая жизнь — его собственная? Шопенгауэр дает следующий ответ на

этот вопрос: подобное поведение вытекает из инстинктивного понимания, что ты и другой человек — по сути одно. Личность на миг расстается с вторичным и бедным ощущением собственной обособленности от других и внезапно ощущает великую истинную правду: все мы — единое существо во Вселенной. Шопенгауэр дал этому побуждению название «Сопереживание», *Mitleid*, и считает его единственным и неотъемлемым источником морали. Основано оно, по мнению философа, на метафизически достоверном понимании того, что, на мгновение став самоотверженным, человек становится безграничным. В последнее время мне представился случай несколько раз вспомнить слова Шопенгауэра и подумать над ними: по телевизору показывали героическое спасение на вертолете раненых солдат с вражеской территории во время войны во Вьетнаме. Позабыв о собственной безопасности, рискуя жизнью, молодые ребята спасали других людей, будто самих себя. Если искать примеры в нынешней жизни, то, мне кажется, именно это — лучший пример подлинного подвига Любви.

Среди религиозных знаний Индии встречается формулировка пяти ступеней любви, по которым восходит верующий в своем служении и сознании бога, что означает, по индийским представлениям, осознание собственного тождества с Существом, что сначала произнесло: «Я», а после узнало: «Я есть весь этот мир!»

Первая ступень — это любовь слуги к хозяину: «Бог, ты мой Господин, я — твой слуга. Прикажи, и я обязуюсь повиноваться!» Согласно индийскому учению, такое отношение с Духом подходит большинству из тех, кто поклоняется божествам, где бы они ни жили.

Вторая ступень — любовь дружеская, которую в христианской традиции символизируют отношения Иисуса с апостолами: они были друзьями, могли разговаривать на равных и даже спорить. Такая любовь подразумевает более глубокую готовность к вза-

имопониманию, чем первая. В индийских священных текстах эта идея воплощена в «Бхагавадгите», в великой беседе принца пандавов Арджуны и его возничего, бога Кришны.

Следующая, третья ступень — родительская любовь, представленная в христианстве образом рождественской колыбели. На этом уровне человек вынашивает в своем сердце божественное дитя — собственное духовное пробуждение к вечной жизни. Такую любовь имел в виду мистик Майстер Экхарт, когда говорил своей пастве: «Господу приятнее рождаться духовно в отдельной девственной, благой душе, нежели даже родиться телесно от Пресвятой Марии. Высшая цель Господа — рождение, и Он недоволен, пока не родится в нас Его Сын». В индуизме та же ступень выражена распространенным поклонением непослушному малолетнему «воришке» Кришне, родившемуся и воспитанному среди пастухов. В наше время неплохим примером может послужить уже упоминавшийся случай, когда к индийскому святому и мудрецу Рамакришне пришла обеспокоенная женщина и сказала: «О мудрец, я не испытываю любви к богу». — «А вы вообще кого-то любите? — спросил Рамакришна. Женщина ответила, что любит своего племянника. Тогда Рамакришна изрек: «Ваша любовь и забота о нем и будет любовью к богу».

Четвертая ступень — супружеская любовь. Католические монахини носят обручальные кольца как символ духовного брака с Христом. Любой брак по любви является духовным, как сказано в Новом Завете: «И будут двое одна плоть» (Еф. 5:31). Главным сокровищем становится уже не самостоятельное отдельное существование, не собственная личность, а единство двоих и общая жизнь. В Индии жена должна поклоняться мужу как господу, это является мерилом степени ее набожности (при этом, правда, в обязанностях супруга перед женой ничего подобного нет).

Какой же является, по мнению индийцев, пятая, высшая ступень любви? Это любовь страстная и запретная. В браке человек по-

прежнему следует велениям рассудка, наслаждается мирскими благами, мечтает о достатке, высоком положении в обществе и всем прочем. Не стоит забывать, что на Востоке брак является договоренностью между родителями супругов и потому не имеет ничего общего с тем, что называют любовью на Западе. В этих обстоятельствах приступ страстной любви может быть только незаконным; он разрушает должный порядок добродетельной жизни. Цель такой любви полностью совпадает с мечтой мотылька из сравнения Халладжа: сгореть в пламени любви. В легенде о боге Кришне описано предание о страстном взаимном увлечении бога в облике юноши и его смертной любовницы, замужней Радхи. Можно процитировать и другие слова мистика Рамакришны, который всю жизнь был предан богине Кали: «Если так сильно любишь Бога и готов пожертвовать всем, лишь бы увидеть Его лицо, достаточно сказать: “Боже, откройся!” — и Он должен будет непременно ответить».

Там же, в Индии, существует образ Кришны, игравшего по ночам на флейте в лесу Вриндаван. Колдовская мелодия заставляла юных жен тайком выбираться из супружеских постелей и, прокравшись по залитому лунным светом лесу, всю ночь напролет танцевать с прекрасным юным богом и предаваться неземному блаженству.

Основная мысль заключается в том, что внезапный приступ любви возносит человека над временными законами и отношениями, имеющими силу только в выдуманном мире кажущейся обособленности и многообразия. Святой Бернар Клервоский развивал эту мысль в своих проповедях и полагал, что библейский текст «Песни песней» выражает тоску души по Богу, выходящую за рамки людских законов и рассудка. Более того, мучительная разница между двумя противоречивыми опорами нравственных обязательств — разумом с одной стороны и страстью с другой — с самого начала причиняла немало хлопот христианским

богословам. «Плоть желает противного духу, — писал, например, святой Павел, — а дух — противного плоти» (Гал. 5:17).

Современник святого Бернара, Пьер Абеляр, видел высший образец любви Бога к человеку в нисхождении Сына Божьего на землю, где он стал плотью и смиренно принял смерть при распятии. В христианской герменевтике распятие Спасителя всегда вызывало сложности, ведь Иисус, согласно христианской вере, пошел на смерть добровольно. Почему? Одни толкователи времен Абеляра считали, что это была дань сатане, «выкуп» людей из плена нечистого, другие полагали, что Христос расплачивался с Отцом в искупление за грехопадение Адама. Но поступок Иисуса скорее был актом добровольного самопожертвования во имя любви, основанным на стремлении вырвать людей из оков мира и пробудить в них ответную любовь к Богу. По словам Майстера Экхарта, такое проявление любви могло и не причинять Христу мучений: «Для того, кто страдает не во имя любви, страдать есть страдание, и переносить его тяжело. Но кто страдает во имя любви, не страдает вовсе, и муки его в глазах Господа плодотворны».

Сама мысль о нисхождении Бога в мир по велению любви к людям и ради того, чтобы пробудить в человеке ответную любовь, кажется мне полной противоположностью процитированному утверждению святого Павла. На мой взгляд, эта идея означает, что Бог жаждет человеческого преклонения не меньше, чем человек — Божьей благодати. С этой точки зрения образ распятого на кресте истинного Бога и истинного Человека сосредоточивает наше внимание на равноценных условиях взаимной жертвы — брачного договора, а не выкупа в каком-то уголовном смысле. Кроме того, если видеть в распятии не только историческую дату, когда Иисус был казнен на Голгофе, но и трансцендентальную тайну присутствия и участия Бога в терзаниях каждого живого существа, то образ креста можно считать знаком вечного утверждения всего, что было, есть и будет. Вспомним слова Христа, написанные в гностическом Евангелии от Фомы:

«Разруби дерево — я там; подними камень, и найдешь меня под ним». В платоновском «Тимее» сказано, что время — это движущийся образ Вечности. Уильям Блейк писал: «Вечность — это любовь, закаленная временем». Вспомним, наконец, отрывок из сочинений Томаса Манна, где он славит человека как «благородную встречу (*eine hohe Begegnung*) отчаянно стремящихся друг к другу Духа и Природы».

Таким образом, можно с уверенностью сказать: невзирая на то, что некоторые моралисты могут разделять две сферы, два царства — тело и дух, время и вечность, — при первом же появлении любви подобные разграничения моментально испаряются и пробуждается чувство осмысленности жизни, где все противоположности едины.

Самым почитаемым на Востоке олицетворением жизнеутверждающего начала, которое выше противоположностей, является безгранично сострадательный Бодхисаттва Авалокитешвара, известный также в Китае как Гуань-Инь, а в Японии как Каннон. В отличие от Будды, который, завершив земное существование и проповедь, ушел и никогда уже не вернется, Бодхисаттва отказывается от освобождения и навеки остается в вихре перерождений, становясь вечным символом тайны спасения уже при жизни. Это освобождение, как ни парадоксально, требует не побега из урагана новых рождений, а полного и добровольного участия в земной жизни, огромной самоотверженности, когда освобождение от «Я» освобождает от любых желаний и страхов. А если свободен Бодхисаттва, то свободны и мы — в той мере, в какой мы постигли совершенство сострадания.

Говорят, что стекающая с кончиков пальцев Бодхисаттвы амброзия достигает самых глубин ада и утешает души, запертые в пыточных камерах своих страстей. Более того, в общении друг с другом все мы неосознанно становимся проводниками Бодхисаттвы, чья цель заключается вовсе не в том, чтобы изменить —

или, как любят говорить сегодня, «улучшить» — этот временный мир. Конфликты, напряженность, победы и поражения — неотъемлемые черты природы вещей, а Бодхисаттва просто участвует в естественной жизни. Это бесцельная благожелательность. Поскольку *вся* жизнь — страдание, то решением ни в коем случае не может стать преобразование, «продвижение» от одной формы жизни к другой. Единственный выход — уничтожение самого органа страдания, которым, как мы уже знаем, является идея сохранения Эго, плененного собственными представлениями о том, что хорошо и плохо, истинно и ложно, верно и ошибочно. Но именно эта раздвоенность исчезает в метафизическом импульсе сострадания.

Любовь как страсть и любовь как сочувствие — две стороны одной медали. Часто их представляют как полные противоположности, физическое и духовное, но на самом деле личность в обоих случаях вырывается за пределы себя и открыта для того, чтобы обрести новую идентичность, более глубокую и прочную. Необходимо признать, что оба вида любви — работа Эроса, старейшего и самого юного из богов, того, кто, как сказано в древнеиндийском мифе, излившись, стал всем сотворенным.

На Западе наиболее впечатляющим символом любви-страсти является, несомненно, легенда о любовном напитке Тристана и Изольды, превозносящая парадоксальность этой тайны: агония любовного счастья — и восторг от этих мук, которые для благородных сердец становятся самой амброзией жизни. «Я предпринял этот труд, — писал величайший из великих поэтов, воспевавших Тристана и Изольду, Готфрид Страсбургский (это в его варианте легенды черпал вдохновение Вагнер, когда создавал одноименную оперу), — из любви к миру и благородным душам: это мир, к которому устремлено мое сердце, это души тех, кто мне дорог». Но затем он добавил: «Я имею в виду не обычный мир, где живут те, кто, как я слышал, не может терпеть скорбь и желает лишь купаться в блаженстве (да одарит

их Господь вечным счастьем!). Не про такой мир, не про такое существование моя сказка; их жизнь и моя далеки друг от друга. Я вижу в мыслях другой мир, который удерживает вместе в одном сердце и горькую радость, и радостную печаль, душевный восторг и мучительную тоску, милую жизнь и скорбную смерть, отрадную смерть и горестную жизнь. Этот мир — мой, и я буду проклят или благословен вместе с ним».

Разве мы не узнаем в этих словах отголосок метафизического совпадения и преодоления противоположностей, которое уже встречалось нам в образах сатаны в аду, Иисуса на кресте и мотылька среди языков пламени?

Несмотря на это, средневековое европейское отношение к любви, как толковали ее не только Готфрид и воспевшие Тристана поэты, но и трубадуры и миннезингеры XII–XIII веков, имеет оттенок, совершенно отличный от каких-либо дальне-, средне- и ближневосточных представлений. Буддийское «сострадание», каруна, аналогично по смыслу христианскому «милосердию», агапэ, воплощенному в завете Христа возлюбить ближнего своего как самого себя. Еще сильнее это выражается в словах, которые я считаю высшим, благороднейшим и самым смелым призывом христианского учения: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5:44–45).

Во всех великих традиционных представлениях о любви как сострадании, милосердии, агапэ сказано, что добродетель эта проявляется обобщенно и безлично; она презирает различия и даже привязанности. Этой высшей духовной любви противопоставляется обычно похоть, как ее часто называют, «животная страсть»; она в равной мере обобщенна, безлична и неразборчива. Еще точнее ее можно описать как взаимное влечение мужских

и женских половых органов и сослаться на труды Зигмунда Фрейда как главное современное исследование этого вида любви. Однако в средневековой Европе — сначала в поэзии трубадуров Прованса, а затем в поэзии миннезингеров, где акценты несколько сместились, — был найден новый образ любви, совершенно не похожий на те два, что традиционно противопоставлялись. Я считаю эту типичную и исключительно европейскую главу истории любви одним из важнейших преображений не только сферы чувств, но и духовного сознания всего человечества, и потому намерен более подробно остановиться на нем, прежде чем перейти к заключительным абзацам этой главы.

Начнем с того, что в Средние века брак практически всегда был делом семейным, общественным — как, впрочем, всегда происходило, естественно, в Азии и даже в наши дни нередко случается на Западе. Свадьба проводилась только по согласию родителей. В аристократических кругах девушек, часто даже еще не вышедших из детского возраста, выдавали замуж, они были своеобразными «политическими пешками». Тем временем Церковь освящала подобные союзы неуместно загадочными словами о том, что двое теперь будут одной плотью, соединятся любовью и Богом — и что человеку не разлучить то, что Бог соединил. Искренняя любовь в таких условиях могла быть лишь предвестником несчастий. За такое можно было не только сгореть на костре, но и вечно гореть в аду. Любовь, конечно же, зарождалась даже в таких благородных сердцах, какие воспевал Готфрид, и не просто возникала сама собой, а была желанна. Трубадуры воспевали эту страсть, которая, по их мнению, была благословением, превосходящим все церковные таинства, включая само таинство брака, где бы такая любовь ни освящалась — на небесах или в аду. Также подчеркивалось, что слово *Amor*[1] было анаграммой названия *Roma*[2].

---

[1] Любовь (*итал.*).

[2] Рим, вечный город (*итал.*).

Так в чем же заключается особое свойство этого нового вида любви — не агапэ, не эроса, но амор?

Споры трубадуров на эту тему были любимым сюжетом их стихов. Самой удачной из дошедших до нас дефиниций стали строчки одного из наиболее уважаемых поэтов этого жанра, Гираута де Борнеля. Он говорит о том, что любовь (amor) разборчива, индивидуальна и специфична, а рождается от глаз и сердца:

> Через глаза любовь достигает сердца,
> Глаза — разведчики сердца,
> Глаза способны распознать, чем сердцу будет
> сладко обладать,
> И когда все придут к общему согласию
> И все трое примут твердое решение,
> В этот мир родится совершенная любовь,
> Из образа, подаренного сердцу взором.
> Дальше первый шаг ступить Новорожденной
> склонность помогает.

Обратите внимание: такая благородная любовь не безлична! Это не «возлюби ближнего своего, как самого себя», каким бы тот ни был; это не агапэ, не милосердие и сострадание. С другой стороны, это вовсе не выражение столь же неразборчивого полового влечения. Такая любовь, можно сказать, не от небес или ада, а от земли, она зарождается в душе и по предпочтению глаз. Их впечатление передает зрительный образ сердцу, а сердце (как утверждается в других произведениях того времени) «благородное» и «нежное» склонно к любви-amor, а не к простой похоти.

В чем же сущность любви, возникающей таким образом?

В разнообразных примерах восточного эротического мистицизма, как индийского, так и ближневосточного, женщина понимается как благоприятная возможность для ее возлюбленного пережить бездонные глубины просветления — таким же

проводником была для Данте Беатриче. Но среди трубадуров бытовали другие представления. Для них возлюбленная была не проявлением божественного начала, а именно конкретной женщиной. Их любовь была обращена именно к ней, а самым восхваляемым переживанием становились муки земной любви — неизбежные последствия того, что в этом мире полное единение любящих невозможно. Счастье любви — в предчувствии вечности, боль любви — в неумолимом ходе времени, и потому (по словам Готфрида) ее суть — «горькая радость и радостная печаль». Для тех же, кто «не может сносить скорбь и желает лишь купаться в блаженстве», величайший дар жизни, любовное снадобье — напиток слишком крепкий. Готфрид даже определяет любовь как богиню и приводит заблудившихся влюбленных к ее затерянному в пустошах храму, известному как «Грот влюбленных», где вместо алтаря высится великолепное, кристально чистое ложе.

Самым трогательным эпизодом в сочинении Готфрида, как мне кажется, является тот момент, когда на корабле, плывущем в Ирландию (с этого начинается опера Вагнера), юная пара случайно выпивает любовное снадобье и постепенно сознает, что в их сердцах уже постепенно зреет любовь. Верная служанка Бранжена, которая по ошибке оставила роковую бутыль без присмотра, обращается к молодым людям со зловещим предупреждением: «Этот сосуд и содержимое его обоим принесет лишь гибель!», на что Тристан отвечает: «Да исполнится воля Божья, будь то жизнь или смерть. Напиток отравил меня сладостью. Не знаю, чем станет предсказанное тобой, но такая смерть меня устроит. И если гибелью моей станет прекрасная Изольда, я с радостью пойду и на вечную смерть».

Бранжена имела в виду смерть обычную, Тристан же понял «такую смерть» как восторг любви, а «вечную смерть» — как адское проклятие, которое для средневекового католика было вовсе не образным оборотом речи.

Вспоминается исламский образ влюбленного в Бога сатаны, низвергнутого в преисподнюю. Кроме того, слова Тристана возрождают в памяти сцену из дантовского «Ада» («Божественная комедия»), где рассказывается о круге прелюбодеев в аду; он описывает, как раскаленный вихрь пронес мимо крики душ самых знаменитых влюбленных в истории — Семирамиды, Елены Прекрасной, Клеопатры, Париса и, конечно же, Тристана! Далее Данте повествует, как заговорил с Франческой да Римини, которую сжимал в объятиях Паоло, брат ее мужа. Поэт спросил, что привело в кошмарную вечность этих двоих, и Франческа поведала, как они с Паоло вместе читали про Ланселота и Гвиневру, и в какой-то момент взглянули друга на друга, и, дрожа, поцеловались — и книга осталась в тот день недочитанной... Оценивая этот отрывок в свете тристановской готовности к «вечной смерти», я поневоле задумался, так ли уж прав был Данте, когда счел, что пребывание в аду причиняло тем душам нестерпимые мучения. Он видел все с точки зрения постороннего, а его собственная любовь неудержимо звала поэта вперед и выше, к самой вершине небес. С другой стороны, Паоло и Франческа познали страсть более жаркую, иного рода, и разгадкой к пониманию этого ужасного счастья могут стать для нас слова другого духовидца, Уильяма Блейка из «Бракосочетания Неба и Ада»: «Прогуливаясь меж языков Адского пламени и вкушая наслаждения Гения, кои Ангелы почитают за смертную муку и безумье...»[1] В этом смысл ада: оказавшись там, попадаешь на свое место — в точности куда хотел.

Ту же мысль выразил Жан-Поль Сартр в пьесе «За закрытыми дверями», где события разворачиваются в однокомнатном номере гостиницы в аду, меблированной в строгом стиле Второй империи, с изображением Эроса на каминной доске. Автор по очереди представляет трех застрявших навечно постояльцев.

---

[1] Пер. с англ. С. Степанова (по изданию: Блейк У. Песни Невинности и Опыта. СПб., 1993).

Первый, репортер-пацифист средних лет, буквально минуту назад был расстрелян как дезертир, и теперь, движимый тщеславием, мечтает, чтобы его попытку удрать в Мексику и заняться там публикацией пацифистского журнала назвали героической, а его самого — смельчаком. Второй появляется лесбиянка, расставшаяся с жизнью после того, как соблазненная ею девушка тайком открыла газ в квартире и они обе задохнулись во сне. Мгновенно почувствовав презрение к малодушному мужчине, ставшему навеки ее соседом, холодная интеллектуалка не высказала ожидаемого им утешения. Не сделала этого и третья, последняя постоялица — юная нимфоманка, которая утопила свое незаконнорожденное дитя и довела возлюбленного до самоубийства.

Она, разумеется, тут же начинает липнуть к мужчине, но тот нуждается не в страсти, а в сочувствии. Лесбиянка пресекает любые попытки соседей достичь взаимопонимания, а сама тем временем флиртует с девушкой, но та не проявляет к этим ухаживаниям никакого интереса и вообще не понимает, чего от нее хотят. Затем эти трое — а персонажи подобраны весьма колоритные — устают и впадают в отчаяние от бесконечных приставаний друг к другу, их мечтой становится лишь убежать без оглядки. И тут запертая дверь номера распахивается настежь, за ней открывается лазурная пустота, но никто не выходит. Дверь громко захлопывается, и люди добровольно остаются узниками навечно.

Примерно о том же говорит Бернард Шоу в третьем акте «Человека и сверхчеловека». Это прелестная сцена негодования древней старухи, верной дочери Церкви, которую убеждают в том, что место, где она счастливо бродит, на самом деле на рай, а ад. Она возмущена. «Я же говорю вам: я знаю, что не в аду, — настаивает она. — Потому что я не испытываю страданий». Хорошо, если ей хочется, говорят старухе, она без труда может подняться вон на тот холм и попасть в рай. Однако, предупреждают ее, у тех, кто счастлив в аду, пребывание в раю

вызывает обычно мучительные неудобства. Некоторые (чаще всего англичане) все же остаются там, но не потому, что счастливы; просто они считают место на небесах приличествующим своему положению. «Англичанин убежден, — рассказывает собеседник старушке, — что исполняет нравственный долг, когда он всего лишь терпит неудобства».

И вот, при помощи колкого замечания Бернарда Шоу, я вплотную подхожу к последнему размышлению на тему этой главы.

В легенде о Святом Граале нашла свое отражение исцеляющая деятельность, что спасает от сомнений весь мир, мечущийся, как описанный в легенде Тристан, между честью и любовью. В этой символической истории духовное смятение того времени представлено образом «бесплодных земель» — тех самых, которым посвятил одноименную поэму Томас Элиот в 1922 году. Он использовал древний символ для описания собственной неспокойной эпохи. Любой естественный порыв в пору церковного деспотизма получал клеймо безнравственности, а единственным признанным средством «искупления» порока были таинства, которые проводились по-настоящему испорченным духовенством. Людей принуждали притворяться и жить убеждениями, далеко не всегда разделяемыми в глубине души. Навязанная мораль была важнее тяги к истине и любви. Предвестниками адских мук на земле становились издевательства над изменниками, еретиками и прочими злодеями, которых прямо на площадях на глазах у толпы заживо резали на куски или бросали в костер. И все надежды на лучшую участь обращены были ввысь, к владениям небесным, где, как с презрением говорил Готфрид, должны были купаться в блаженстве те, кто не в силах терпеть скорбь и желания.

В «Парцифале», версии легенды о Граале Вольфрама фон Эшенбаха, великого современника и литературного соперника Готфрида, опустошение христианской жизни символизируют ужасные

раны юного хранителя Грааля, короля Амфортаса, чье имя означает «немощь». Ожидалось, что главным подвигом долгожданного рыцаря Грааля станет излечение смертельно больного юноши. Следует отметить, что Амфортас просто получил по наследству, а не заслужил по праву почетный пост хранителя высшего символа духовной жизни. Он, так сказать, не подтвердил должным образом свою роль и, напротив, шел по обычному пути молодости. Как все знатные молодые люди в то время, король однажды умчался от замка Грааля с боевым кличем «Амор!» и моментально столкнулся с рыцарем-язычником из страны неподалеку от огражденного райского сада. Рыцарь отправился на поиски Грааля, а название реликвии было выгравировано на острие его копья. Оба взяли пики и ринулись друг на друга. Язычник пал, но его копье со словом «Грааль» на острие оскопило молодого короля, а отсеченная голова накрепко застряла в разверстой ране.

Такое несчастье, по мысли Вольфрама, было символом разобщенности духа и природы в христианской жизни: отрицание естественного как порочного, навязывание власти так называемого сверхъестественного и неминуемое уничтожение природы и истины. Исцелить искалеченного короля мог, таким образом, только неиспорченный, одаренный от природы юноша, который завоевал бы высшую награду своими собственными жизненными свершениями и подвигами в духе непоколебимой благородной любви, стойкой верности и искреннего сострадания. Таким героем и стал Парцифаль. На этих нескольких страницах нам не удастся подробно изложить весь ход его символической жизни, но вполне достаточно пересказать четыре главных эпизода, чтобы очертить целительную идею поэта.

Овдовевшая мать растила благородного юношу в глухом лесу, вдалеке от придворного общества, но в один прекрасный день, когда в окрестностях их дома оказалось случайно несколько странствующих рыцарей, мальчик оставил мать и сбежал ко дво-

ру короля Артура. Уроки хороших манер и рыцарской доблести давал ему Гурнеманц, пожилой дворянин, восхищенный многочисленными достоинствами юноши и предложивший выдать за него свою дочь. Но Парцифаль решил: «Я должен не просто так получить жену, я должен завоевать ее!», поэтому вежливо отказался и, вновь оставшись в одиночестве, уехал прочь.

Он ослабил поводья, и воля природы (то есть его коня) привела молодого человека к осажденному замку осиротевшей принцессы Кондвирамур (*conduire amour*[1]), его ровесницы. На следующий же день Парцифаль героически спас ее от нападок нелюбимого короля, который надеялся при помощи брака с принцессой увеличить свои феодальные владения. Юная принцесса и стала для рыцаря завоеванной женой; правда, в округе не нашлось священника, который провел бы свадебный обряд. Этой подробностью поэт показывает, что благородная любовь сама собой освящает брак, а крепчайшими брачными узами становится верность любящих.

Вторая история, к которой затем переходит Вольфрам, показывает вершину — но еще не преодоление — человеческой природы, добившейся высшей духовной цели, символом которой в Средние века был Грааль. Сначала Парцифаль занят обычными для того времени делами — рыцарскими подвигами и женитьбой — и вдруг, без всяких предупреждений и сознательных намерений, погружается в непредсказуемый, непредвиденный мир духовных исканий, олицетворяемых замком Грааля и чудесно исцеленным королем. Мистический закон приключений требует, чтобы герой ничего не знал заранее о своих задачах и общих правилах, но совершал все подвиги спонтанно, по зову души. Замок предстает перед Парцифалем как видение: опускается подъемный мост, внутри рыцаря ждет радушный прием. Когда в тронный зал вносят покалеченного короля, гостю необходимо лишь спросить, чем

---

[1] Хранить любовь (*фр.*).

король болен. И в тот же миг рана затянется, бесплодные земли покроются зеленью, а героя-спасителя самого сделают королем. Но Парцифаль, хоть и полон сострадания, вежливо хранит молчание, так как Гурнеманц учил, что рыцари не задают вопросов. Беспокойство за свое общественное положение подавило зов души — такое случалось в те времена со всеми на свете, и именно из-за этого и начинались все проблемы.

Итак, чтобы сделать эту прекрасную историю чуть короче, в итоге не подчинившийся зову души, запутавшийся юный рыцарь — презираемый, униженный, осмеянный, изгнанный с позором из окрестностей замка Грааля — был так пристыжен и ошеломлен случившимся, что в сердцах проклял самого Господа, который допустил, чтобы он так обманулся. Долгие годы Парцифаль посвящает одиноким исканиям, чтобы со временем вновь найти замок Грааля и наконец-то исцелить страдающего короля. Даже несмотря на заверения лесного отшельника, что Богом на замок наложены особые чары: кто намеренно ищет его, никогда не найдет, и кто однажды потерпел неудачу, второго шанса не получит, молодой человек с упорством ищет замок, и решимость его опирается на сочувствие к тяжело больному королю, который ужасно страдает по вине Парцифаля.

Однако источником окончательной победы, как ни странно, становятся верность Парцифаля жене и его бесстрашие в бою, а вовсе не упрямая решимость. Непосредственным преддверием главных событий был пышный свадебный пир — со множеством прекрасных дам вокруг и утонченным флиртом в живописных беседках, — откуда Парцифаль сбегает не из-за нравственного возмущения, а из-за того, что храня образ Кондвирамур (которую он не видел на протяжении множества лет неустанных и тяжелых поисков) в сердце, он просто не в силах предаваться заманчивым удовольствиям пира. Он уезжает один, но тут же видит мчащегося навстречу из соседней рощи великолепного мусульманского рыцаря.

К этому времени Парцифаль уже знает, что у него есть старший единокровный брат, мусульманин, — именно им и оказывается незнакомец. Рыцари сходятся в яростном поединке.

> *Они сражаются... Они?!*
> Нет, истине в глаза взгляни.
> Здесь в испытанье боевое,
> Казалось бы, вступили двое,
> Но двое, бывшие — одним.
> Мы их в одно соединим:
> Две кровных половины,
> Два брата двуедины...»[1]

Сцена битвы в общих чертах повторяет схватку Амфортаса с язычником, но меч Парцифаля ломается о шлем противника. Мусульманин отбрасывает свой меч в сторону, так как не желает покрывать себя позором убийства безоружного противника. Рыцари садятся рядом, затем следует сцена примирения.

В описании этой важной встречи достаточно явно содержится аллегорическое указание на две противостоящие друг другу религии, христианство и ислам — «две кровных половины», «два брата двуедины». И о чудо! — стоит братьям прийти к согласию, как возникший перед ними посланец из замка Грааля приглашает к королю обоих — решение удивительное для европейского автора во времена крестовых походов! Наконец искалеченный король здоров, Парцифаль седлает лошадь, а мусульманин, взяв в жены девушку из замка (лишь ее непорочные руки могут нести символическую чашу), увозит ее на Восток и правит там в любви и правде, строго присматривая за тем, чтобы, как сказано в тексте, «народ его обрел свои права».

Да, чудесного «Парцифаля» Вольфрама фон Эшенбаха действительно стоит прочесть! Эта забавная и радостная книга,

---

[1] Пер. Л. В. Гинзбург, 1974 г.

совершенно не похожая на тяжеловесный опус Вагнера, — одно из величайших, богатейших и гуманистичных творений европейского Средневековья. Кроме того, это живой памятник спасительной силе любви во всех ее проявлениях; возможно, это лучшая история любви всех времен и народов.

В завершение позвольте мне обратиться к сочинениям современного автора, Томаса Манна, который уже в первой новелле «Тонио Крегер» назвал любовь руководящим принципом своего творчества.

Молодой герой этой истории родом из северной части Германии. Его мать была романского происхождения, и он понимает, что далек от своих голубоглазых и белокурых приятелей не только внешне, но и по характеру. Тонио относится к ним с забавной меланхоличной утомленностью интеллектуального сноба, в которой в то же время прослеживается зависть, смешанная с восхищением и любовью. И вправду, в глубине души он навеки предан прежде всего обаятельному голубоглазому Гансу и прекрасной светловолосой Ингеборг, которые непреодолимо привлекают его как живые идеалы свежести, красоты и молодости.

Достигнув совершеннолетия, Тонио, стремящийся стать писателем, уезжает с севера на юг и встречает там русскую девушку Лизавету и ее друзей, высоколобых интеллектуалов. Ему неуютно среди этих людей, осуждающих и презирающих глупость человеческого рода, но и рядом с объектами их критики не лучше. Тонио оказывается среди двух миров и сам себя называет «заблудшим обывателем». Он покидает второе общество и отправляет скептически настроенной Лизавете эпистолярный манифест, где изложено его творческое кредо.

Он уже понял, что точно найденное слово, *le mot juste*, способно ранить и даже убивать, но долг писателя состоит в том, чтобы наблюдать и называть все своими именами, пусть даже раня или убивая, ведь писатель обязан показывать именно изъяны. В мире

не существует совершенства, иначе он был бы предметом восхищения, а не любви; возможно, он просто навевал бы скуку. Совершенство всегда лишено индивидуальности (говорят, все будды совершенны и потому похожи: добившись освобождения от недостатков, они покидают мир и никогда больше не возвращаются; оставшиеся бодхисаттвы взирают на жизнь и дела людей в этом несовершенном мире со слезами сострадания). Обратите внимание на подробность (в ней же кроется важнейшая особенность рассуждений Манна на эту тему): мы любим в других именно несовершенство. Писатель должен подбирать таким недостаткам точные определения и посылать их, будто стрелы, точно в цель, но стрелы эти должны быть тщательно пропитаны бальзамом, бальзамом любви, так как несовершенство и представляет собой индивидуальное, человеческое, естественное, главное в жизни.

«Я восхищаюсь, — пишет Тонио Крегер своей подруге-интеллектуалке, — холодными гордецами, что шествуют по тропам величественной демонической красоты и презрения к человечеству, но не завидую им (и тут герой романа пускает свою стрелу!). Ведь если что-то и может сделать из литератора поэта, то как раз обывательская любовь к человечному, обыденному. Все тепло, вся доброта, весь юмор идут от нее, и временами мне кажется, что это и есть та любовь, о которой написано, что человек может говорить языком человека и ангела, но без любви голос его все равно останется гудящей медью и кимвалом звучащим».

«Эротическая», или «пластическая ирония» — так назвал Томас Манн этот принцип, который оставался важнейшей частью его творчества на протяжении большей части писательской карьеры. Неусыпное око подмечает, разум называет, а сердце готово разорваться от сострадания. Жизнеутверждающая сила любой влюбленной в мир души меряется и проверяется в конечном счете умением с сочувствием относиться ко всему, что глаз увидел, а ум назвал. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, — писал святой Павел к римлянам, — чтобы всех помиловать».

Более того, мы можем быть уверены, что сама жизнь рано или поздно устроит каждому испытание на способность к такой любви, — как произошло со временем с самим Томасом Манном, чьих голубоглазых Гансов и белокурых Ингеборг Гитлер превратил в каких-то испорченных чудовищ...

И что же нам делать во время такой проверки?

Святой Павел сказал: «Любовь долготерпит». До него Иисус говорил: «Не судите, да не судимы будете». Также и Гераклит сказал: «Для богов все достойно, хорошо и правильно, но человек считает одно верным, а другое ошибочным. Добро и зло едины».

В этом таится глубочайшая, ужасная тайна, которую мы, вполне вероятно, никогда не сможем постичь, но для того, чтобы пройти проверку, эту мудрость придется усвоить. Любовь ничуть не слабее жизни. Когда жизнь порождает то, что рассудок называет злом, можно по долгу чести вступить в праведный бой, но если в этой схватке будет забыта идея любви (христианское «Любите врагов ваших!»), утратится также и человечность.

Говоря словами американского писателя Готорна, «человек не вправе отказываться от родства даже с самыми страшными преступниками».

Глава IX

МИФОЛОГИИ ВОЙНЫ И МИРА (1967)

По очевидным причинам примеры мифологий войны приводить намного легче, чем мифологий мира, поскольку конфликты между группами людей всегда были делом обычным. Следует признать и тот жестокий факт, что убийство вообще является непременным условием всего существования: жизнь питается жизнью, живое поедает живое, а иначе просто не сможет существовать. Некоторые не могли принять эту ужасную необходимость, и целый народ, случалось, порождал миф о пути к вечному миру. Однако эти люди не смогли пережить бойню, которую Дарвин назвал всеобщей борьбой за существование. Чаще в ней побеждали те, кто примирился с правилами жизни в этом мире. Скажем просто и откровенно: это были именно те нации, племена и народы, которые были воспитаны на мифологиях войны.

Если заглянуть почти на два миллиона лет в прошлое, в те невероятно далекие времена, куда уводят недавние палеологические исследования и открытия, то выясняется, что уже в первобытной Восточной Африке, где обнаружены самые ранние свидетельства эволюции нашего вида, существовало два принципиально разных

типа человекообразных. Гоминиды первого типа, открытые профессором Лики под названием синантропы, были травоядными. Они давно вымерли. Второй тип, Homo habilis, человек умелый, как назвал его Лики, был плотоядным. Эти убийцы изготовляли оружие и орудия труда, и именно от них, несомненно, произошла современная человеческая раса.

«Человек, — писал Освальд Шпенглер, — животное хищное». Так заложено природой. Есть и другой факт: если сравнить хищников в целом с их травоядными жертвами, то первые не только сильнее, но и, как правило, умнее. Гераклит говорил, что война — творец всего великого, а Шпенглер намного позже отметил: «Кому не хватает смелости быть молотом, тот рано или поздно станет наковальней». Откликаясь на эту неприглядную истину, многие чувствительные натуры считали мироустройство невыносимым, а всех, кто был лучше приспособлен к жизни, с ужасом называли «злобными», «чудовищными» или «свирепыми», предлагая взамен свой идеал человека: он всегда подставляет другую щеку, хотя царство его, разумеется, не от мира сего. Выходит, что в итоге, оглядывая широкую панораму человеческой истории, можно выделить две совершенно противоположные формы мифологии: одна принимает кошмарные условия жизни в бренном мире, а другая — отвергает.

Если обратиться к первобытным мифологиям народов, не имеющих письменности, сразу становится понятно, что все они без исключения относятся к первому, утверждающему типу. Я не знаю ни одного примитивного народа, который бы отвергал и презирал борьбу с другими народами либо воспринимал войну как абсолютное зло. Крупные охотничьи племена истребляют животных все время, и, поскольку запасы мяса ограничены, между членами соперничающих групп, претендующих на одни и те же угодья, неизбежно происходят столкновения. В целом охотничьи народы состоят из людей войны; более того, многие их члены видят в войнах развлечение и превращают их

в упражнения в браваде. Обряды и мифологии таких племен базируются обычно на идее о том, что смерти не существует. Если кровь убитого животного просочится в почву, то его жизненное начало вернется к матери-земле, а потом возродится, и в следующем году то же животное вновь обретет временное тело. По этой причине животные рассматриваются как добровольные жертвы, которые дарят тела людям, прекрасно понимая, что будут проведены все обряды, необходимые для того, чтобы жизненное начало животного возвратилось к своему источнику. Аналогично, после военных сражений проводятся специальные ритуалы, призванные умиротворить и отправить в страну духов призраки погибших воинов.

Подобные церемонии включают подчас и обряды, смягчающие боевой пыл победителей и их увлеченность войной, поскольку любое умерщвление — хоть животных, хоть людей — всегда считалось чреватым многими опасностями. Во-первых, убитый человек или зверь может отомстить; во-вторых, сам воин или охотник может заразиться манией убийства и впасть в неистовство. Потому наряду с обрядами, смягчавшими гнев призраков, порой проводились особые ритуалы для успокоения вернувшихся воинов, чтобы те вновь привыкли к мирной жизни.

Одна из первых книг, которые мне посчастливилось редактировать, была посвящена военным церемониям племени навахо. В нее были включены копии рисунков на песке (или скорее «картин из пыльцы», нарисованных порошком из цветочных лепестков). Это были иллюстрации к легенде о братьях-близнецах, богах войны племени навахо, чей культ возродили в резервациях во время Второй мировой войны, чтобы пробудить боевой дух у молодых индейцев-новобранцев. Легенда называется «Когда двое пришли к отцу». Она рассказывает о путешествии близнецов-героев навахо к дому их отца, Солнца, чтобы получить от него колдовские силы и оружие, которые помогли бы истребить чудовищ, в те времена наполнявших всю землю.

Основополагающей мыслью практически любой мифологии войны является то, что враг — чудовище, и, уничтожая его, ты защищаешь единственный по-настоящему ценный уклад жизни, которому следует, разумеется, только твой собственный народ. В обрядах посвящения навахо юные смельчаки отождествляются с молодыми богами-героями мифологической эпохи, которые в свое время защищали людей, очищая пустоши от ядовитых змей, великанов и прочих монстров. Я бы сказал, что одна из главных проблем нашего многострадального общества заключается именно в том, что, если молодым людям, воспитанным в безопасности мирной домашней жизни, внезапно приходится играть роль воинов, им практически не предлагают хотя бы минимальной психологической установки. Они духовно не готовы исполнять требуемые роли в вечной игре жизни и не находят моральных принципов, которые бы могли их поддержать.

Но не все примитивные народы воинственны. И когда мы переходим от кочевых охотников и воинов бескрайних равнин к обосновавшимся в деревнях жителям тропиков, где основной пищей являются растения, а не мясо, логично, казалось бы, ожидать относительно миролюбивого уклада, почти — или совсем — не требующего воинственности в психологии и мифологии. Однако, как уже отмечалось в одной из предшествующих глав, в тропических зонах господствуют очень странные верования, основанные на наблюдениях за тем, как в растительном мире новая жизнь рождается из распада и смерти, а новый посев прорастает над сгнившими остатками прошлогоднего. Соответственно, преобладающий среди жителей этих районов мифологический сюжет подтверждает представление о том, что жизнь приумножается умерщвлением. Именно в этих уголках мира проводились самые ужасные и бессмысленные по своей жестокости ритуалы жертвоприношений, в основе которых лежит все та же мысль: чтобы пробудить жизнь, нужно убивать. Именно там процветает охота за головами: молодой человек, прежде чем жениться

и произвести на свет потомство, должен отнять жизнь у кого-то другого и взять его голову как трофей. На свадьбе трофею воздадут должные почести, но это не презрение к врагу, а почтение к убитому, который отдал свою жизненную силу будущим детям победителя.

Самым показательным примером мрачной необходимости жертв для обрядов продолжения жизни служит цивилизация древних ацтеков, где человеческие жертвоприношения на алтарях считались обязательным условием движения Солнца, хода времени и существования самой Вселенной. Ацтеки постоянно вели войны с соседями лишь для того, чтобы обеспечить себя сотнями и тысячами пленных для жертвоприношений. Собственных воинов ацтеки чествовали как жрецов, а принцип битвы — даже сражений между стихиями ветра и земли, воды и огня — был принципом устройства Вселенной, высшим олицетворением которого был великий ритуал, известный как Цветочная война, главный священный праздник.

Представим, что мы на древнейшем Ближнем Востоке, где впервые возникли сообщества, занимавшиеся посевом и сбором зерна, а потом и ранние города. Около VIII тысячелетия до нашей эры там постепенно появился совершенно новый уклад жизни, базирующийся не на собирательстве и охоте, а на земледелии и сборе урожая; великая и добрая мать-земля стала главной кормилицей человека. Именно в те времена у восточных народов появились обряды плодородия, которые в дальнейшем стали важнейшими церемониями всех земледельческих цивилизаций: ритуалы посвящались вспашке и севу, веянию, первой жатве и окончанию сбора урожая. В течение почти тысячи лет такого существования крошечные городки могли выжить без защиты. Однако уже к VI тысячелетию до нашей эры и особенно в V тысячелетии городские стены становятся очевидным оплотом цивилизованной жизни. Так, археологи выяснили, что эти уже сравнительно богатые селения миро- и трудолюбивых земледельцев начали

ощущать угрозу со стороны воинственных кочевников, а порой и подвергались разграблениям.

Двумя доминирующими воинственными народами в западной части этой стремительно развивавшейся культурной сферы были скотоводы-арийцы с лугов Восточной Европы и семиты, вторгавшиеся с юга, из Сирийской пустыни, где паслись стада овец и коз. Оба народа были совершенно безжалостными воинами, и их набеги на города ужасали. Ветхий Завет изобилует рассказами о разграблениях и полном уничтожении мирных селений. Просто представьте! Со сторожевых башен заметили облако пыли у горизонта. Песчаная буря? Нет! Это войско бедуинов! На следующее утро в городе не останется ни одной живой души...

Двумя крупнейшими трудами по мифологии войны являются соответственно «Илиада» и Ветхий Завет. Греки стали хозяевами Эгейского моря в конце бронзового века и начале железного — примерно тогда же, когда амореи, моавитяне и хабиру, первые евреи, наводнили Ханаан. Эти вторжения происходили практически одновременно, и предания о славных завоеваниях тоже появились в один и тот же период. Основные мифологические идеи, пронизывающие оба сборника легенд, не слишком отличались. Оба произведения изображают нечто вроде двухэтажного мира, где на нижнем этаже находится земля, а над ней — мир божественный. На нижнем этаже ведутся войны (наши люди против чужих), однако ходом сражений управляют свыше. В «Илиаде» различные боги пантеона примыкают к противоборствующим сторонам, поскольку там, наверху, тоже царят раздоры: Посейдон идет против воли Зевса, Афина соперничает с Афродитой, а у Зевса на складываются отношения с Герой. Удача земных армий зависит от результата битвы наверху. На самом деле одной из наиболее любопытных особенностей «Илиады» является то, что сочинение, прославляющее греков, оказывает больше почестей и уважения троянцам. Даже главным духовным героем шедевра

становится благородный троянский воин Гектор. Ахиллес рядом с ним выглядит обычным головорезом. Трогательный эпизод из шестой книги, когда Гектор прощается перед битвой со своей женой Андромахой и их маленьким сыном Астианактом («подобно звезде лучезарной» лежащим на руках кормилицы), является, несомненно, вершиной человечности, нежности и истинного мужества всей поэмы.

«Дорогой мой муж, — умоляет добродетельная жена, — твоя храбрость погубит тебя! Скоро аргивяне нападут все вместе и убьют тебя!»

И ее величественный супруг отвечает:

> Все и меня то, супруга, не меньше тревожит; но страшный
> Стыд мне пред каждым троянцем и длинноодежей троянкой,
> Если, как робкий, останусь здесь я, удаляясь от боя.
> Сердце мне то запретит; научился быть я бесстрашным,
> Храбро всегда меж троянцами первыми биться на битвах,
> Славы доброй отцу и себе самому добывая!

И когда малыш в страхе отшатывается от отцовского сверкающего шлема с пучком конского волоса на гребне, Гектор громко смеется, снимает шлем, кладет на землю и лишь потом целует сына, качает на руках и молится Зевсу за него — прежде чем уйти навстречу смерти.

Можно вспомнить и великолепную трагедию Эсхила «Персы», — какое выдающееся произведение появилось в Афинах спустя лишь два десятилетия после того, как сам Эсхил сражался с вторгшимся на остров Саламин персидским флотом! Действие трагедии разворачивается в Персии, где королева и придворные обсуждают возвращение побежденного в той битве Ксеркса. Текст написан с точки зрения персов и ясно показывает, с каким уважением и сочувствием могли относиться древние греки даже к самым угрожающим врагам.

Если же перенестись от «Илиады» и Афин к Ветхому Завету в Иерусалим, то перед нами предстает мифология с совсем другим верхним этажом и совершенно иной высшей силой. Это уже не многоликий пантеон, где боги благосклонны ко всем участникам войны, а целеустремленное единственное божество, чья милость навсегда отдана только одной стороне. И в тексте отношение к врагу, кем бы он ни был, соответственно значительно отличается от греческого: он недочеловек — не личность, а вещь или явление. Я выбрал несколько характерных отрывков, которые все вы, не сомневаюсь, легко узнаете, но в рамках нашей темы они помогут понять, что мы воспитаны на одной из самых жестоких военных мифологий на свете. Начнем с Второзакония:

> *Когда Господь, твой Бог, введет тебя в землю, куда ты идешь, чтобы завладеть ею, и прогонит от тебя многочисленные народы — хеттов, гергесеев, аморреев, хананеев, ферезеев, хиввеев и иевусеев, семь народов, которые больше и сильнее тебя, и когда Господь, твой Бог, отдаст их тебе и ты разобьешь их, то ты должен уничтожить их полностью. Не заключай с ними никакого договора и не оказывай им никакой милости. Не заключай с ними браков. Не отдавай своих дочерей за их сыновей и не бери их дочерей в жены своим сыновьям, они отвратят твоих сыновей от Меня к служению другим богам, и гнев Господа вспыхнет против вас и быстро тебя уничтожит. Вот что вы должны с ними сделать: разрушьте их жертвенники, разбейте священные камни, срубите столбы Ашеры и сожгите в огне их идолов. Ведь ты — святой народ Господа, твоего Бога. Господь, твой Бог, избрал тебя из всех народов на лице земли, чтобы ты был Его народом, Его драгоценным достоянием (7:1—6).*

> *Когда подойдешь к городу, чтобы захватить его, сначала предложи жителям мир, и если они примут твое предложение и откроют тебе ворота, то все жители города станут твоими рабами и должны будут работать на тебя. Если же город откажется заключить с тобой мир и станет с тобой воевать, окружи его, и когда Господь, Бог твой, даст тебе захватить его, убей*

всех местных мужчин. Но женщин, детей, скот и все остальное в городе можешь взять себе и пользоваться всем этим, ибо Господь, Бог твой, отдал все это тебе. Поступай так со всеми городами, которые далеко от тебя, с теми, что не в той земле, где ты живешь.

Если же захватишь города в той земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе, то убей всех, истреби полностью хеттеев, аморреев, хананеев, ферезеев, еввеев и иевусеев, ибо Господь, Бог твой, повелел тебе сделать это, и тогда они не смогут научить тебя грешить против Господа, Бога твоего, не смогут научить тебя мерзостям, которые делают, поклоняясь своим богам. (20:10–17).

Господь, Бог твой, дал обещание твоим предкам, Аврааму, Исааку и Иакову, что отдаст тебе эту землю и великие, богатые города, которые ты не строил.

Господь даст тебе дома, полные добра, которым не ты их наполнил, даст тебе колодцы, которые не ты вырыл, даст тебе виноградники и оливковые деревья, которые не ты посадил, и будет у тебя вдоволь еды.

Но смотри, не забывай Господа! Вы были рабами в Египте, но Господь вывел вас из земли Египетской, так почитайте Господа, Бога вашего, служите только Ему и только Его именем клянитесь. (6:10–12).

За Второзаконием следует самая воинственная во всем Ветхом Завете Книга Иисуса Навина, наиболее известной частью которой является легенда о падении Иерихона.

Раздался звук трубы, рухнули городские стены. Затем предали заклятию все, что в городе, и мужей и жен, и молодых и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом. А город и все, что в нем, сожгли огнем; только серебро и золото и сосуды медные и железные отдали в сокровищницу Дома Господня. (6:20,23).

Следующим был взят город Гай:

> *Так поражали их, что не оставили ни одного из них, уцелевшего или убежавшего. Падших в тот день мужей и жен, всех жителей Гая было двенадцать тысяч (8:22,25).*
>
> *И поразил Иисус всю землю нагорную и полуденную, и низменные места, и землю, лежащую у гор, и всех царей их; никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал заклятию, как повелел Господь, Бог Израилев (10:40).*

И это тот самый Господь Бог, который, как часто твердят нынешние голуби мира, учил: «Не убий!»

Кроме того, в последней главе Книги Судей рассказывается, как сыны Вениамина раздобыли себе жен (глава 21). В пятой главе той же книги приводится первая библейская песнь — воинственная молитва Деворы. В Книгах Царств описаны совершенно чудовищные кровопролития, которые Илия и Елисей учинили, разумеется, во имя Яхве. Затем начались реформы Иосии (4 Цар. 22–23), но вскоре после них, в 586 г. до н. э., сам Иерусалим был осажден и взят царем Вавилонским Навуходоносором (4 Цар. 25).

Но где-то выше всего этого парит прекрасный идеал окончательного всеобщего мира, который стал манящей мечтой всех крупных западных мифологий войны со времен Исаии. Есть, например, очаровательный — и часто цитируемый — образ, представленный в конце главы 65 книги этого пророка: «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и для змея прах будет пищею; они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь». Впрочем, несколько ранее тот же Исаия дал понять, как выглядит его идеал мирной жизни на самом деле:

> *Дети других народов вновь стены твои построят, цари их будут служить тебе. Я в гневе тебя поражал, но теперь Я хочу утешить тебя и быть к тебе милостивым.*

Ворота твои будут всегда открыты, не будут закрываться ни днем, ни ночью. Цари и народы внесут в них свои богатства.

Любой народ или царство, не желающие служить тебе, уничтожены будут.

Вся слава Ливана к тебе перейдет, люди тебе принесут кедры, сосны и кипарисы, чтобы украсить святилище. И Я воздам великую честь подножию Моего трона.

И те, кто тебя угнетал, склонятся перед тобой, те, кто тебя ненавидел, к ногам твоим припадут. Они будут звать тебя городом Господа, Сионом Святого Израиля (Ис. 60:10–14).

Странно, страшно и немного угрожающе было услышать отголоски подобных мыслей, звучавшие на торжествах в честь недавней победы Израиля после шестидневного блицкрига, который закончился к субботе, дню отдохновения. Эта мифология, в отличие от древнегреческой, по-прежнему жива. И конечно, для полноты картины следует добавить, что у арабов, разумеется, тоже есть «божественно» одобренная воинственная мифология. Согласно легенде, описанной в Коране, этот народ — потомок семени Авраама, его первенца Измаила. Более того, Коран подтверждает, что именно Авраам с Измаилом еще до рождения Исаака построили в Мекке священную Каабу, которая является главной святыней и объединяющим символом всего арабского и исламского мира. Арабы чтят тех же пророков, что и евреи: Авраама, Моисея и в особенности Соломона. Иисуса они тоже считают пророком, но главным для мусульман является, конечно, Мухаммед, а он был, помимо прочего, выдающимся воином. Именно Мухаммед дал исламу фанатичную мифологию нескончаемой войны во имя Аллаха.

Джихад, священная война, основана на определенных отрывках Корана, смысл которых в эпоху Великих завоеваний (VIII–X вв.) интерпретировался как святая обязанность каждого свободного,

взрослого, вменяемого и годного к войне мужчины-мусульманина. «Предписано вам сражение, а оно ненавистно для вас. И может быть, вы ненавидите что-нибудь, а оно для вас благо, и может быть, вы любите что-нибудь, а оно для вас зло, — поистине, Аллах знает, а вы не знаете!» (Сура 2:212) В комментарии к этим стихам сказано: «Есть ли что-то более ценное, чем ваша собственная жизнь?» Все земли, не принадлежащие «просторам ислама» (*дар аль-ислам*), должны быть завоеваны, и потому их именуют «территорией войны» (*дар аль-харб*). Записаны и слова пророка: «Я велел сражаться, пока люди не засвидетельствовали, что нет иных богов, кроме Бога, а Посланник его — Мухаммед». Согласно этому, каждый мусульманский правитель обязан был ежегодно проводить по крайней мере одну военную кампанию против неверных. Если же война по тем или иным причинам не складывалась, достаточно было просто содержать армию, обученную и готовую к джихаду.

Евреи, «народ Писания», как называет их Коран, занимают особое место в этом мировоззрении. Именно они первыми услышали Слово Бога, но затем (согласно точке зрения Мухаммеда) неоднократно изменяли Ему, отступали от истинной веры, отвергали Господа и даже убивали Его пророков. В Коране неоднократно обращаются к евреям и угрожают им. Я процитирую только один пример из Суры 17, стихи 4–8 (везде в тексте слово «Мы» подразумевает Бога, «вы» — евреев, а «Писание» — Библию):

> *И постановили Мы для сынов Исраила в Писании: «Совершите вы беззаконие на земле дважды и вознесетесь великим превознесением».*
>
> *И когда пришло обещание о первом из них, Мы воздвигли на вас рабов Наших, обладающих сильной мощью, и они проникли между их жилищ, и было обещание исполненным. Потом Мы вернули вам поворот (успеха) против них и помогли вам богатством и сынами и сделали вас более обильными в пособниках.*

> *Если вы творите добро, то вы творите для самих себя, а если творите зло, то для себя же. А когда пришло обещание о последнем... чтобы они причинили зло вашим ликам и чтобы вошли они в место поклонения, как вошли первый раз, и уничтожили бы все, над чем возвысились.*
>
> *Может быть, Господь ваш помилует вас, а если вы вернетесь, то и Мы вернемся и для неверных сделаем геенну тюрьмой (Сура 17:4–8).*

Так выглядят две мифологии войны, которые по сей день противостоят друг другу на спорном Ближнем Востоке и могут когда-нибудь погубить всю планету.

Вернемся, однако, мыслями в прошлое, продолжением которого является наше настоящее: библейский идеал холокоста во имя Яхве, сводящийся к уничтожению всего живого в захваченных городах, представляет собой еврейский вариант общего обычая древних семитов — моавитов, амореев, ассирийцев и остальных. Однако примерно в середине VIII в. до н. э. ассирийский царь Тиглатпаласар III (ок. 745–727 гг. до н. э.), кажется, заметил, что если истреблять всех жителей каждой захваченной области, то и порабощать будет некого. Но в то же время, если оставлять живых, население рано или поздно вновь объединится и придется подавлять восстания. И Тиглатпаласар придумал переводить покоренные племена на новое место: взяв очередной город, ассирийцы принуждали его жителей к тяжкому труду вдали от родины, а освободившееся жизненное пространство населяли чужеземцами. Идея оказалась действенной и завоевала популярность, а спустя пару столетий на Ближнем Востоке не осталось, пожалуй, ни единого оседлого народа — все постоянно переселялись с места на место. Когда был завоеван Израиль, его жителей тоже не уничтожили, как случилось бы всего на полвека раньше, а увели прочь. Территорию прежнего царства евреев занял другой народ (позже их назвали самаритянами). То же произошло

и в 586 году, когда взяли Иерусалим: его жителей переселили в Вавилон, о чем поется в знаменитом 137-м псалме:

> *При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе.*
>
> *На вербах посреди его повесили мы наши арфы.*
>
> *Там пленящие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши — веселия: «пропойте нам из песней Сионских».*
>
> *Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя.*
>
> *Прильни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего.*
>
> *Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его».*
>
> *Дочь Вавилона, опустошительница! Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам!*
>
> *Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!*

Но затем вся мифология Ближнего Востока внезапно изменилась до неузнаваемости. Случилось это после неожиданного появления и блестящих побед персов-ариев над всеми, кроме греков, народами Древнего мира. Царство ариев простиралось от Босфора и верховий Нила до самого Инда. В 539 г. до н. э. Вавилон пал под натиском Кира Великого, чьи представления об империи вовсе не были связаны с идеями резни или переселений. Он, напротив, вернул все народы на родные земли, возвратил им привычных богов и обычаи, а провинциями правил через подчиненных властителей из числа местных жителей. Так он стал первым настоящим Царем царей, и этот титул могущественных персидских монархов стал со временем титулом самого Господа Бога народа Израиля, которому Кир вернул святой город и позволил заново выстроить Храм.

В Книге пророка Исаии (45 строфа) этого язычника превозносят почти как Мессию, величают «помазанником» Яхве, а деяния его рук считают свершениями десницы самого Бога, вернувшего своим людям священную родину. И если я правильно понял ту главу, там устами пророка провозглашается, что вовсе не персы, а сам избранный народ начал править миром во имя Господа (Ис. 45:14–25).

С другой стороны, настоящая персидская мифология связана с именем Заратустры (*греч.* Зороастр), а вовсе не Исаии. Поскольку зороастрийская религия оказала значительное влияние не только на иудаизм, но и в целом на развитие христианства, следовало бы ненадолго остановиться на ней, прежде чем переходить к обзору мифологий мира.

Творцом Мира, согласно представлениям зороастрийцев, является бог правды и света, Ахурамазда. Созданный им изначально мир был прекрасен, но антагонист, бог зла, тьмы и лжи Ангра-Майнью наполнил его разнообразными злодеяниями и погрузил Вселенную во мрак невежества. Теперь в ней происходит непрерывное сражение между силами света и тьмы, истины и обмана. По мнению персов, это затрагивает не отдельный народ или племя, а космические, вселенские силы, и потому каждый человек, вне зависимости от происхождения, должен по собственной воле принять сторону добра или зла. Выбирая добро, он при помощи мыслей, а также словами и делами вносит вклад в восстановление совершенства мира; в противном случае он сам себе вредит и попадет после смерти в соответствующий его прегрешениям ад.

Когда приблизится день окончательной победы добра, силы тьмы бросятся в заключительную отчаянную схватку и наступит пора всеобщих войн и страшных катастроф, после чего явится спаситель Вселенной — Саошьянт. Ангра-Майнью и его демоны будут наголову разбиты, мертвые будут возрождены в телах из незапятнанного света, и начнется вечная эпоха мира, чистоты, счастья и совершенства.

Согласно точке зрения древнеперсидских царей, именно они осуществляли на земле волю и правое дело Владыки Света. По этой причине многонациональной и мультикультурной Персидской империей — а она была первой настоящей империей в мировой истории — владел всеобщий, религиозно обоснованный империалистический порыв. Считалось, что, действуя во имя правды, добра и света, персидский Царь царей рано или поздно станет вождем всего человечества и возродит всемирное благо. Идея выглядела очень привлекательной, и была принята всеми монархами-завоевателями. В Индии, например, под ее влиянием возник мифический идеал Чакравартина, всеобщего царя, присутствие которого установило бы мир и благополучие человечества. Этот образ можно обнаружить в королевских символах первого буддистского монарха Ашока (ок. 262–248 гг. до н. э.). А первый император объединенного Китая, известный как Ши Хуанди (221–207 гг. до н. э.), после бурной эпохи «Сражающихся Царств» утверждал, что правит по воле Небес и в согласии с небесным законом.

Восторженный автор Книги пророка Исаии (с 40-й по 55-ю главу) был современником Кира Великого и живым свидетелем того, как персы вернули изгнанному народу Иерусалим. Неудивительно, что в его пророчествах отчетливо заметно влияние зороастрийских идей: «Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (45:1; 7). Именно в этих главах, написанных так называемым «Вторым Исаией», встречаются самые ранние восславления Яхве уже не просто как величайшего и могущественнейшего бога среди божеств, но как единственного Бога во Вселенной, в ком могут найти спасение не только евреи, но и язычники: «Ко Мне обратитесь и будете спасены, все концы земли; ибо Я Бог, и нет иного» (45:22). Прежде, до вавилонского пленения, еврейские пророки видели в Мессии просто идеального короля на троне Давида, «чтобы Ему утвердить его и укре-

пить его судом и правдою отныне и до века» (Ис. 9:7). Но после возвращения взгляды меняются. Отразилось это, в частности, в поздних пророческих текстах александрийской эпохи — например, в Книге пророка Даниила (7:13–27) имеются представления о Спасителе, который в конце истории придет царствовать над «всеми народами, племенами и языками». Больше того, «многие из спящих во прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:2).

Вне всякого сомнения, зороастрийская эсхатология оказала влияние на идеи конца света и воскрешения мертвых. Кроме того, в ессейских свитках Мертвого моря, относящихся к последнему веку до нашей эры, влияние персидской мысли проскальзывает в каждой строке. Та эпоха, сказать по правде, сама по себе была настолько тревожной, что любой, кто был знаком с древними зороастрийскими представлениями, вполне мог ожидать конца света и пришествия Саошьянта. Раскол произошел даже в Иерусалиме, где за господство боролись два соперничающих направления: одни, ортодоксальные верующие, которые были преданы старому закону, придерживались хасидизма, а другие были сторонниками греческих взглядов. В Маккавейских книгах рассказывается о том, как представители второй партии отправились к греческому императору Антиоху, получили соответствующее разрешение и «построили в Иерусалиме училище по обычаю языческому, и установили у себя необрезание, и отступили от святого завета, и соединились с язычниками и продались, чтобы делать зло» (1 Мак. 1:14–15). После этого борьба в священном городе разгорелась с новой силой и достигла кульминации, когда греки, поддержавшие притязания бунтующих приверженцев эллинизма на посты среди высшего жречества, разграбили Храм и отдали приказ ставить по всей стране языческие жертвенники. Именно тогда, в 168 г. до н. э., в селении под названием Модин жрец Маттафия с пятью сыновьями (Маккавеи) убили не только первого же иудея, приблизившегося к языческому

алтарю, чтобы принести жертву «по повелению царя» (1 Мак. 2:23), но и греческого чиновника, прибывшего проследить за этим. Впрочем, позже сами Маккавеи дерзко присвоили себе права на царствование и верховное духовенство, которых не унаследовали. В последующей борьбе за власть семейство ввязалось в целую череду отвратительных предательств и подлых убийств. Фарисеи, хасидеи и прочие секты, возмущенные таким бесчестием, подняли восстание, однако оно было с невероятной жестокостью подавлено правившим тогда Александром Яннаем (104–78 гг. до н. э.), который за одну ночь распял восемьсот врагов, но прежде умертвил прямо у них на глазах жен и детей. Царь лично наблюдал за казнью, пил при этом вино и открыто развлекался с наложницами. «И столь велик был охвативший народ ужас, — писал еврейский историк Иосиф Флавий в своем повествовании об этом злодействе, — что на следующую ночь восемь тысяч противников царя покинули Иудею».

Предполагается, что именно это событие объясняет находку в пустошах апокалиптической общины Кумран и свитков Мертвого моря. Жители селения в любом случае ожидали конца света и со всей серьезностью готовились его пережить, чтобы горстка Божьего народа могла вечно осуществлять свое предназначение. В самих себе они видели, похоже, столь доблестную армию, что намерены были с Божьей помощью покорить и очистить весь мир. Началась сорокалетняя война «сынов Света» с «порождениями Тьмы» (сравните с зороастрийскими идеями!). Перед ней должно было состояться шестилетнее сражение с ближайшими соседями — моавитами и египтянами; затем, после годового перерыва, войну следовало продолжить рядом кампаний в более далеких землях. На трубах и знаменах «воины Завета» собирались начертать вдохновляющие и весьма лестные девизы: «Избранники Господа», «Князья Божии», «Вожди Отцов Братства», «Сотня Господня», «Длань Войны против Заблудшей Плоти», «Божья Истина», «Божья Справедливость», «Господня Слава» и так

далее. А тем временем в Иерусалиме — увы! — за престол боролись два сына Александра Янная. Один из них призвал на помощь римлян, и случилось это в 63 г. до н. э.

Интересно отметить предчувствие конца света, которое господствовало среди евреев различных религиозных воззрений в то время. В зороастрийском понимании он наступал с появлением спасителя Саошьянта. Для вернувшихся из плена иудеев — с предначертанным появлением Помазанника, Мессии. Все народы должны были погибнуть. Даже из народа Израилева выжила бы лишь небольшая горстка людей. В этой атмосфере нависшей беды и зародилось христианство. Пророк Иоанн Предтеча, крестивший на Иордане, чуть выше по течению от общины «воинов Завета» на Мертвом море, тоже ждал Спасителя и подготавливал почву; именно к Иоанну и пришел Иисус, который затем сорок дней постился в пустыне и вернулся с собственной версией всеобщего апокалипсиса.

Чем послание Иисуса Христа отличалось от идей живших совсем неподалеку кумранских общинников? Главное различие, пожалуй, вот в чем: «воины Завета» предвкушали сражение сынов Света с сыновьями Тьмы, то есть, иными словами, готовились к войне, а проповедь Иисуса утверждала, что битва уже закончена: «Вы слышали, что сказано: “люби ближнего своего и ненавидь врага твоего”. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь на обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мат. 5:43–45). И именно в этом, по моему мнению, именно в этом кроется разница между мифологиями войны и мира.

Однако чуть дальше в тексте натыкаешься на озадачивающие слова: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч; ибо Я пришел разделить чело-

века с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку — домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мат. 10:34–37). Повторный отзвук этих высказываний раздается в Евангелии от Луки: «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лук. 14:26).

Ключ к пониманию смысла этих утверждений таится, я полагаю, в заключительной строке и последующих цитатах из Матфея: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» (10:38), и из Луки: «И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником» (14:27). Далее возвращаемся к Матфею: «...пойди, продай имение твое и раздай нищим...» (19:21), а ранее: «иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (8:22).

Идеалом этого учения является аскетически полный отказ от забот обычной мирской жизни, семейных связей, общества и всего остального, оставляя «мертвых» — то есть тех, кого мы зовем живыми, — «погребать своих мертвецов»; и в этом раннехристианское учение, видимо, походило на буддистское или джайнское. Это было «отшельническое» учение, «лесное». Помимо прочего, эти взгляды целиком меняют систему отсчета всей апокалиптической темы — она переносится из исторического будущего в психологическое настоящее: конца света и прихода Божества не следует ждать «когда-нибудь потом»; их нужно ощутить прямо сейчас, в уединении, в глубине собственной души. Подтверждением этого толкования становятся последние строки гностического Евангелия от Фомы, когда ученики Господа спросили: «Когда придет Царствие?» Иисус ответил: «Оно не приходит, когда ожидают. Не скажут: Вот, здесь! — или: Вот, там! — Но царствие Отца распространяется по земле, и люди не видят его» (117).

Более того, слова Иисуса о принесенном мече ни в коей мере не подразумевают обычное боевое оружие. Это подтверждают обстоятельства ареста в Гефсиманском саду: «И, когда еще говорил Он, вот Йуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса, и взяли Его. И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мат. 26:47–52).

Достаточно ясно, не правда ли? Смелый владелец меча, чье имя названо в Евангелии от Иоанна (18:10) — Симон Петр, был далеко не последним из последователей Иисуса, кто предал своего учителя столь же откровенно, как Иуда. Начиная с эпохи побед Константина, то есть с IV века, основанная на камне все того же славного имени Петра Церковь покоряла мир, главным образом, силой. В разгар Средневековья при могущественном папе Иннокентии III (1198–1216) яростные взмахи меча Петра достигли головокружительной кульминации в потрескивающих кострах Альбигойского крестового похода, когда огню предавали еретиков-катаров — самопровозглашенных «Чистых», открыто отказавшихся от оружия во имя мирной жизни.

Аскетическое отречение от мира, обычной жизни и даже самого желания жить можно назвать, таким образом, самой известной мифологией мира из числа когда-либо предлагавшихся человечеству. Судя по историческим обстоятельствам ее первоначальной декларации, возникала она — точнее, начала казаться привлекательной — как ответ на всеобщее безнадежное ощущение

разрухи. Прежние мифические представления означали великую войну, святую битву, которая окончательно утвердит в конце истории царство вечного умиротворения; это, однако, была вовсе не мифология мира, а, напротив, призыв к войне, войне непрестанной — пока... Но по иронии судьбы стоило аскетической христианской вести сорваться с губ Иисуса и достичь ушей его ближайших последователей, как она моментально превратилась в очередную доктрину Святой войны, джихада, крестового похода (и с тех пор таковой и осталась). Поэтому сейчас мы подробно обсудим и сравним идеалы и судьбы других широко известных аскетических мифологий мира.

Несомненно, самой суровой и непоколебимо последовательной религией мира является индийский джайнизм, проповедник которого, Махавира, был современником Будды. К тому времени учение Махавиры уже стало достаточно древним, а сам он был лишь последним из долгой, уходящей в доисторические эпохи череды джайнских учителей, именуемых тиртханкарами, «создающими переправу». По мнению этого абсолютно миролюбивого учения мечтающий о свободе от перерождений не должен убивать и причинять боль ни одной живой твари, а также питаться мертвой плотью. Он не имеет права даже пить воду по ночам, так как может случайно проглотить какое-нибудь насекомое, плавающее на поверхности. Помимо того, следует приносить обеты, ограничивающие число шагов, сделанных за день, так как любой из них ставит под угрозу многочисленных жуков и червяков. Лесные отшельники-джайны не расставались с маленькими метлами и, прежде чем сделать шаг, подметали перед собой землю. В Бомбее и сегодня можно увидеть джайнских монахов, которые носят на лице марлевые повязки (точно хирурги в операционной), чтобы не вдохнуть ненароком какую-нибудь мелкую живность. Запрещается, кроме того, есть сорванные плоды — джайн обязан ждать, пока фрукты сами не упадут с веток; живые растения вообще нельзя резать ножом. Вполне понятно, что цель монаха-джайна —

скорейшая гибель, хотя и она окажется бессмысленной, если его воля к жизни угасла не до конца. Если перед смертью у монаха осталась хотя бы крупица желания жить, радоваться и беречь себя, он, без сомнений, переродится и вновь попадет в этот ужасный мир, где каждый поневоле мучает и убивает живое.

В своем исходном виде буддизм был очень тесно связан с сектой джайнов, но критически отличался от джайнизма смещением акцента с буквального угасания самой жизни на угасание Эго. Избавляться следует именно от мыслей «я» и «мое», побуждения защищать себя, свое имущество и жизнь. Акцент делается в основном на психологическое, а не физическое, но, несмотря на это, легко убедиться, что буддистский закон совершенной добродетели, соблюдаемый до последней буквы, тоже способен привести в конце концов к полному отрицанию жизни.

Например, существует благочестивая буддистская легенда о царе Вессантаре, у которого правитель соседнего царства попросил на время великолепного белого слона. Белые слоны притягивают облака, а те приносят дождь. Бескорыстный царь Вессантара без раздумий отдал слона соседу, но люди возмутились тем, что их владыка совсем не заботится о благе народа, и изгнали царя вместе с его семьей из страны. Царское семейство уехало на повозках, но стоило обозу войти в лес, как появившиеся невесть откуда брамины попросили у Вессантары коней и телеги в придачу, и царь, абсолютно бескорыстный, лишенный ощущений «я» и «мое», отдал браминам все вещи. Дальше его семья отправилась по опасному лесу пешком. Вскоре они встретили какого-то старика-брамина, который попросил отдать ему детей. Мать «эгоистично» возразила, но царь, лишенный ощущений «я» и «мое», с готовностью передал детей старику — в рабство. Затем у царя попросили жену, и с ней он тоже без сожалений расстался.

Эта притча показывает, что имел в виду Иисус, когда призывал идти за ним и оставить отца и мать, сына и дочь, а притом

и саму жизнь, отдать свой плащ тому, кто попросит, а тому, кто ударит по щеке, подставить другую. В истории Вессантары все, впрочем, кончается хорошо, поскольку брамины были на самом деле богами, устроившими царю проверку, а отнятых детей, жену и пожитки благополучно проводили во дворец — почти как в библейском предании об Аврааме, чей жертвенный нож, занесенный над Исааком, был остановлен рукой Бога, который просто испытывал своего слугу. Обе легенды тем не менее одинаково поднимают вопрос о том, где в подобном благочестивом рвении кончается добродетель и начинается порок. Насколько далеко, скажем, может зайти убежденный пацифист, если защищает исключительно свою собственную духовную-предуховную чистоту? Этот вопрос актуален и сегодня.

Перенесемся, однако, еще восточнее, в Китай и Японию, где существовало свое скопление мифологий мира — в частности, философии Лао-цзы и Конфуция. Многие назвали бы основные положения этих мифологий романтичными, поскольку сводятся они лишь к тому, что в природе царит всепроникающая гармония и упорядоченное взаимодействие — явленное в жизни и живущих, в истории и исторических институтах — двух начал, или принципов: активного и пассивного, светлого и темного, горячего и холодного, небесного и земного, ян и инь. Сила ян господствует в юном, а инь усиливается к старости. Ян властвует летом, на юге и днем; инь — зимой, на севере и ночью. Их чередование во всем сущем составляет Путь бытия, Дао. Добиваясь гармонии Дао, подчиняя ему свое время, свой мир, самого себя, человек достигает конца жизни и обретает покой в ощущении согласия со всем вокруг.

Самые известные и вдохновенные положения даосской философии входят в небольшой, состоящий всего из восьмидесяти одной строфы текст под названием «Дао дэ цзин» — «Книга добродетели Дао», приписываемый легендарному длиннобородому

мудрецу Лао-цзы, «старому ребенку». В тридцатой строфе этой книги сказано:

> *Кто служит главе народа посредством Дао, не покоряет другие страны при помощи войск, ибо это может обратиться против него. Где побывали войска, там растут терновник и колючки. После больших войн наступают голодные годы. Искусный [полководец] побеждает и на этом останавливается, и он не осмеливается осуществить насилие. Он побеждает и себя не прославляет. Он побеждает и не нападает. Он побеждает и не гордится. Он побеждает потому, что к этому его вынуждают. Он побеждает, но он не воинственен. Когда существо, полное сил, становится старым, то это называется отсутствием Дао. Кто не соблюдает Дао, погибнет раньше времени.*

И снова, в тридцать первой строфе:

> *Хорошее войско — средство, [порождающее] несчастье, его ненавидят все существа. Поэтому человек, следующий Дао, его не употребляет. Во время мира благородный предпочитает уважение, а на войне применяет насилие. Войско — орудие несчастья, оно не является орудием благородного. Он употребляет его только тогда, когда к этому его вынуждают. Главное состоит в том, чтобы соблюдать спокойствие, а в случае победы — себя не прославлять. Прославлять себя победой — это значит радоваться убийству людей. Тот, кто радуется убийству людей, не может завоевать сочувствия в стране*[1].

Тем не менее всему миру хорошо известно, что очень долгая история Китая определялась, главным образом, периодами правления безжалостных деспотов, которые перемежались веками беспорядочных войн. Во всяком случае, начиная с эпохи Сражающихся Царств (453–221 гг. до н. э.) перемещения огромных профессиональных армий оказывали на китайскую политику влияние намного большее, чем «Добродетель Дао» в стиле Лао-цзы. Именно

---

[1] Пер. Ян Хин-шун, 1972 г.

из тех великих времен дошли до нас две весьма хладнокровные, сугубо макиавеллистские работы, посвященные искусству достижения и сохранения власти: первой является так называемая «Книга правителя области Шан», а второй – трактат Сунь-цзы «О военном искусстве». Позвольте сначала привести короткий отрывок из Сунь-цзы:

> *Война – это великое дело для государства, это почва жизни и смерти, это путь существования и гибели. Это нужно понять.*
>
> *Поэтому в основу ее кладут пять явлений...*
>
> *Первое – Путь, второе – Небо, третье – Земля, четвертое – Полководец, пятое – Закон.*
>
> *Путь – это когда достигают того, что мысли народа одинаковы с мыслями правителя, когда народ готов вместе с ним умереть, готов вместе с ним жить, когда он не знает ни страха, ни сомнений.*
>
> *Небо – это свет и мрак, холод и жар, это порядок времени.*
>
> *Земля – это далекое и близкое, неровное и ровное, широкое и узкое, смерть и жизнь.*
>
> *Полководец – это ум, беспристрастность, гуманность, мужество, строгость.*
>
> *Закон – это воинский строй, командование и снабжение.*
>
> *Нет полководца, который бы не слыхал об этих пяти явлениях, но побеждает тот, кто усвоил их; тот же, кто их не усвоил, не побеждает*[1].

Обратимся теперь к «Книге правителя области Шан»:

> *Государство может достичь спокойствия благодаря земледелию и войне.*

---

[1] Пер. В. А. Андриенко, 2012 г.

Если в государстве есть десять [паразитов]: Ши цзин, Шу цзин, ли, музыка, добродетель, почитание старых порядков, человеколюбие, бескорыстие, красноречие, острый ум, правитель не сможет найти ни одного человека, которого он смог бы использовать для обороны или [наступательной] войны.

...Если же государство избавится от этих десяти [паразитов], то враг не посмеет явиться, а если он и явится, то непременно будет отброшен.

...На государство, которое любит силу, трудно напасть, а государство, на которое трудно напасть, непременно добьется процветания. Легко нападать на страну, где поощряют красноречие, а государство, на которое легко нападать, непременно окажется в опасности.

...Когда государство в беде, а правитель в тревоге, то, если даже советчиков будет столь [много], что из них можно группировать сотни, все равно бесполезно [пытаться] устранять опасность. Действительно, государство может очутиться в беде, а правитель оказаться в тревоге, когда имеется сильный противник или другое большое государство.

...Земледелие, торговля и управление — три основные [функции] государства. Они порождают шесть [паразитов], которые [в свою очередь] вредят этим трем [функциям]: стремление беспечно жить на склоне лет, бездумную трату зерна, пристрастие к красивой одежде и вкусной еде, стремление к роскоши, пренебрежение своими обязанностями, стяжательство. Если эти шесть [паразитов] найдут для себя почву, [государство] будет непременно расчленено.

...В государстве, где порочными управляют [словно] добродетельными, неизбежна смута, и оно непременно будет расчленено. В государстве, где добродетельными управляют словно порочными, воцаряется порядок, и оно непременно станет сильным.

> *...Если наказания суровы, а награды незначительны, — правитель любит народ, и народ готов отдать жизнь за правителя. Если же награды значительны, а наказания мягки, — правитель не любит народ, и народ не станет жертвовать жизнью ради правителя*[1].

И наконец:

> *...Если [во время войны] страна совершает действия, которых противник устыдился бы, то она будет в выигрыше*[2].

В Индии тоже имеется длинная традиция подобных размышений, которые в конечном счете сформировали и определили практические искусства управления и ведения войны. Те, кто читает сейчас «Бхагавадгиту», забывают порой, что этот религиозный трактат является частью шестой книги одного из крупнейших героических эпосов всех времен — «Книги о великой войне сыновей Бхараты», «Махабхараты». Приведу несколько характерных фрагментов из двенадцатой книги эпоса:

> *Правитель, который знает свои силы и командует большой армией, должен бодро и отважно, не раскрывая своих замыслов, отдать приказ выступить против царя, который слабее его, либо не имеет союзников и друзей, либо уже воюет с кем-то другим и, следовательно, ослабел; но прежде ему нужно позаботиться о защите собственного города.*
>
> *Король не должен подчиняться более сильному королю. Даже если он слаб, он должен постараться свергнуть сильнейшего и, добившись этого, править самому. Он должен сбросить сильнейших с престола оружием, пожарами и тайными отравителями. Также он должен посеять раздор среди его свиты и слуг...*

---

[1] Пер. Л. С. Переломова, 1993 г.

[2] Пер. Л. С. Переломова, 1993 г.

Король зависит от казны и войска. Его войско, в свою очередь, опирается на казну. Его войско — источник всех его религиозных достоинств. Религиозные достоинства, в свою очередь, — опора его народа. Казну не пополнить, не притесняя остальных. Можно ли содержать войско без притеснения? Значит, в трудные времена король не совершает греха, притесняя подданных ради пополнения казны. Власти над обоими мирами — и этим, и тем — можно достичь богатством, а также правдой и религиозными достоинствами. Человек без богатства скорее мертв, чем жив.

Следует терпеть врага на своей шее в неблагоприятные времена, но при первой благоприятной возможности его нужно сбросить и разбить, как глиняный горшок о камень.

Король, желающий благоденствия, должен без колебаний убить сына, брата, отца или друга, если тот становится на его пути.

Не нанося другим опасных ран, не совершая жестоких деяний, не убивая живых существ, как рыбак губит рыбу, благоденствия не завоевать...

Не существует какого-то деления на врагов и друзей. Люди становятся друзьями или врагами только по воле обстоятельств.

Любое дело нужно доводить до конца. Царь должен опустошать вражеское царство, убивая его жителей, разрушая дороги, сжигая и разваливая дома.

И наконец:

Сила выше правды. Правда происходит от силы. Сила — опора правды, как земля — опора живого. Правда должна следовать за силой, как дым за ветром. Правда сама по себе не имеет силы. Правда держится за силу, как лиана за ствол дерева.

Вообще говоря, сама «Бхагавадгита» как часть этого воинского эпоса является по сути своей наставлением для юного королевича, призванным ободрить его перед битвой, накануне которой его

одолевают сомнения и муки совести. Смысл в том, чтобы перед битвой освободить его ум от чувства вины и сожаления:

Рожденный неизбежно умрет, умерший неизбежно родится. Для того, кто мертв, рождение неизбежно. Не нужно избегать того, чего нельзя избежать.

Вечное никто не может уничтожить.

Меч не сечет его, пламя не опаляет,

Вода не увлажняет, ветер не сушит.

Вечный, вездесущий, неизменный, недвижный, он пребывает всегда в одном виде... Неуязвимый, воплощенный всегда в этом теле;

Так не скорби ни о каких существах...

Если суммировать, именно это составляет, по распространенному на Востоке убеждению, незыблемую основу любого мира. В поле действия — то есть самой жизни — мира нет, и быть не может. Таким образом, формула достижения мира заключается в том, чтобы поступать как должно, но без привязанности к результату:

В йоге устойчивый, действуй, оставив привязанность!

В неуспехе, удаче будь равным; равновесьем именуется йога.

Ибо дело значительно ниже, чем йога мудрости;

Ищи прибежища в мудрости; плодами прельщенные — жалки. Здесь покидает мудрец и грехи и заслуги;

Поэтому предайся йоге, йога — в делах искушенность. Мудрые люди, покинув плоды, рожденные делом, идут, расторгнув узы рожденья, в область бесстрастья. Йога — искусность в действиях[1].

---

[1] Пер. Б. Л. Смирнова, 1960 г.

Отбрасывая и страх перед результатами действия, и тягу к ним, человек обязан без личной заинтересованности исполнять все, что должен, а долг принца — сражаться и убивать:

> *Приняв во вниманье свой долг, не нужно тебе колебаться,*
>
> *Ведь для кшатрия лучше нет ничего иного, чем справедливая битва.*
>
> *Как во внезапно отверстые райские двери,*
> *Радостно вступают кшатрии в такую битву*[1].

Как ни парадоксально, в этом контексте обе мифологии — войны и мира — едины. Не только в индуизме, но и в буддизме — в частности, махаяне — произошло нечто подобное: поскольку мудрость «того берега» выходит за пределы пар противоположностей, она, разумеется, не различает войну и мир. Как сказано в одном из поучений махаяны: «Этот мир, со всеми его несовершенствами, являет собой Золотой Лотос совершенства». Если же кто-то не хочет или не желает видеть мир именно таким, виновато в этом вовсе не мироустройство.

Мы не можем считать Вселенную злом. Природа — не зло, а «деятельное пространство» сознания Будды. Поэтому нет ничего плохого в столкновениях, а столкновение в битве не хуже, чем любое другое.

В соответствии с этим подходом, сострадательное участие бодхисаттвы в обычной жизни никак не связано с чувством вины. Кроме того, оно совершенно безлично. Равно как и махаянский идеал «радостного участия» в «деятельном пространстве сознания Будды»: оно абсолютно отстраненно, бескорыстно и невинно. Мне рассказывали, что после битвы при Порт-Артуре во время русско-японской войны 1904 года на мемориальных досках бод-

---

[1] Пер. Б. Л. Смирнова, 1960 г.

хисаттвами именовали не только погибших солдат, но и павших в боях коней.

Подведем итог: с древнейших времен бытовало мнение, что война (в том или ином виде) — дело не только неизбежное и благое, но и совершенно обычное. Помимо прочего, это самое бодрящее общественное занятие цивилизованного человечества, ведь боевые действия — источник совершенно естественного удовольствия, а равно и общественный долг правителей. С этой точки зрения монарх, который не занят войной и не готовится к ней, — просто дурак и «бумажный тигр».

Но, с другой стороны, в анналах мировой истории обнаруживаются и совершенно противоположные взгляды, представляющие целью прекращение войны и установление вечного мира. Однако неизбежным следствием такого стремления становится отрицание самой жизни, ведь борьба и страдания — неотъемлемые черты земного существования. Наиболее впечатляющие примеры такого отрицания — джайнизм и ранний буддизм (хинаяна) — появились на Востоке, но нечто похожее проповедовали и некоторые раннехристианские секты, и альбигойцы в середине XII века во Франции.

Изучая мифологии войны, мы обнаружили и в Торе, и в Коране веру в то, что Бог, создатель и единственный владыка Вселенной, всегда занимает сторону одного избранного народа. Следовательно, войны именно этого народа священны, так как ведутся во имя Господа и во исполнение Божьей воли. Схожее представление о «Цветочных войнах» вдохновляло ацтеков пленять врагов и затем приносить их в жертву ради того, чтобы Солнце продолжало двигаться. В «Илиаде», с другой стороны, обитатели Олимпа симпатизируют обеим противостоящим сторонам, а Троянская война интерпретируется не в космических, а в земных, человеческих понятиях — это просто борьба за возвращение похищенной жены. Благородный идеал героического воина-человека выражен

в поэме образом и речами не грека, а троянского героя Гектора. Можно заметить резкое отличие от духа двух семитских военных мифологий и большое сходство, с другой стороны, с индийской «Махабхаратой». Прямолинейная решимость Гектора, четко сознающего, что он обязан сражаться во имя семьи и родного города, и «самоконтроль» (йога) Арджуны, исполняющего долг своей касты, олицетворяют, по сути, один и тот же принцип. Более того, и в индийском, и в греческом эпосах обнаруживается одинаковое уважение к обеим воюющим сторонам.

Наконец, мы открыли и третью точку зрения на идеалы и цели войны и мира. Она не осуждает и не отвергает войну как образ жизни и жизнь как войну, но полностью устремлена к тому времени, когда войны вообще прекратятся. В зороастрийском эсхатологическом мифе персов, который, кажется, был первым серьезным предсказанием мирного будущего, день великих перемен должен был стать великим переломом, когда будут отменены прежние законы природы и воцарится вневременная неизменная вечность, в которой уже не будет жизни, какой мы ее знаем. По иронии судьбы этому всеобщему преображению должны были предшествовать долгие столетия раздоров и войн, хотя в самой Персидской империи тем временем расцветал прообраз будущего царства, где относительный покой должны был обеспечить имперские шпионы, доносчики и стража. С расширением этой «мирной» империи разрастались бы и границы сферы гражданского спокойствия — до тех пор, пока не охватили бы весь мир...

О чем-то подобном мы уже не так давно слышали, и не так уж далеко от нас. Как нам уже известно, евреи подхватили персидскую идею и выразили ее в библейском образе Израиля, а в эпоху Свитков Мертвого моря она перешла в апокалиптическое христианство (см. Марк. 13:3–37). Именно эта мысль привела арабов к принципам дар аль-ислам и дар аль-харб. То же самое,

наконец, просматривается сейчас в миролюбии Москвы: шпионы, осведомители, полицейские облавы и так далее.

Насколько мне известно, помимо этих великих идей о войне и мире, на свете появилась еще лишь одна свежая мысль, провозглашенная выдающимся голландским философом-правоведом Гроцием в эпохальной работе 1625 года «О праве войны и мира». В ней он впервые в истории человечества предложил принципы международных отношений, основанные на этике, а не на законе джунглей. В Индии господствующим правилом взаимоотношений между государствами долгие века оставался «закон рыбы», известный как матсья-ньяя: крупная рыба пожирает мелкую, а слабым, следовательно, нужно быть быстрее и ловчее. Битвы в этом мировоззрении — естественная обязанность воинов, а мирные времена представляют собой лишь перерывы в боевых действиях, что-то вроде тайм-аутов между боксерскими раундами. По мнению Гроция, война, напротив, является нарушением цивилизованной нормы, мирной жизни, и потому задачей войны должен быть скорейший мир — спокойствие, навязанное не силой оружия, а рациональными взаимовыгодными сделками. Таков, в свою очередь, был идеал «мира без победы», представленный Вудро Вильсоном в конце Первой мировой. Ту же идею олицетворяет американский орел, сжимающий в когтях левой лапы пучок стрел, а в правой — ветвь оливы. Знаменательно, что голова его, в духе Гроция, обращена вправо, лицом к оливковой ветке. Будем все же надеяться — во имя мира, — что наконечники стрел в левой лапе орла не притупятся до тех пор, пока не аскетизм или сила оружия, но глубокое понимание взаимной выгоды станет, наконец, для всего человечества залогом воцарения мира.

Глава X

ШИЗОФРЕНИЯ: ВНУТРЕННЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (1970)

Весной 1968 года меня пригласили выступить в Эсаленском университете (Биг-Сур, Калифорния) с курсом лекций о шизофрении. Годом ранее я читал там лекции по мифологии, и господин Майкл Мерфи, наделенный очень богатым воображением руководитель этого чрезвычайно любопытного заведения, решил, очевидно, что обе темы тесно связаны. Так или иначе, о шизофрении я ничего не знал и потому, получив приглашение, тут же позвонил Мерфи.

— Майк, я ничего не знаю о шизофрении, — сказал я. — Может, нам устроить лекции о Джойсе?

— Неплохая мысль, — ответил он. — Но, пожалуй, лучше все-таки о шизофрении, тем более что это почти одно и то же. Давай проведем в Сан-Франциско параллельные курсы: ты и Джон Перри, мифология и шизофрения. Что скажешь?

Тогда я еще не был знаком с доктором Перри, но в юности мне удалось коснуться губами Камня Красноречия[1], а это, доложу я вам, стоит дюжины докторских степеней. В общем, я подумал: «Почему бы и нет?» Помимо прочего, я очень доверял Майку Мерфи и был вполне уверен, что у него на уме нечто стоящее.

Несколько недель спустя действительно произошло кое-что интересное! В почтовом ящике оказался пакет — от Джона Вейра Перри, доктора медицины из Сан-Франциско, с его перепечатанной статьей о шизофрении, изданной в 1962 году в «Анналах Академии наук Нью-Йорка». К своему изумлению, я вскоре выяснил, что образы шизофренических фантазий в точности совпадают с символикой путешествия мифологического героя, которую я еще в 1949 году описал в книге «Герой с тысячью лицами».

Моя книга опиралась на сравнительное изучение всемирных мифологий и лишь вскользь затрагивала феноменологию снов, истерий, мистических видений и так далее. Я ставил целью выявление общих для всех мифологий сюжетов и образов, но даже не подозревал тогда, до какой степени они напоминают фантазии безумцев. На мой взгляд, это были, прежде всего, универсальные, архетипические, психологические символические сюжеты, свойственные всем традиционным мифологиям. Но теперь из статьи доктора Перри я узнал, что те же образы непроизвольно рождаются в надломленном, истерзанном разуме современных людей, страдающих от полного шизофренического расстройства — такого состояния, когда человек теряет любую связь с окружающим миром и жизнью общества и переживает навязчивые фантазии, порожденные его собственным, отрезанным от внешнего мира сознанием.

---

[1] Камень Красноречия (*ирл.* Cloch na Blarnan, *англ.* Blarney Stone) — камень, вмонтированный в стену замка Бларни (графство Корк в Ирландии), по легенде — часть Скунского камня, дающая поцеловавшему ее дар красноречия.

Если кратко, то общая схема выглядит так. Сначала шизофреник выпадает из социального порядка и контекста. Затем он начинает долгое погружение в себя — можно сказать, обращение времени вспять и уход в глубины своей души; там происходит ряд беспорядочных встреч, мрачные, пугающие события и, наконец, — если жертве повезет — встречи ободряющие, умиротворяющие, дарующие равновесие, после которых больной возвращается к нормальной жизни, «новому рождению». Это универсальная формула и для путешествия мифологического героя, в котором я выделил три этапа: разделение, посвящение и возвращение.

Герой отваживается перейти из обыденного мира в область сверхъестественного и чудесного; там он сталкивается с мифическими силами и одерживает решительную победу; затем возвращается из таинственного путешествия, обладая силой, и одаривает благодеяниями своих собратьев.

Такая модель объединяет миф и фантазии душевнобольных. Главная мысль статьи доктора Перри сводилась к тому, что в некоторых случаях лучшее решение состоит в том, чтобы способствовать процессу распада и реинтеграции личности. Однако доктору, если он хочет помочь, следует разобраться в образном языке мифологии. Он должен хорошо понимать обрывочные знаки и сигналы, подсказывающие, что его пациент, полностью лишившийся рационально направленного образа мышления и коммуникации, пытается установить контакт. С такой точки зрения шизофренический раскол истолковывается как путешествие внутрь и обратно в поисках упущенного или утраченного, попытка восстановить таким образом жизненно важное равновесие. Пусть же наш путешественник пускается в плавание! Да, он свалился за борт, наглотался воды и, возможно, тонет, — но, как в старой легенде о Гильгамеше, который нырнул ко дну космического океана за водорослью бессмертия, где-то там, в морской пучине, кроется зеленый

росток его жизни. Так не станем лишать путника последней надежды: поможем ему пройти через это.

Итак, я могу определенно сказать, что поездка в Калифорнию стала для меня незабываемой. Беседы с доктором Перри и наши совместные выступления открыли передо мной совершенно новые горизонты. Этот опыт заставил меня задуматься над тем, как здорово было бы донести до страдающих современников материалы о мифах, над которыми я с более-менее академической научной строгостью и невероятным личным увлечением работал все эти годы, не имея ни малейшего представления о методе передачи этих знаний другим людям.

Доктор Перри и мистер Мерфи ознакомили меня со статьей «Шаманы и острая шизофрения», опубликованной в 1967 году в «Американском антропологе» доктором Джулианом Сильверманом из Национального института душевного здоровья. Там я снова нашел много интересного и непосредственно связанного с моими собственными исследованиями и взглядами. В своих работах я уже отмечал, что у примитивных охотничьих народов мифическая символика и ритуалы церемониальной жизни основаны, главным образом, на психологических переживаниях шаманов. Шаман — это человек (мужчина или женщина), который в юности перенес острый душевный кризис, который сегодня назвали бы психозом. Почувствовав неладное, родители обычно сразу посылают за старым шаманом, чтобы тот вылечил ребенка, и порой опытный практик при помощи песен и ритуалов добивается успеха. В своей статье доктор Сильверман отмечает, что «в первобытных культурах, где допускаются подобные исцеления, необычные переживания (шаманизм) чаще всего благоприятны для человека с познавательной и эмоциональной точки зрения; считается, что этот человек обрел расширенное сознание».

С другой стороны, в такой рациональной культуре, как наша, — или, вновь пользуясь определениями доктора Сильвермана,

«в культуре, которая не предлагает руководства по преодолению подобных кризисных переживаний, изначальные страдания личности (шизофреника) обычно лишь увеличиваются».

Теперь позвольте мне пересказать историю одного эскимосского шамана, с которым в начале 1920-х годов беседовал великий датский ученый и путешественник Кнуд Расмуссен. Расмуссен был человеком крайне чутким и понимающим, что делало его настоящим гением общения и позволяло находить общий язык со всеми, кого он встречал в арктической области Северной Америки на своем долгом пути от Гренландии до Аляски в ходе Пятой датской экспедиции по Крайнему Северу (1921–1924).

Игъюгаръюк был шаманом эскимосского племени карибу, обитающего в тундре на севере Канады. В юности его постоянно посещали непонятные сны, в которых с ним говорили странные неведомые существа. Просыпаясь, он помнил все так ярко, что мог в точности описать родным и друзьям, что ему снилось. Семья была встревожена, но поняла, что происходит, и вызвала старого шамана по имени Пеканаок, который очень быстро поставил диагноз. Старик усадил мальчика на узенькие сани, где тот едва умещался. Посреди зимы, непроницаемо темной и леденящей арктической ночью шаман отвез мальчика далеко в безлюдную белую пустыню и выстроил там для него крошечную снежную хижину, где едва хватало места, чтобы сидеть со скрещенными ногами. Шаман не позволил ребенку ступать на снег, перенес его в домик на руках и усадил на кусочек кожи. Ни воды, ни еды он не оставил и велел мальчику думать только о Великом Духе, который рано или поздно придет. Мальчик провел в одиночестве целый месяц. Через пять дней старик принес ему немного теплой воды. Снова он появился лишь спустя две недели — на этот раз не только с водой, но и с небольшим кусочком мяса. Стужа и голод были так ужасны, что Игъюгаръюк признавался Расмуссену: «Иногда я немножко умирал». И все это время он

думал, думал и думал о Великом Духе — до тех пор, пока в конце этого ужасного испытания перед ним не предстал дух-хранитель в облике женщины, которая, казалось, парила в воздухе. Больше он никогда ее не видел, но этот дух стал его помощником. После этого старый шаман вернул его домой, где мальчику пришлось держать пост еще пять месяцев. Как объяснил шаман своему гостю из Дании, частые голодания — лучший путь к постижению сокровенного. «Единственная настоящая мудрость, — сказал Игъюгаръюк, — живет далеко от людей, в полном одиночестве. Получить ее можно лишь через страдания. Только уединение и лишения открывают душу для того, что спрятано».

Другой влиятельный шаман, которого доктор Расмуссен встретил в Номе, на Аляске, рассказал о подобном погружении в безмолвие. Однако у этого старика, которого звали Наягнек, не все складывалось гладко в отношениях с жителями его деревни. Дело в том, что, как вы знаете, шаманы находятся в довольно рискованном положении. Когда что-то идет не так, люди склонны винить в этом местного шамана. Люди думают, будто шаманы занимаются колдовством. И этот старик, чтобы защитить себя, придумал несколько хитрых уловок и мифических «пугалок», внушающих соседям страх и ограждающих шамана от их нападок.

Доктор Расмуссен быстро сообразил, что «призраки» Наягнека были, по большей части, откровенной выдумкой, и спросил однажды, верит ли сам шаман в каких-то духов. Ответ был таким: «Да, есть существо, которое мы называем Сила. Его нельзя описать словами. Это очень сильный дух, опора Вселенной и погоды — вообще всей жизни на земле. Он такой могучий, что говорит с людьми не обычными словами, а языком штормов, снегопадов, ливней, морских ураганов — всех стихий, которых люди боятся. Но он может говорить и на языке Солнца, тихого моря или невинных детей, которые просто играют и еще ничего не понимают. В хорошие времена Силе нечего сказать людям.

Он прячется в бесконечном ничего и остается там, пока люди не делают ничего плохого и благодарны за свою пищу. Силу никто не видел. Его место пребывания столь таинственно, что может быть где-то тут, рядом, — и в то же время очень далеко».

О чем же говорит Сила?

«Он — жизнь и душа Вселенной, — объяснил Наягнек. — Его самого увидеть нельзя, можно только услышать его голос. Все знают, что голос у него нежный, как у женщины. Он такой прекрасный и ласковый, что не испугает и ребенка. А говорит он вот что: “Сила эрсинарсинивдлуге. Не бойся Вселенной”».

Речь идет об очень простых людях — во всяком случае, с точки зрения нашего уровня культуры, образования и цивилизованности в целом. Тем не менее их мудрость, почерпнутая из сокровенных глубин души, мало чем отличается от того, что мы слышали от самых почтенных мистиков. В словах шаманов чувствуется глубокая, общечеловеческая мудрость, которая нечасто встречается в привычном рациональном мышлении.

В своей статье о шаманизме доктор Сильверман выделил два принципиально разных вида шизофрении. Один он назвал «собственно шизофренией», а другой — «параноидальной шизофренией». Только в первом виде проявляется сходство с тем, что я именую «шаманским кризисом». При «собственно шизофрении» наблюдается отстраненность от восприятия внешнего мира. Сфера забот и внимания резко сужается, объективный мир отступает на задний план, и человека захлестывают вторгающиеся из бессознательного образы. С другой стороны, при «параноидальной шизофрении» больной остается внимательным и даже слишком чувствительным к окружающему миру и внешним событиям; при этом, однако, он истолковывает все вокруг с точки зрения собственных фантазий и страхов: его не оставляет ощущение нависшей опасности. Угроза, разумеется, исходит только изнутри, но больной переносит ее на окруже-

ние, воображая, будто весь мир настроен против него. Это, как утверждает доктор Сильверман, вовсе не та шизофрения, которая ведет к внутреннему опыту, который может быть аналогом шаманского. «Создается впечатление, — объясняет он, — что параноидальный шизофреник, будучи не в силах ни постичь, ни вынести жестокий кошмар своего внутреннего мира, поспешно переносит внимание на мир внешний. При этом типе неудавшегося разрешения внутреннего кризиса человек даже не пытается навести порядок у себя в душе либо просто не в состоянии это сделать». Душевнобольной, так сказать, пребывает в сфере проекций собственного бессознательного.

С другой стороны, первый тип психически больного пациента — поистине достойное жалости зрелище: он словно провалился в глубокую кишащую змеями яму. Все его внимание, все существование — где-то там, в битве не на жизнь, а на смерть с ужасающими призраками необузданных психических энергий — в подобной битве, кажется, участвует и потенциальный шаман в ходе своего визионерского путешествия. Возникает естественный вопрос: в чем разница между положением «собственно шизофреника» и погрузившегося в транс шамана? Ответ прост: шаман не отвергает локальный общественный строй и его формы. Вообще говоря, именно благодаря им он и возвращается назад, к рациональному сознанию. И после возвращения он чаще всего сознает, что внутренний, личный опыт подтверждает и укрепляет унаследованные шаманом социальные правила, поскольку символика индивидуальных сновидений совпадает с образным рядом всей его культуры. В противоположность этому, современный психотик испытывает коренной душевный надлом и полностью теряет эффективную связь с образным рядом своей культуры. Установившаяся система символов не оказывает никакой поддержки бедному и потерянному шизофренику, блуждающему среди страшных плодов собственного, но совершенно чуждого воображения, тогда как у первобытного шамана его внешняя и внутренняя жизнь пребывают в полном согласии.

Так вот, как я уже говорил — да вы и сами догадываетесь, — поездка в Калифорнию оказалась для меня чрезвычайно интересной. Когда я вернулся в Нью-Йорк (все происходило так, будто некий дух-помощник устраивал мои дела), ведущий психиатр нашего многострадального города, доктор Мортимер Остоу, пригласил меня принять участие в обсуждении доклада, который он собирался прочесть на собрании Общества подростковой психиатрии. Как выяснилось, доктор Остоу изучал подмеченные им общие черты, объединяющие «механизмы» (как сам Остоу их назвал) шизофрении, мистицизма, опыта употребления ЛСД и «антагонизма» современной молодежи — агрессивных антисоциальных настроений, которые в наше время все заметнее проявляются в поведении и поступках значительного количества обитателей студенческих городков и их наставников. Это приглашение тоже стало важным опытом, открывшим мне новую область, в которой могли пригодиться мои исследования мифологии и которая затрагивала меня лично как преподавателя.

На этот раз я понял, что погружение в себя под влиянием ЛСД можно сопоставить с собственно шизофренией, а молодежный «антагонизм» — с шизофренией параноидальной. Для многих подростков ощущение угрозы со стороны любого органа, который называют «Учреждением» (проще говоря, современной цивилизации), — вовсе не притворство и не напускная бравада, а подлинное состояние души. Разрыв отношений совершенно реален, и все, что молодежь губит и разрушает во внешнем мире, в действительности отражает ее внутренние страхи. Больше того, многие подростки даже неспособны общаться: любая их мысль настолько заряжена чувствами, что в рациональной речи не существует названия для такого явления. На удивление много молодых людей не в состоянии сформулировать простейшее повествовательное предложение; фраза то и дело прерывается бессмысленными и ненужными междометиями вроде «ну» или «типа», и в итоге отчаянное стремление достичь понимания

ограничивается языком жестов и переполненным эмоциями молчанием. Когда общаешься с ними, возникает впечатление, что находишься в настоящем сумасшедшем доме, только без стен. И лекарства от подобных недугов следует искать, вопреки утверждениям многих политиков и средств информации, не в области социологии, а в психиатрии.

Феномен ЛСД видится мне более интересным. Это намеренно вызываемая шизофрения, предполагающая быстрое возращение к прежнему состоянию, которое, однако, происходит не всегда. Йога тоже является умышленной шизофренией: человек отстраняется от мира и уходит в себя, а диапазон переживаемых при этом видений практически такой же, как при психозах. В чем же разница между психозом и употреблением ЛСД и йогическими или мистическими опытами? Все они ведут в одни и те же глубины моря души, в этом нет сомнений. Во многих случаях сходны и встречающиеся символические фигуры (о них мы поговорим чуть позже более подробно). И все же есть важное различие. Разница — говоря простым языком — такая же, как между опытными пловцами и теми, кто не умеет плавать. Мистик, который наделен врожденными талантами и шаг за шагом исполняет указания наставника, входит в воду постепенно и уверен в своих силах. А если в воду упадет или умышленно прыгнет шизофреник — неподготовленный, лишенный дара и не получивший нужных советов, — он начнет тонуть. Можно ли его спасти? Ухватится ли он за брошенную веревку?

Но давайте сначала спросим, что представляет собой водоем, где он барахтается. Как мы говорили ранее, перед нами тот же самый океан мистического опыта. Но тогда каков характер этого океана? Каковы свойства? Что нужно, чтобы научиться в нем плавать?

Это океан всеобщих мифологических архетипов. Изучая мифологию, я всю жизнь работаю с такими архетипами и могу утверждать, что они действительно существуют и одинаковы

во всем мире. Конечно, в разных традициях выглядят они немного по-разному — как, например, буддийские храмы, средневековые соборы, шумерские зиккураты и пирамиды майя. В каждом уголке мира образы божеств приобретают особые черты, зависящие от местных флоры и фауны, географии и расы. Мифы и обряды получают различные интерпретации и рациональные обоснования, подтверждающие и оберегающие обычаи местного общества. И все же архетипические, существенные формы и идеи остаются по сути своей одинаковыми, а иногда и поразительно похожими внешне. Но что это такое? Что они собой представляют?

Лучше всего понял, описал и объяснил их психолог Карл Юнг. Он назвал это явление «архетипами коллективного бессознательного» и соотнес с теми структурами психики, которые не порождаются личными переживаниями, а характерны для человечества в целом. По мнению Юнга, базовый слой психики состоит из проявлений системы инстинктов нашего вида, корни которых уходят в устройство человеческого тела, нервной системы и удивительного мозга. Все животные действуют инстинктивно. Поведение отдельных особей может отличаться в зависимости от обстоятельств, но каждый вид будет действовать так, как свойственно его природе. Сравните, например, насколько по-разному входят в комнату кошка и собака. Каждая особь подчиняется побуждениям, типичным для ее вида; в конечном счете именно такие особенности и задают образ ее жизни. Таким же образом действует и человек. У него есть как врожденная биология, так и личная биография — «архетипы бессознательного» отражают первую. Юнг отличает подавленные личные воспоминания, потрясения, разочарования, страхи детства, которым фрейдисты уделяют так много внимания, от остальных и именует их «индивидуальным бессознательным». «Коллективные архетипы» биологичны и характерны для всего нашего вида, а «индивидуальные» — биографичны, обусловлены социально и уникальны для каждого человека. Большая

часть сновидений и повседневных забот определяется, конечно, именно личной жизнью, но шизофрения заставляет погрузиться в «коллективное», и потому ее образы связаны в основном с мифическими архетипами.

Теперь о силе инстинкта. В одном из чудесных диснеевских фильмов о природе показывали, как морские черепахи откладывают яйца в песке, в тридцати футах от воды. Спустя какое-то время из песка выбирается множество крошечных новорожденных черепашек размером не больше пятицентовика, все без колебаний тут же направляются к морю. Никаких блужданий. Никаких проб и ошибок. Никто не колеблется: «Куда бы мне сначала пойти?» Все черепашки двинулись в верном направлении, ни одна не заползла в кусты и не металась по сторонам с мыслями: «Я достойна лучшего!» Нет, правда! Они направились прямо туда, куда и следовало. Их мать — мать-черепаха или мать-природа — прекрасно знала, что так случится. Тем временем стаи чаек уже крикливо делились друг с другом этой новостью и пикирующими бомбардировщиками носились над «пятицентовиками», пробирающимися к воде. Черепашки тоже прекрасно знали, что так оно и будет, и потому с такой скоростью перебирали своими крохотными ножками — которые, между прочим, уже умели отталкиваться от земли, и учить их этому было не нужно. Лапки черепашек сами знали, что им делать, а маленькие глаза понимали, что торопиться следует именно к тому месту, которое они перед собой видят. Благодаря такой превосходно отлаженной системе флотилия миниатюрных танкеров неуклюже, но быстро двигалась к морю. А потом... Честно говоря, глядя на этих малышей, я подумал, что большие океанские волны их, пожалуй, до смерти напугают. Но нет! Черепашки смело входили в воду — они уже умели плавать. И как только они оказались в воде, к ним тут же метнулась рыба. Жизнь жестока!

Когда люди вздыхают о возвращении к природе, сознают ли они, о чем мечтают?

Другой впечатляющий пример безошибочной правоты инстинкта. Речь снова пойдет о новорожденных — на этот раз о выводке только что вылупившихся цыплят (кое у кого из них на хвостике еще видны осколки скорлупы). Если над выводком пролетает ястреб, цыплята начнут быстро прятаться, а если голубь, ни один не шевельнется. Откуда им известна разница? Кто или, точнее, что заставляет их принимать решение, после того как различия определены? Ученые однажды проводили опыты: над выводком пролетал на проволоке деревянный муляж ястреба — и цыплята кидались прятаться. Но если имитация двигалась задом наперед, птенцы ничуть не волновались.

И готовность откликаться на особые возбудители, и отработанные схемы поведения в подобных случаях наследуются вместе с физиологией вида. Это неотъемлемая часть центральной нервной системы, называемая «врожденными высвобождающими механизмами» (ВВМ). Разумеется, такие механизмы есть и у вида Человек разумный.

Именно их называют инстинктами. Тем, кто по-прежнему сомневается в руководящей силе и мудрости чистого инстинкта, достаточно открыть любой учебник биологии и прочесть о жизненном цикле паразитов. Прочтешь, например, о возбудителе бешенства — и задашься вопросом о том, достоин ли человек становиться пристанищем для подобного чуда. Паразит точно знает, что делать, куда пойти и где именно нанести удар по нервной системе. Ему известно, как добраться до уязвимого места и превратить высшее, как принято считать, творение Божье в презренного раба, яростно стремящегося кого-то искусать, чтобы вирус попал в кровь очередной жертвы и, вновь добравшись до слюнных желез, продолжил свое существование.

Таким образом, у каждого человека есть встроенная система инстинктов, без которых он не смог бы даже родиться. С другой стороны, каждого из нас воспитывают в определенной культурной системе. Особенностью человека, отличающей его от всех

прочих представителей царства животных, является то, что он, как уже отмечалось ранее, рождается лет на двенадцать раньше срока. Конечно, никакая мать не пожелала бы, чтобы было иначе, и все же это причиняет немало хлопот. Человеческий детеныш лишен и самостоятельности новорожденных черепашек размером с пятицентовик, и разумности цыпленка с прилипшим к хвостику осколком скорлупы. Младенец Человека разумного совершенно не способен позаботиться о себе и обречен на двенадцать лет зависимости от родителей. За этот двенадцатилетний срок нас превращают в людей: мы учимся по-человечески ходить, говорить, мыслить и рассуждать в понятиях местного словаря. Нас учат откликаться положительно на одни сигналы и отрицательно — на другие, причем большая часть этих сигналов имеет искусственное происхождение и сформирована все тем же общественным укладом. Однако импульсы, ими вызываемые и управляемые, относятся к природе, биологии, инстинкту. Поэтому каждая мифология представляет собой упорядоченную совокупность культурно обусловленных знаков, в которых естественные и социальные ограничения так тесно переплетены, что часто отличить одно от другого попросту невозможно. Подобные «культурные» сигналы вызывают в нервной системе человека обусловленные обществом ВВМ — точно так же, как знаковые естественные раздражители возбуждают в животных заложенные природой рефлексы.

Я определил действенный мифологический символ как «знак, пробуждающий энергию и задающий ей направление». Доктор Перри называл те же сигналы «аффективными образами». Их сообщение адресуется не мозгу, чтобы он мог интерпретировать его и передать дальше, а непосредственно нервам, железам, крови и симпатической нервной системе. Однако эти сигналы все-таки проходят через мозг, и развитый ум может вмешаться, задержать их, исказить и, следовательно, уничтожить. В этом случае знаки действуют уже не так, как должны: унаследованная мифология искажается, а ее руководящее значение теряется или

истолковывается неверно. Хуже того, человека иногда приучают откликаться на ряд сигналов, которых не существует в общем окружении, как частенько случается, например, с детьми, воспитанными в узком кругу какой-нибудь секты, не разделяющей — а иногда даже презирающей и осуждающей — культурные формы остальной цивилизации. Такой человек никогда не почувствует себя как дома в обширной социальной сфере, ему всегда будет несколько некомфортно, и он начнет испытывать легкую паранойю. Соприкасаясь с общепринятыми правилами, он не видит в них соответствующего смысла, не ощущает должного волнения, не испытывает предполагаемого возбуждения. Напротив, его тянет вернуться к привычной и ограниченной — и, конечно же, ограничивающей — жизни секты, семьи, общины или резервации. Он дезориентирован и даже может стать опасным в более широкой социальной среде.

Мне кажется, что здесь вырисовывается важная проблема, которую должны ясно сознавать родители: малышам следует внушать сигналы, настраивающие на мир, где тем предстоит жить, а не отчуждающие от него, — если, конечно, семья не желает передать своим отпрыскам собственную паранойю. К счастью, рассудительные родители чаще мечтают воспитать и душевно, и физически здорового ребенка, приспособленного к настроениям своей культуры достаточно хорошо, чтобы уметь рационально и конструктивно осмыслять ценности общества и творчески обращаться с его прогрессивными, живительными и плодотворными составляющими.

Таким образом, критическая проблема человечества сводится к необходимости понять, что мифология — совокупность знаковых сигналов и аффективных образов, пробуждающих и направляющих энергию, передаваемая нашим потомкам, должна нести направляющие послания, которые помогут детям полностью влиться в среду, где им суждено жить. Эта мифология должна принадлежать сегодняшнему дню, а не далекому прошлому,

вожделенному будущему либо, хуже всего, какой-нибудь вечно недовольной странной секте с ее сиюминутными капризами. Я называю эту проблему важной, потому что пренебрежение ею заводит пострадавшего в те земли, которые в мифологии именуются «бесплодными». Мир не может объясниться с этим человеком, а он, несчастный, не умеет говорить с миром: когда между ними — пропасть, личность идет прямиком к психотическому срыву, который превратит ее либо в собственно шизофреника, запертого в обитой войлоком палате, либо в параноика, выкрикивающего свои призывы на воле, в сумасшедшем доме без стен.

Прежде чем перейти к описанию общего развития, или истории такого срыва — назовем это «путешествием в себя», погружением и возвращением, — я хотел бы сказать еще пару слов о функциях, обычно исполняемых нормально действующей мифологией. По моему мнению, их четыре.

Первую я называю мистической: эта функция заключается в том, чтобы пробудить и поддержать в каждой личности чувство благодарности и благоговения по отношению к загадочной природе Вселенной. Речь не о том, чтобы человек жил в страхе; напротив, человеку следует ощущать себя частицей этой тайны, ведь загадка всеобщего бытия кроется в глубинах его души. Именно это услышал старый знахарь с Аляски, когда Сила, душа Вселенной, сказала ему: «Не бойся!» Мы уже убедились, что жизнь, по нашим смертным меркам, тяжела. Она жестока, ужасна, чудовищна. К таким выводам приходит и рассудок, а экзистенциалисты-французы в подобных случаях восклицают: «Абсурд!» (Занятно то, что французы настолько заворожены Декартом, что считают абсурдом любое явление, не вмещающееся в прямоугольную систему координат. Кто или что, спрашивается, абсурдно, если «суждения» такого рода претендуют на статус философии?)

Вторая функция живой мифологии — это описывать картину Вселенной согласно научным познаниям эпохи и среды обитания народа. В наши дни все крупные религии предлагают схемы мироздания, которым по меньшей мере две тысячи лет, чего уже более чем достаточно для очень серьезного отрыва от действительности. Несомненно, именно этим прежде всего объясняется, почему в нашу эпоху отчаянных религиозных исканий церкви теряют прихожан. Беда в том, что они предлагают пастве найти успокоение в никогда не существовавшей прежде, невозможной в будущем и уж точно не наблюдаемой теперь панораме мироустройства. Такие мифологические предложения являют собой отличную пилюлю для вызывания шизофрении — по крайней мере, легкой ее формы.

Третья функция действенной мифологии — подтверждать, поддерживать и внушать нормы определенного морального уклада, а именно нравственные принципы того общества, где предстоит провести жизнь человеку.

Четвертая функция заключается в том, чтобы помочь личности шаг за шагом, сохраняя здоровье, силу и гармонию духа, пройти весь обозримый путь наполненной смыслом жизни.

Теперь я кратко освещу последовательность этих стадий.

Первым, конечно, является детство, когда ребенок в течение двенадцати лет физически и психологически зависит от родителей, их наставлений и заботы. Как уже отмечалось в третьей главе, наиболее очевидной биологической аналогией является жизнь сумчатых — кенгуру, опоссумов и других. Они вынашивают плод без плаценты, и потому зародыш не может оставаться в утробе матери после того, как исчерпаны питательные запасы яйца (желток). Таким образом, детеныши должны родиться задолго до того, как будут готовы к самостоятельной жизни. Кенгуренок появляется на свет всего через три недели после зачатия, но уже

имеет достаточно сильные передние лапки и точно знает, как передвигаться. Крохотное существо, ведомое инстинктом, ползет по животу матери к сумке, забирается внутрь, цепко впивается (также инстинктивно) в набухший сосок и остается во второй матке с хорошим видом на окружающий мир до тех пор, пока не будет готов выпрыгнуть наружу.

Похожую биологическую функцию выполняет для нашего вида мифология — своего рода естественный орган, столь же необходимый для жизнедеятельности, но имеющий очевидно иную природу. Как и птичье гнездо, мифология сложена из материалов, собранных неподалеку, на первый взгляд осознанно, но в полном соответствии с архитектурой, почерпнутой из подсознательных глубин. Не имеет значения, останутся ли ее нежные, умиротворяющие и руководящие образы полезными для взрослого. Она не предназначена для зрелой личности. Ее главная задача — взрастить неопытную душу, подготовить ее к встрече с внешним миром. Таким образом, уместным является лишь один вопрос: к чему будет приспособлен воспитанный на ней человек — к жизни в реальном мире или в каком-то раю, воображаемой социальной среде? Соответственно, следующей функцией мифологии является помощь подготовленному потомству в том, чтобы выбраться наружу, покинуть миф, эту вторую матку, и стать, как говорят на Востоке, «дважды рожденным», то есть полноправным взрослым человеком, который оставил детскую позади.

А теперь можно сказать еще одну гадость в адрес наших религиозных институтов: они настаивают как раз на том, чтобы человек никогда не покидал их утробы. Это то же самое, что заставлять кенгуренка вечно сидеть в материнской сумке! Всем нам хорошо известно, что произошло в результате в XVI веке: сумка матери-церкви лопнула по швам, и вся королевская конница, вся королевская рать были не в состоянии собрать ее лоскутки.

И теперь, когда она уничтожена, у нас больше нет подходящей сумки даже для самых крошечных кенгурят. Мы, конечно, попытались заменить ее полиэтиленовым пакетом с надписью «Чтение, письмо и арифметика» — своего рода неорганическим инкубатором, где можно просидеть лет до сорока пяти, пока не получишь степень доктора философии. Я заметил (а вы?), что при выступлениях по телевизору эти профессора, выслушав вопрос, начинают так бубнить, мычать и хмыкать, что поневоле задумываешься: что это — признаки какого-то душевного кризиса или просто неспособность передать тонкую мысль словами? С другой стороны, когда профессиональному футболисту или бейсболисту задают сложный вопрос, он отвечает изящно и легко. Он-то выбрался из утробы уже годам к девятнадцати, поэтому и стал лучшим игроком на нашем пустыре. А первого беднягу до преклонных лет держали под профессорским навесом, и теперь, несмотря на выстраданную ученую степень, ему уже слишком поздно развивать в себе то качество, которое раньше называлось уверенностью в себе. На ВВМ таких людей навеки останется отпечаток профессорства, и они, несчастные, до сих пор боятся, что им за ответ поставят плохую оценку.

Итак, стоит заполучить настоящую, взрослую работу и занять свое место в обществе, как тут же начинаешь ощущать тяжесть годов, а на горизонте уже маячит пенсия — и не просто маячит, а спешит навстречу со всеми своими медицинскими страховками и выплатами по старости. А у вас — ваша собственная бесприютная душа, груз того, что Юнг назвал «ненужным либидо». Что с ним делать? Наступает классический кризис среднего возраста с нервными срывами, разводами, алкоголизмом и так далее: неподготовленный огонек жизни чахнет и тонет в пучинах бессознательного, а вместе с ним и вы. Эх, если бы в младенчестве вам основательнее внушили соответствующие детские мифы, то ко времени этого движения вспять и вниз окружающий пейзаж был бы хоть немножко знакомым! По крайней мере, вы припомнили бы имена некоторых чудовищ из глубин, а может,

и нашли бы оружие против них. Факт простой, но очень важный: мифологические образы, воспринимаемые в детстве как отсылки к внешним сверхъестественным явлениям, на самом деле являются символами структурирующих сил (или, как назвал их Юнг, «архетипами») бессознательного. Именно к ним и олицетворяемым ими силам природы — доносящимся изнутри голосам души (Силы) Вселенной — возвращается человек в этом неминуемом, как сама смерть, погружении.

Учитывая предстоящее нам испытание, попробуем заранее ознакомиться с приливами и течениями внутреннего моря. Позвольте рассказать вам кое-что о чудесах шизофренического погружения в себя, о которых я сам не так давно услышал.

Сначала ощущается раскол. Мир будто делится надвое: одна часть отдаляется, а сам человек остается на другой стороне. Это начало обратного движения, расщепления, ухода. Человек может видеть себя сразу в двух ролях. Первая — маска клоуна, призрака, ведьмы, чудака или чужака. Это его внешняя роль; он словно валяет дурака, издевается над самим собой, разыгрывает простофилю или чокнутого. Однако в душе он — спаситель, и сам прекрасно это знает. Он — герой, избранный для особой миссии.

Недавно я был удостоен чести целых три раза встретиться с одним таким спасителем — высоким и красивым молодым человеком с бородкой, нежным взглядом и манерами Христа; главными его таинствами были ЛСД и секс. «Я видел своего Отца, — открыл он мне тайну во время второй встречи. — Он уже стар и велел мне подождать совсем чуть-чуть. Я буду знать, когда придет срок занять Его место».

Вторая стадия описана во многих клинических исследованиях. Это полная деградация, возвращение вспять во времени (в том числе и биологически). Проваливаясь в собственное прошлое, психотик становится младенцем, зародышем в матке. Его пере-

полняют устрашающие переживания возврата к облику и сознанию животного, а иногда даже чему-то более низкому, растительному. Вспоминается легенда о Дафне — нимфе, превращенной в лавровое дерево. С психологической точки зрения это и есть образ психоза. Бог Аполлон слишком настойчиво добивался любви нимфы, поэтому девушка испугалась и позвала на помощь отца, бога рек Пенея, а тот обратил ее в дерево.

«Покажи мне лицо, которое было у тебя, когда твои мать и отец еще не родились». Эти слова уже упоминались в качестве любимой темы для медитации японских дзэн-мастеров. В ходе шизофренического регресса психически больной тоже может постичь восторг единения со всей Вселенной, выхода за пределы собственной личности, «океанического чувства», как называл его Фрейд. Эти ощущения вызваны, кстати, новыми познаниями: то, что казалось прежде таинственным, теперь является абсолютно понятным. Приходят совершенно невыразимые прозрения; читая о них, остается только удивляться. Я прочел десятки подобных рассказов, и все они удивительно согласуются с озарениями мистиков, образами из мифов индуизма, буддизма, Древнего Египта и Античности.

Например, человек, который прежде не просто не верил в перевоплощения, но даже не слышал о них, вдруг ощущает, что он вечен: прожил множество жизней, но еще не рождался и никогда не умрет. Такое впечатление, будто он и вправду постиг себя как «Я», как атмана, о котором в «Бхагавадгите» сказано:

> Никогда не рождается он (дух), не умирает;
> Будущий, вечный, постоянный и первобытный,
> Он никогда не будет мертв, даже если тело мертво.

Больной (давайте сейчас называть его так) соединил остатки своего сознания с сознанием камней, деревьев и целого мира природы, откуда все мы приходим. Он смирился с тем, что в самом

деле существует вечно (как, на глубочайшем уровне, и все мы), и обрел покой; как говорится в той же «Бхагавадгите»:

> Кто в беде не колеблется сердцем, кто угасил жажду счастья,
> Отрешенный от страсти, страха и гнева, стойкий духом, —
> называется муки. Кто ни к чему не стремится,
> с приятным и неприятным встречаясь,
> Не ненавидит и не вожделеет, стойко того сознанье.
> Как черепаха вбирает члены, так он отвлекает все чувства
> от их предметов, стойко его сознанье.

Короче говоря, друзья мои, я выяснил, что наш пациент-шизофреник и в самом деле случайно погрузился в тот самый чудесный и глубокий океан, к которому тянутся йоги и святые. Разница только в одном: они в нем плавают, а шизофреник тонет.

Вслед за этим, согласно некоторому количеству свидетельств, приходит предчувствие грядущего тяжелейшего подвига, во имя которого придется преодолеть множество опасностей; одновременно ощущается присутствие незримых помощников, указующих путь и дающих полезные советы. Это боги, ангелы или демоны-хранители — врожденные силы психики, способные дать бой мучительным, ненасытным и разрушительным отрицательным силам и победить их. И если человеку хватит мужества идти вперед, наконец, к невероятному восторгу, наступит кульминация — или даже целый ряд таких всплесков.

Эти кризисы можно разделить на четыре основных типа, которые определяются согласно видам трудностей, вызвавших в свое время движение вспять. Например, если человек в детстве был лишен искренней любви и заботы и вырос в атмосфере власти, строгости, суровости, жестких приказов или в доме, где нет конца шуму, гневу, злобе, пьяным дебошам отца и так далее, — в своем путешествии вспять он будет искать новые ориентиры и попытается сделать любовь основой своей жизни. Соответствен-

но, кульминацией этих исканий (после того, как он вернется к истокам своей биографии или даже еще дальше, к ощущению первой эротической тяги к жизни) станет открытие в глубине собственной души нежности и любви, где можно будет наконец отдохнуть. Это и было целью и смыслом всего путешествия, а завершением его окажется переживание в том или ином виде воображаемого «священного союза» с олицетворением жены и матери (или просто матери).

Или еще пример: если дома отец был никем, пустым местом, безвольным, то есть больной никогда не ощущал отеческой власти, не видел образца мужественности, который можно было бы уважать, если он вырос среди суеты домашнего быта и беспорядочных женских хлопот, целью поисков станет достойный образ отца — символическое достижение сверхъестественного идеала отношений дочери или сына с отцом.

Третий типичный вид эмоциональных лишений возникает в тех случаях, когда ребенок чувствует себя исключенным из семейного круга, ощущает свою ненужность или вообще растет без семьи. Это происходит, например, когда один из родителей вступает в брак повторно и в жизнь ребенка вторгается новая семья. Его действительно могут исключить из сферы общения, оттолкнуть на задний план. На этом основаны старинные сказки о злой мачехе и сводных сестрах. В своем одиноком путешествии вспять такой изгнанник будет искать или создаст место, где он сам может стать центром — уже не просто в семье, а во всем мире.

Доктор Перри рассказывал мне о случае с пациентом, который был настолько отрешен от происходящего вокруг, что никто не мог установить с ним хоть какой-то контакт. Но однажды бедный молчун нарисовал в присутствии доктора неровный круг и поставил в середине точку. Доктор Перри, наклонившись над рисунком, сказал: «Это ведь вы в центре, правда? Да, это вы!» Именно эти слова послужили толчком к «возвращению» пациента.

В предпоследней главе книги доктора Р. Д. Лэинга «Политика переживаний» приводится невероятно захватывающий отчет от первого лица о шизофреническом срыве. Он принадлежит бывшему капитану Британского флота, а ныне скульптору и повествует о его собственном шизофреническом путешествии, кульминацией которого стало прозрение четвертого вида: ощущение ярчайшего света, ужасающе грозного, подавляющего и нестерпимо яркого сияния. Оно поразительно напоминает описанный в «Тибетской Книге мертвых» свет Будды, который, как предполагается, душа видит сразу после смерти; если человек смог вынести это сияние, что мало кому удается, он обретает свободу от перерождений. Отставной офицер Британского флота, тридцативосьмилетний мистер Джесси Уоткинс ничего не знал о восточных философиях и мифологиях, но в конце десятидневного путешествия образный ряд его видений почти не отличался от индуистского и буддийского поверий.

Все началось с тревожного ощущения времени, бегущего вспять. В этот момент джентльмен сидел у себя гостиной и слушал популярные песенки по радио. Он встал и подошел к зеркалу: хотя отражение в нем было знакомым, лицо казалось каким-то чужим. В больнице его уложили в постель, и той же ночью он почувствовал, что как будто уже умер и его соседи по палате тоже умерли. Обратный ход времени продолжался, и он очутился среди дикого пейзажа, где блуждал в зверином облике носорога — всхрапывал и боялся, но в то же время был свирепым и готовым к схватке. Кроме того, Уоткинс чувствовал себя младенцем и слышал, что плачет, как ребенок. Он был одновременно и наблюдающим, и объектом наблюдения.

Когда ему дали почитать газету, он не смог продвинуться дальше заголовков, потому что каждый из них порождал невероятные ассоциации. Письмо от жены вызвало чувство, будто она живет в другом мире, куда он уже никогда не вернется. У него появилось ощущение, что в месте, где он сейчас находится, ему доступны

скрытые в каждом из нас силы. Например, он не позволил санитарам позаботиться о случайно порезанном пальце и вылечил ранку за один день, как он сам объяснил, «сосредоточенным вниманием». Помимо того, он обнаружил, что силой пристального взгляда способен заставить лечь и успокоиться шумных соседей по палате. Пациент чувствовал, что представляет собой нечто большее, чем предполагал ранее; что живет вечно, во всем живом, а теперь просто заново это постиг. Но при этом он знал, что ему суждено совершить долгое и ужасное путешествие, и само это предчувствие вызывало у него глубокий страх.

Эти новообретенные силы, дарующие власть над собой и другими, в Индии называют *сиддхи*. Там они считаются естественными силами, которыми владеет каждый (так же думал и наш больной, представитель Запада), которые присущи всему живому и проявляются у всех йогов. Нечто похожее есть и в христианском учении: «исцеление верой», молитвы за исцеление больных и так далее. Чудеса, совершаемые шаманами, святыми и спасителями, являются широко известными примерами подобного. Что касается чувства единения со всем живым и превращения в зверя, то это тоже не новость. Послушаем, например, песню легендарного поэта-вождя Амергина, спетую им, когда головное кельтское судно причалило к берегам Ирландии:

Я — ветер в море,
Я — глубокие волны,
Я — бык семи сражений,
Я — орел на скале,
Я — капля росы,
Я — самый справедливый,
Я — могучий вепрь,
Я — лосось в воде,
Я — озеро в долине,
Я — слово Божье,
Я — возглавляю войско,
Я — бог пылающей в голове мысли.

Таким образом, переживая воображаемые события того десятидневного внутреннего путешествия, мы вновь ступаем на хорошо известную мифологическую почву, какой бы непривычной и переменчивой она ни казалась. И эти удивительные повороты, хотя и странные, но знакомые.

Странник говорит, что его переполнило «особенно острое ощущение» того, что видимый им сейчас мир расположен на трех уровнях; сам он пребывает в срединной его сфере, над ним находится план высших озарений, а внизу — своего рода зал ожидания. Сравним эту картину с образом Космоса в Библии: вверху Бог, ниже — земля, а под землей — воды. Можно вспомнить и «Божественную комедию» Данте, индийские или майянские храмы-башни, шумерские зиккураты. Где-то внизу — адские мучения, наверху — светлые Небеса, а посредине — гора, по которой души шаг за шагом восходят к высшим стадиям духовного развития. По словам Джесси Уоткинса, большинство из нас пребывает на самом низшем уровне, ожидая (Годо, как можно было бы сказать) в своеобразной приемной, не подозревая пока даже о существовании срединной комнаты борьбы и исканий, куда прибыл наш рассказчик. Над головой, неподалеку, повсюду вокруг он ощущает присутствие невидимых богов, властвующих над устройством и видоизменением мира, а где-то на самом верху вершит свою высочайшую работу главный бог.

Но самым ужасным было сознание того, что рано или поздно каждому придется заняться делом на самой вершине. Вокруг него — настоящий сумасшедший дом, чьи обитатели, как и он сам, уже умирали и пребывали на промежуточной, очистительной стадии «как бы пробуждения» (нам остается вспомнить, что слово «будда» означает «пробужденный»). Окружавшие Уоткинса бессрочные обитатели сумасшедшего дома своими путями шли — пробуждались! — к тому, чтобы в свое время занять высшее положение там, где ныне восседал Бог. Бог был безумцем. Он был тем, кто терпел «чудовищное бремя», как выражался Уоткинс,

«обязывающее все сознавать, за всем приглядывать и все приводить в движение». В завершение он говорит: «Путешествие неминуемо, каждому из нас придется отправиться в путь. От этого не отвертеться. Цель всего вокруг, смысл бытия — в том, чтобы дать нам необходимое для очередного шага, и для следующего, и следующего — и так далее...»

Разве не удивительно встретить такой широкий ряд восточных сюжетов в судовом журнале отставного британского моряка, пустившегося в одиночное плавание по ночному морю, — а попросту говоря, свихнувшегося? Точно такое же окончание пути описано в раннебуддийской притче об искателях сокровищ, которая сохранилась в известном индийском сборнике «Панчатантра». Это рассказ о четырех друзьях-брахманах, которые, потеряв свои состояния, отправились вместе на поиски богатства и встретили в стране Аванти (там, где когда-то жил и учил Будда) чародея по имени Ужас-Радость. Когда брахманы поведали ему свою печальную историю и попросили помощи, этот могущественный колдун подарил каждому волшебный светильник и велел идти к северным склонам Гималаев: где светильник упадет, там, по его заверениям, непременно найдутся сокровища.

Первым упал светильник старшего из друзей, и он увидел, что почва в том месте была чистой медью.

— Смотрите! — воскликнул он. — Берите, что хотите!

Но остальные предпочли идти дальше, так что старший сам собрал всю медь и отправился домой. Там, куда упал светильник второго, земля была покрыта серебром, и он тоже остался копать. Третий брахман нашел золото.

— Разве ты сам не видишь? — сказал ему четвертый. — Сначала медь, потом серебро и золото. Следующими будут драгоценные камни!

Но третий брахман удовольствовался своим золотом, так что четвертый двинулся дальше один.

И вот что с ним случилось.

Его опаляли раскаленные лучи солнца, мысли путались от нестерпимой жажды. Он брел то в одну сторону, то в другую. Наконец, он увидел на холме человека, который обливался кровью, а на голове у него вращалось колесо. Подбежав к нему, брахман спросил:

— Господин, почему вы здесь стоите и почему на голове у вас крутится колесо? И еще скажите мне, где тут можно найти воды. Я с ума схожу от жажды.

Как только он это произнес, как колесо сразу же перескочило с головы незнакомца на голову молодого брахмана.

— Что это? — удивился он.

— Когда-то это колесо таким же образом перескочило на мою голову, — ответил незнакомец.

— Но как мне от него избавиться? — поинтересовался брахман. — Оно причиняет мне сильную боль.

— Ты избавишься от него только после того, как к тебе подойдет какой-нибудь путник со светильней, озаряющей путь к жизненному успеху, и задаст тот же вопрос, с каким ты обратился ко мне, — сказал незнакомец.

— Сколько же времени ты так простоял? — спросил брахман.

— А кто ныне царствует в стране?

— Царь Винабатса.

— Рама был царем, когда я бедствовал, — вымолвил незнакомец. — Тогда я явился сюда со светильней, точно так же, как и вы.

Я увидел другого человека с колесом на голове и задал ему такой же вопрос. Так колесо оказалось на моей голове. Но сколько столетий назад это было, я не могу подсчитать.

Тогда брахман спросил его:

— Скажите, ради бога, как же вы ели и пили, стоя здесь с колесом на голове?

— Властитель богатств, опасаясь, как бы кто-нибудь их не похитил, вселяет страх во всякого, кто сюда забредет, даже в сиддхов. Если же кто-нибудь все-таки доберется до этих мест, то освобождается от жажды и голода, от старости и смерти, сохранив только способность испытывать боль. Поэтому позвольте мне теперь сказать вам спасибо. Вы избавили меня от тяжелых мук. Я ухожу домой.

И он ушел.

Старинная притча призвана предостеречь от чрезмерной алчности, однако в более ранней форме была махаянским преданием о пути бодхисаттвы, где непосредственный вопрос духовного искателя указывал на бескорыстное совершенство его сострадания. Вспоминается искалеченный король из средневековой христианской легенды о Святом Граале: если бы простодушный рыцарь спросил хозяина о его недуге, король тут же выздоровел бы, а сам гость получил королевский титул. Колесо очень напоминает терновый венец на голове распятого Христа; всплывает в памяти и множество других персонажей: Прометей на кавказской скале и орел, клюющий его печень, или Локи, пригвожденный к утесу, по голове которого стекает огненный яд мирового змея; или сам сатана, каким увидел его Данте, в центре Земли, на самой оси — там же, где обитал его прообраз, греческий Аид (римский Плутон), царь подземного мира и богатства (чудесное совпадение из тех, с какими нередко сталкиваешься, сравнивая

мифические образы!), близнец индийского бога земли Куберы, того самого хозяина сокровищ и вращающегося колеса, причиняющего мучительную боль, о котором рассказывалось в старинной притче.

Для нашего рассказчика — шизофреника роль безумного, ужасно страдающего бога на самой вершине Вселенной была слишком тяжела. Да и кто, спрашивается, добровольно решится принять на себя беспредельность переживаний этой жизни — и этой Вселенной — во всей полноте ее устрашающего восторга?

Такой, вероятно, и должна быть окончательная проверка совершенства сострадания: в состоянии ли человек безоговорочно принять этот мир, стерпеть эту ужасающую радость и безумно желать подобного счастья всему живому? Так или иначе, даже сумасшедший Джесси Уоткинс понял, что с него хватит.

«Время от времени переживания казались такими опустошающими, — признавался он позже, оценивая свое путешествие в целом, — что сейчас мне страшно было бы испытать их снова... Я внезапно столкнулся с чем-то настолько огромным, большим, чем я, — столько чувств, столько знаний, что просто не выдерживаешь... Испытываешь это всего лишь пару мгновений, но при этом кажется, что на тебя обрушился ослепительно яркий свет или сильнейший порыв ветра, а ты слишком беззащитен и одинок, чтобы противостоять ему».

Однажды он решил больше не принимать успокоительных и любой ценой прийти в себя. Он присел на краю кровати, крепко сцепил руки и начал повторять собственное имя. Он продолжал повторять его снова и снова до тех пор, пока не понял вдруг — а подобное всегда происходит внезапно, — что совершенно здоров. Так оно и было: переживания прекратились, он опять был в своем уме.

Думаю, мы можем утверждать, что именно это и есть ключ ко всему путешествию, если только человеку суждено вернуться назад. Вот он, главный секрет: *не отождествлять себя ни с одной из воспринимаемых сил или образов.*

Индийский бог, стремящийся к свободе, отождествляет себя со Светом и уже никогда не возвращается. Но те, кому еще хочется жить и помогать другим, никогда не позволят себе убежать отсюда навсегда. Конечной целью поисков, предполагающих возвращение, является не освобождение или блаженство для себя одного, а мудрость и сила во благо всем вокруг. И у нас, на Западе, есть подобная повесть о человеке, совершившем путешествие туда и обратно, *десятилетнее* плавание гомеровского Одиссея. Подобно британскому моряку Уоткинсу, он был воином, который после долгих битв вернулся к семье, что потребовало радикального смещения его психологического настроения и центра.

Все мы отлично знаем чудесную историю о том, как, подняв паруса своих двенадцати кораблей, Одиссей направился от завоеванной Трои во фракийский порт Исмар, разрушил город, убил всех его жителей и, как сам он позже рассказывал, «забрал их жен и всяких сокровищ награбивши много», распределил добычу среди своих людей. Очевидно, что такой зверь, совершенно не готовый к мирной жизни, должен был целиком изменить свой нрав. И боги, всегда чуткие к таким вещам, сочли необходимым устроить Одиссею хорошую передрягу.

Для начала Зевс наслал бурю, которая в клочья изорвала паруса кораблей Одиссея. Спустя девять дней беспомощные суденышки прибило к берегам земли «поедателей лотосов», страны галлюциногенного наркотика, отнимающего память. Там Одиссей и его одурманенные — как Уоткинс в психбольнице — товарищи плавали по морю сновидений. Затем последовал ряд мифологических приключений, в ходе которых путешественники столкнулись с невероятными испытаниями.

После первого из них, встречи с циклопами и бегства из ужасной пещеры, которое дорого обошлось команде, последовал краткосрочный подъем: паруса наполнились ветрами Эола. Затем, однако, наступил ужасный штиль, и морякам всех двенадцати судов пришлось до изнурения грести веслами. Так они добрались до острова лестригонов; эти людоеды пустили одиннадцать кораблей на дно, и могучий Одиссей, столкнувшийся с силами, которые были ему не по зубам, сбежал с испуганными спутниками на последней лодке. В море по-прежнему царил штиль, они отчаянно гребли и едва заметили полоску суши, где впоследствии суждено было развернуться главным событиям всего путешествия: остров белокурой нимфы Цирцеи, превращающей мужчин в свиней.

С такой женщиной наш изрядно присмиревший герой уже не мог по-хамски дать себе волю: она явно превосходила его силой. К счастью для прославленного героя, очень вовремя появившийся таинственный бог Гермес, хранитель и проводник перерождающихся после смерти душ, успел помочь Одиссею и советом, и чарами. Вместо того чтобы превратиться в свинью, великий мореплаватель попадает — благодаря Гермесу — на ложе Цирцеи, и нимфа отправляет его в подземный мир, где скитаются тени предков. Там Одиссей встречает слепого мудреца-прорицателя Тиресия, в котором объединены мужские и женские познания. Изучив все, что только удалось узнать, Одиссей уже совсем иным возвращается к прежде опасной нимфе, которая становится теперь его наставником и проводником.

Цирцея направляет Одиссея на остров Гелиоса, своего отца, но там, вблизи источника всемирного света, разбивается о скалы последнее судно, команда гибнет, и непреодолимые течения относят выброшенного в море одинокого Одиссея назад к повседневной обычной жизни и земной жене Пенелопе... если не считать восьмилетней остановки у женственной нимфы средних лет по имени Калипсо и еще одной, более краткой, задержки на острове

прекрасной Навсикаи и ее отца. Оттуда погруженный в глубокий сон путешественник — уже полностью подготовленный к предстоящей роли заботливого супруга и отца — по ночному морю добирается наконец до родных берегов.

Примечательная особенность этой великой эпопеи о внутренних скитаниях среди ночных вод заключается в том, что странник нигде не желает остаться навсегда. В стране «поедателей лотосов» спутники Одиссея, отведав вкуснейших блюд, перестали мечтать о доме, но Одиссей силой усадил их, плачущих, на суда, привязал к скамьям и умчался прочь. Даже во время идиллического пребывания на острове Калипсо Одиссей часто выходил один на берег и тоскливо глядел на море, в сторону родины.

Джесси Уоткинсу в конечном счете тоже удалось отделить себя, человека со своей ролью в мире, от душевнобольного в психиатрической клинике. Поворотным моментом в путешествии его античного прообраза было крушение последнего корабля у берегов острова Солнца — в путешествии современного моряка переломным переживанием, отмечающим дальний предел путешествия, тоже стало зрелище ослепительного света.

Джесси Уоткинс, столкнувшись с ним, понял, что является не только перепуганным безумцем на грани гибели, но и нормальным человеком, каким был недавно, дома, до своего психического ухода от обычной жизни. Мы уже знаем, что спасение пришло, когда он сидел (как мы помним) на краю постели, сцепив пальцы и повторяя привычное, земное имя своей личности — пока не вернулся к ней, словно ныряльщик, вынырнувший на поверхность моря.

Самым распространенным и вполне соответствующим мифологическим образом, символизирующим такое возвращение к жизни, остается понятие «возрождения», появления на свет в новом мире. Именно этот символ пришел на ум исцелившему самого себя человеку сразу после неожиданного выздоровления:

«Я внезапно почувствовал вдруг, что все вокруг намного реальнее, чем казалось прежде. Трава зеленее, солнце ярче, а люди более живые, чем раньше. Я стал различать плохое и хорошее, и все стало гораздо отчетливее. Я стал замечать больше».

«Навряд ли, — добавляет доктор Лэинг, комментируя рассказ Уоткинса, — нужно лечить человека от подобных путешествий. Может быть, они — это способ разума исцелить себя от помешательства, которое мы зовем нормальностью?»

Практически к такому же выводу пришли доктор Перри и доктор Сильверман в упоминавшихся ранее статьях. А совсем недавно я узнал, что эта идея уже была выдвинута в 1902 году Карлом Юнгом в его работе «О психологии и патологии так называемых оккультных явлений».

В итоге: внутренние путешествия мифологического героя, шамана, мистика и шизофреника являются, по сути, одним и тем же. Возвращение или выздоровление воспринимается при этом как возрождение — появление, так сказать, «дважды рожденной» личности, уже не скованной горизонтами повседневности. Как известно, это и есть отражение более глобального «Я», функция которого — перенести энергию архетипической системы инстинктов в продуктивную деятельность и дневную жизнь, которая протекает в данный момент, в пространстве и времени, в обыденной жизни. Человек уже не боится ни природы, ни ее такого же чудовищного детища — общества, которое не может быть менее ужасным, иначе людям просто не выжить. Обновленная личность пребывает в согласии и гармонии с окружающей действительностью, вернувшиеся из такого путешествия рассказывают, что жизнь их стала богаче, здоровее и радостнее.

Главная проблема, судя по всему, заключается в том, как пройти этот путь — возможно, не один раз — без кораблекрушения. И спасение вовсе не в том, чтобы просто не позволять человеку сходить с ума. Возможно, полезнее заранее рассказать ему хоть

немного о том, куда он попадет и какие силы там встретит, — дать своеобразную волшебную формулировку, позволяющую распознать, подчинить и использовать эти энергии. Зигфрид, одолев Фафнира, делает глоток крови дракона и моментально замечает, к своему удивлению, что начал понимать язык природы — как собственной, так и внешней. При этом он вовсе не становится драконом, хотя, конечно, его силы достались Зигфриду от дракона. Впрочем, Зигфрид теряет эти силы, как только возвращается в обычный человеческий мир.

Путешествие всегда таит в себе угрозу того, что в психологии называют «разбуханием»; именно оно нередко овладевает психически больным. Субъект начинает считать себя объектом, отождествляет наблюдателя с наблюдаемым. Ловкость заключается в том, чтобы сознавать объект, не теряясь в нем, и понять, что каждый человек может помочь друзьям и врагам, стать для них своеобразным спасителем, но не Мессией. Мы можем быть отцами и матерями, но никак не Богиней Матерью или Великим Отцом. Когда подрастающая девочка, заметив эффект, который производит ее расцветающая женственность на других, начинает превозноситься над всеми и приписывать этот эффект своей несравненной личности, это уже легкий сдвиг. Она неправильно идентифицировала себя. Причиной восторга окружающих является не ее юное Эго, а чудесное преображение тела, в котором оно живет. Существует японская пословица о пяти стадиях человеческого развития: «В десять — животное, в двадцать — безумец, в тридцать — неудачник, в сорок — мошенник, в пятьдесят — преступник». Я бы добавил, что в шестьдесят, когда все перечисленное уже позади, человек начинает давать советы друзьям, а в семьдесят, когда ему становится ясно, что слова всегда неправильно понимают, он умолкает, и теперь его принимают за мудреца. «В восемьдесят, — заключает затем Конфуций, — я знаю свои корни и стою твердо».

В соответствии с духом темы позвольте закончить разговор фрагментом из безумного видения, настигшего святого Иоанна во время жизни в изгнании на острове Патмос:

> *И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.*
>
> *И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего.*
>
> *И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их;*
>
> *И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло.*
>
> *И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.*
>
> *Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева — для исцеления народов (Отк. 21:1–4, 22:1–2).*

Глава XI

ПРОГУЛКА ПО ЛУНЕ: ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВНЕШНИЙ МИР (1970)

Превращаем ли мы сегодня мифологию в факты?

Мне хочется представить удивительную тему этой главы отрывком из «Божественной комедии» Данте. По дороге от земного рая к Луне, первой небесной остановке на пути к Божьему престолу, Данте обращается к читателям:

> О вы, которые в челне зыбучем,
> Желая слушать, плыли по волнам,
> Вослед за кораблем моим певучим,
> Поворотите к вашим берегам!
> Не доверяйте водному простору!
> Как бы, отстав, не потеряться вам!
> Здесь не бывал никто по эту пору:
> Минерва веет, правит Аполлон,
> Медведиц — Музы указуют взору[1].

---

[1] Пер. М. Лозинского.

Пусть эти строки зададут настроение. Дыхание богини Минервы, покровительницы героев, наполнит наши паруса ветром, присутствие Аполлона — это приятный сюрприз, а Музы, учителя всех искусств, укажут путеводные звезды. Хотя наше путешествие и направлено к внешним пределам, оно должно стать одновременно и внутренним, ведь источники великих свершений, которые зарождаются не где-то вовне, а именно внутри нас — там, собственно, Музы и обитают.

Я вспоминаю, как совсем еще маленьким мальчиком дядя однажды привез меня на Риверсайд-драйв, — показать, как он сказал, «человека, который пролетит на аэроплане (так в те времена называли самолеты) от Олбани до Нью-Йорка». Это был 1910 год, и Гленн Кертис летал на чем-то вроде моторизированного воздушного змея. Вдоль невысокой ограды на западной окраине города стояла целая толпа. Крыши окрестных домов также были заполнены людьми. Они тоже глядели в сторону заходящего солнца и чего-то ждали.

Уже смеркалось. Внезапно все закричали, показывая пальцами вверх: «Вот он!» То, что я видел, напоминало тень темной птицы, парящей в сгущающемся мраке в паре сотен футов над рекой. Семнадцать лет спустя, в год, когда я уехал из округа Колумбия, Линдберг совершил перелет через Атлантику. А уже в этом году все мы видели по телевизору две высадки на Луну.

В этой главе я хочу воздать должное удивительной эпохе, в которой мы живем, нашей стране и всему нашему невероятному человеческому роду, который совсем недавно обрел, наконец, свободу, оторвался от Земли и полетел дальше искать невероятнейшие приключения.

Когда я слышу, с каким безразличием некоторые мои ученые коллеги говорят об этих эпохальных событиях, мне сразу вспоминается анекдот про старую даму. Ей выдалась возможность взглянуть на Луну в телескоп, но, оторвавшись от окуляра, она за-

явила: «Покажите мне Луну, какой ее создал Бог!» Действительно адекватной реакцией на первую прогулку человека по Луне были строки стихотворения итальянского поэта Джузеппе Унгаретти, опубликованные в иллюстрированном журнале «Эпоха». На яркой обложке номера от 27 июля 1969 года красовалась фотография седого господина, который восторженно тыкал пальцем в телеэкран, а ниже были написаны проникновенные слова: «Это ночь, не похожая ни на одну другую ночь на свете!» Можно ли забыть 21 июля 1969 года, когда телевизоры доставили прямо в наши гостиные изображение странного летательного аппарата и опускающегося ботинка Нила Армстронга, который оставил на почве далекого спутника Земли первые следы живого существа? А затем, как будто сразу почувствовав себя на Луне уютно, два астронавта в скафандрах, с удивительной грацией перемещаясь по диковинному ландшафту, взялись за работу — установили американский флаг и кое-какое оборудование. Двигались они очень необычно и легко. Между прочим, изображение того, что происходило в космосе, в двухстах тридцати восьми тысячах миль от Земли, мы увидели благодаря другому современному чуду (сейчас оно считается чем-то само собой разумеющимся) — обыкновенному телевизору, какие стоят в каждой гостиной. «Все человечество, — провозгласил как-то Бакминстер Фуллер, предвидя эти преображающие силы, которые теперь воздействуют на наши органы чувств, — стоит на пороге рождения совершенно новых отношений со Вселенной».

С точки зрения исследователя мифологии важнейшим следствием того, что написал Коперник в 1543 году о космосе, стал образ Вселенной, перевернувший с ног на голову и опровергший всем до этого очевидные «факты».

Раньше теологические и космологические взгляды человечества были основаны на убеждении, что Вселенная выглядит именно так, как мы видим с Земли. Все представления человека о самом себе и окружающем мире, его поэзия и система восприятия

в целом были обусловлены тем, что он видел глазами. Солнце поднимается на востоке, проходит по южной стороне небосклона и садится на западе. Полинезийский герой Мауи ловит Солнце силками, чтобы замедлить его ход и дать матери время приготовить еду. Иисус Навин останавливает Солнце и Луну, чтобы успеть закончить очередную бойню, в то время как Бог, желая помочь ему, сбрасывает с небес град огромных камней: «И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глас человеческий» (Иис. 10:14).

В древние времена Луну считали (а некоторые и до сих пор считают) обителью отцов, пристанищем душ умерших, дожидающихся нового рождения, поскольку сама Луна, как можно заметить, постоянно исчезает и возникает опять. Погружаясь в тень, она обновляется, будто жизнь, которая губит целые поколения, чтобы возродить их в потомках. Вместо этого представления, которое не раз было засвидетельствовано в священных писаниях, поэзии, ощущениях и видениях, Коперник предложил образ Вселенной, которую обычным глазом не увидеть и можно созерцать только мысленно, — математическую конструкцию, представляющую интерес разве что для астрономов и невидимую, неощутимую для прочих представителей человеческого рода, чье зрение и чувства по-прежнему были прикованы к Земле.

Однако сейчас, четыре с четвертью века спустя, благодаря изображениям, которые приходят к нам с поверхности Луны, мы увидели — и не просто увидели, а почувствовали, — что окружающий мир и абстрактное построение Коперника на самом деле согласуются. Та знаменитая цветная фотография, где наша старушка Земля восходит величественной планетой над беззвучными лунными пейзажами, — это незабываемое зрелище! В том же выпуске «Эпохи» Джузеппе Унгаретти опубликовал первые стихи нового мира, славящие это лунное откровение:

> Что делаешь ты, Земля, на Небесах?
> Чем занята ты там, Безмолвная Земля?

Все былые связи разрушены. Теперь центр мироздания — повсюду и нигде. Земля — обычное небесное тело, хотя и самое прекрасное из всех, а вся поэзия прошедших веков архаична, если не согласуется с чудом новой картины мира.

С другой стороны, я вспоминаю, как был смущен в канун Рождества два года назад, в ночь первого пилотируемого полета вокруг Луны, когда трое отважных молодых парней отправили миру сообщение из космоса, зачитав первую главу Книги Бытия: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста...» — и так далее. Все это не имело совершенно никакого отношения к реальности, которую они сами сейчас видели и изучали!

Позже я спросил нескольких друзей, что почувствовали они, услышав, как с лунной орбиты доносятся эти слова, и все без исключения ответили, что сказанное было невероятно трогательным. Как странно! И как грустно, думал я, что в нашей поэзии не нашлось подходящих строк, которые передали бы чувства, вызванные этим потрясающим событием! Ни одного стихотворения, хотя бы отчасти отражающего чудесность и величие Вселенной, в которую мы наконец-то вторглись! Лишь древняя детская греза еврея, родившегося в Вавилоне около IV в. до н. э., — картина зарождения мира, полностью опровергнутая тремя астронавтами, напомнившими о ней из космоса! Какое разочарование... Безусловно, куда лучше было бы прочесть вслух шесть прекрасных строчек Данте из вступления к «Раю»:

> Лучи Того,
> Кто движет мирозданье,
> Все проницают славой и струят
> Где — большее, где — меньшее сиянье.
> Я в тверди был, где свет их восприят
> Всего полней, но вел бы речь напрасно
> О виденном вернувшийся назад[1].

---

[1] Пер. М. Л. Лозинского (1967 г.).

Конечно, сегодня невозможно предсказать символику грядущей поэзии. Однако те самые астронавты, спустившись с небес, высказали об этом несколько предположений. Они быстрее мысли вознеслись в безграничное пространство, совершили несколько витков вокруг пустынной Луны и начали долгое возвращение: какой же гостеприимной, по их словам, казалась теперь прекрасная цель, наша планета Земля, «похожая на оазис в пустыне бесконечного космоса!». Вот он, выразительный образ: наша планета, одинокий оазис посреди космоса, единственная священная роща, отведенная для ритуалов жизни. Не просто отдельная часть суши, а весь земной шар отныне стал святилищем, отдельной Благословенной страной. Мы своими глазами увидели, какая она крошечная, наша божественная Земля, как непрочно наше существование на поверхности этой кружащейся, ослепительно прекрасной сферы. Астронавты рассказали и еще одну потрясающую историю. Когда Наземное управление поинтересовалось, кто пилотирует корабль, они тут же ответили из космоса: «Ньютон!» Подумать только! Они спокойно неслись в открытом космосе благодаря математике, родившейся давным-давно в невероятном разуме Исаака Ньютона.

Этот поразительный ответ напомнил мне о главной проблеме сознания, над которой размышлял Иммануил Кант. Как получается, задумался он, что, оставаясь здесь, на своем месте, мы можем провести математические расчеты, которые будут верны и где-то там, в совершенно иной точке? Никто не мог еще предположить, какой будет глубина слоя пыли на поверхности Луны, а математики уже точно знали, как работать с законами космоса, и благодаря им астронавтам удалось совершить полет вокруг не только родной Земли, но и Луны, преодолев тысячи миль пространства между ними. Как же так выходит, спросил себя Кант, что человек способен априори выносить математические суждения о пространстве и пространственных отношениях?

Проходя мимо кривого зеркала, мы не можем предсказать, какие очертания или размеры примет в следующий миг наше отражение. С космосом, однако, дело обстоит иначе. Пространство не искажает математику трех измерений. На экранах телевизора мы видели, как спускавшийся с неба на парашюте посадочный модуль Второй Лунной экспедиции попал именно в ту точку океана, куда планировалось. Мы убедились в истине: до Луны больше двухсот тысяч миль, но познания о законах внешнего космоса родились в человеческом уме (по крайней мере, в уме Ньютона) уже за несколько столетий до того, как мы ворвались во Вселенную. К этому времени нам уже было известно, что там, вдалеке, скорость можно оценивать по земным меркам: при одинаковой скорости тут, на Земле, за одну минуту покрывается то же расстояние, что и там, в космосе. А это означает, что мы обладали изначальным знанием о предмете. Больше того, можно не сомневаться, что эти законы будут применимы и в будущем, когда наши космические корабли направятся к Марсу, Юпитеру, Сатурну и еще дальше.

Кант рассудил, что пространство и время являются «априорными формами восприятия», предшествующими любым переживаниям и действиям. Тело и органы чувств знают о пространстве и времени еще до рождения, поскольку речь идет о мире, где нам предстоит функционировать. Эти категории существуют не просто «где-то там», будто планеты; их не требуется изучать аналитически и посредством сложных наблюдений. Законы пространства и времени заложены в нас самих, и в результате мы с самого начала охватываем умом Вселенную. «Мир широк, — писал австрийский поэт Рильке, — но в наших душах он глубок, как море». Внутри нас скрыты законы, на которых основано мироздание. Поэтому мы сами не менее загадочны, чем мир. Разгадывая его чудесные тайны, мы одновременно узнаем что-то о себе. Полет на Луну, вовне, был и путешествием вглубь, внутрь нас самих. И это не поэтическое сравнение, а реальность,

исторический факт. Телетрансляции того полета преобразили, углубили и расширили человеческое сознание до такой степени, что, возможно, пора отмечать начало новой духовной эры.

Первый шаг человека на Луне был сделан с большой опаской. Затем вышел второй астронавт, и какое-то время оба передвигались очень осторожно, привыкая к иной силе тяготения, весу скафандров и незнакомой обстановке. И вдруг — ей-богу! — они начали бегать, подпрыгивать и скакать, как кенгуру! А два члена следующей экспедиции хихикали и смеялись, бесились, как маленькие, — лунатики, в общем, что тут скажешь. И я подумал: «Итак, прекрасная Луна кружит рядом с земным шаром добрых четыре миллиарда лет, словно прекрасная девушка, пытающаяся обратить на себя его взгляд. Теперь наконец она привлекла его внимание — и он попался. Так всегда случается, когда поддаешься искушению: теперь у обоих новая жизнь, более богатая, захватывающая и интересная, чем можно было даже представить». Уже сейчас где-то среди нас подрастают дети, которые поселятся на Луне, побывают на Марсе. А их собственные дети? Куда полетят они?

Кто из читателей помнит чудесный фильм «Космическая одиссея: 2001 год»? Этот фильм повествует о фантастическом полете могучего космического корабля в не таком уж далеком будущем. Будущее действительно близкое; я уверен, что его своими глазами увидят большинство зрителей этого кино. Фильм начинается с любопытных кадров из жизни стаи человекообразных обезьян около миллиона лет тому назад: гоминиды, современной науке известные как австралопитеки, рычат, дерутся — ведут себя как вполне обычные обезьяны. Однако среди них находится один, в чьей едва брезжащей душе кроется надежда на что-то большее. Его потенциал проявляется в благоговении перед неизвестным, очаровательной любознательности, желании подойти поближе к неизвестному и изучить со всех сторон. В фильме эта черта показана в символической сцене, когда наш обезьяноподобный

предок с удивлением изучает невиданную каменную плиту, непонятно откуда выросшую среди однообразного пейзажа. Пока сородичи по-прежнему поглощены экономическими проблемами (добывают еду), социальным взаимодействием (ловят друг на друге блох) и политической деятельностью (вступают в драки), не похожий на остальных одинокий индивид сидит в сторонке, рассматривает плиту и наконец, протянув лапу, осторожно ощупывает камень — точно как астронавт, чья нога медленно опускается на лунную поверхность. Примеру одиночки последуют затем и другие обезьяны, хотя все равно найдутся и те, кто останется глух к призывам, как говорил Гёте, «лучшего в человеке». Эти люди даже сейчас ушли недалеко от первобытных обезьян, занятых исключительно экономикой, социологией и политикой; они сперва бросаются камнями друг в друга, а после зализывают свои собственные раны.

Они не летают на Луну и даже не понимают, что величайшие шаги человеческого прогресса были не зализыванием ран, а подвигами, вызванными глубоким благоговением. Одни и те же мотивы двигают людьми на протяжении тысячелетий; чтобы обозначить эту мысль, авторы фильма в следующей сцене показывают такую же таинственную плиту — уже в укромном уголке Луны — и руку астронавта, касающуюся ее. Еще одна плита парит в далеком космосе, символизируя еще непознанное, — и так будет всегда.

Одним из самых ранних признаков отличия человеческого сознания от животного можно считать приручение огня; огонь, на мой взгляд, близок по символике к плите из фильма. Мы не знаем, когда именно человек укротил пламя; известно только, что уже четыреста тысяч лет назад в пещерах синантропов разводили огонь. Но зачем? Этого мы тоже не знаем. Очевидно, что еду на огне в то время еще не готовили. Возможно, возле пламени просто грелись или отпугивали огнем диких зверей. Но наиболее вероятно, что танцующие языки пламени просто завораживали

древнего человека. Во всех уголках света сохранились бесчисленные мифы о похищении огня, и почти всюду в это приключение пускаются не ради практической пользы, а только потому, что огонь прекрасен. Людям хотелось танцевать вокруг него, сидеть рядом с ним, просто любоваться им. В мифах обычно подчеркивается, что именно эта великая авантюра позволила человеку стать не похожим на зверей. Огню до сих пор поклоняются как божеству. Во многих культурах разведение домашнего очага является ритуальным действием. Мы все слышали о священном огне в честь Весты, одной из самых почитаемых римских богинь. Очарованность огнем, как и той символической плитой из фильма Кубрика, можно считать древнейшим в истории нашего рода свидетельством открытости и готовности пускаться в опасные путешествия, которые издавна стали важнейшей и уникальной чертой человека, отличающей его от других животных. Эта-то характерная особенность с поразительной ясностью проявилась в приключении, с которого я начал и которым никогда не устану восхищаться.

В предшествующих главах мы рассуждали о других проявлениях стремления к неведомому, благодаря которому представители нашего вида превосходили самих себя. Охотники благоговели перед окружавшими их могучими зверями, земледельцы — перед чудом посеянного зерна, древнешумерские жрецы-звездочеты — перед ходом планет по небосклону и звездной картой. Все это было таким таинственным, невыразимо странным! Ницше назвал человека «больным зверем» из-за изменчивости и непредсказуемости самых основ его жизни. В отличие от других видов животных, наша природа не скована жесткими схемами. Лев вынужден всю жизнь быть львом, собака — собакой, но человек может быть астронавтом, троглодитом, философом, моряком, хлебопашцем или скульптором. Он умеет играть и может играючи выбирать из бесконечного количества совершенно разных судеб, причем этот выбор не определяется ни рациональными причинами, ни просто здравым смыслом — только приступами восторга или «миражами,

выманивающими за ограду», как назвал их Робинсон Джефферс. «Человечество, — говорил Джефферс, — это яйцо, откуда нужно вылупиться, панцирь, который надо расколоть, уголь, что должен стать пламенем, атом, требующий расщепления». Но что же выманивает нас за ограду?

> Влюбленность дикая, что скачет выше стен природы,
> искусство прыгуна, которому ограды не помеха, —
> Либо разум звезд далеких
> и таинственные знания кружащих демонов,
> тех, что создают атом[1].

В самом начале, кажется, именно очарованность огнем, судя по всему, выманила человека за ограду, к неведомому раньше образу жизни, в котором домашний очаг стал центром человеческих забот. Лишь после того, как человек отделился от зверей, жизнь животных и растений начала тревожить его воображение. В результате возникли мифологические схемы как для внешнего, общественного строя, так и описывающие внутренние личностные переживания: появились шаманы, живущие как волки, ритуальные договоры с бизонами, танцоры в масках, тотемные предки и все остальное. Целые народы подчиняли свою жизнь законам и обрядам растений — жертвоприношения, умерщвления, расчленения лучших, самых выдающихся соплеменников во имя всеобщего блага. «Истинно, истинно говорю вам, — читаем мы в Евангелии от Иоанна, — если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плодов. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее для вечной жизни» (12:24–25). И то же самое — в притче Христа о лозе, рассказанной на Тайной вечере: «Как ветвь не может приносить плода сама, если

---

[1] Отрывок из стихотворения Робинсона Джефферса «Dimensions of a Poet».

не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я Лоза, а вы ветви» (15:4–5).

Как видно, мифологическая символика растений предполагает неразрывное слияние личной жизни с существованием общества, «выманивающего человека за ограду». В свою очередь охотничьи племена со своими обрядами, основанными на мифах о соглашениях с миром животных, признают «обмен услугами», который расширяет круг интересов человеческого духа, стремящегося охватить нечто помимо его собственных непосредственных нужд. А наибольший восторг, когда-либо воодушевлявший человеческую мысль, испытывали жрецы-звездочеты, созерцавшие ночное небо над Месопотамией более пяти тысяч лет назад. Звезды вызывали ощущение космической стройности, математической предопределенности, в согласие с которым следует привести и устройство общества. Именно тогда появились иератические города-государства — источник и на многие годы утвердившийся образец высокой цивилизации.

Иными словами, вовсе не экономика, а небесная математика послужила причиной развития религии, искусства, литературы, науки, морали и общественного уклада, которые в те времена вознесли людей до уровня цивилизованной жизни — в очередной раз нас «выманили за ограду» и позволили достичь чего-то неизмеримо большего, чем просто решение текущих экономических или политических задач.

Сегодня, как известно, подобные идеи и принципы безвозвратно устарели, а опирающиеся на них цивилизации разобщены и находятся на грани гибели. Общество уже не подвластно движению планет, а социологию и физику, политику и астрономию не считают разделами единой науки. Кроме того, саму личность больше не воспринимают (на демократическом Западе, по крайней мере) как неотъемлемую и второстепенную часть государственного организма. Сегодня нам известно — насколько мы вообще что-нибудь знаем о мире, — что каждый человек уникален, и жизнью

каждого на Земле управляет что-то свое. Если божество и существует, то кроется оно вовсе не «на небесах», среди планет или где-то за ними. Галилей доказал, что физические законы, которые определяют движения земных тел, применимы и к небесным сферам. Недавно мы стали свидетелями того, как знание земных законов физики перенесло астронавтов на Луну. Вскоре они попадут на Марс, а потом еще дальше. Можно не сомневаться, что к тому времени математика далекого космоса уже будет просчитана человеческими умами здесь, на Земле. Там нет ни законов, которые не выполнялись бы тут, ни богов, которых не было бы здесь, — внутри нас, в наших душах. Что же произойдет с образным рядом нашего детства — вознесением Илии, Девы Марии и Христа на небеса во плоти?

> Что делаешь, Земля, на Небесах?
> Чем занята ты там, Безмолвная Земля?

Астронавты приблизили Луну к Земле, а Землю показали летящей в небесах. Из марсианских пустынь матушка Земля предстанет еще более далекой, возвышенной, «неземной» — и все же ничуть не приблизится ни к одному богу. С Юпитера она вообще покажется крошечной точкой — и будет казаться все меньше по мере того, как наши дети, внуки и праправнуки пойдут все дальше по открытому совсем недавно пути, наяву сталкиваясь с тем, что мы уже предвосхитили умом.

Иными словами, происходящее сейчас преображение мифологической сферы сравнимо по величию разве что с переворотом, совершенным древнешумерскими звездочетами в IV в. до нашей эры. Исчезает не только мир богов и людей, но и государства, которые они вдохновенно создавали в далекие-далекие времена. Много лет назад я был невероятно впечатлен работами человека, которого до сих пор считаю лучшим мифологом своего времени, — Лео Фробениуса, который воспринимал всю историю человечества как единый органический процесс,

подобный развитию живой особи, которая проходит стадии роста, зрелости и старости. Существование человеческого рода, как и отдельной личности, начинается с детства, переходит от поры юности к зрелому возрасту и, наконец, к увяданию. Детством человечества была древняя и невообразимо долгая эпоха древних охотников, рыбаков и собирателей, живших в тесном общении с соседями из животного и растительного мира. Вторая стадия, которую Фробениус назвал «монументальной», началась с расцветом первых земледельческих городских цивилизаций и была согласована с воображаемым устройством мироздания, проявлявшимся в законах движения небесных тел. Позже в светилах начали видеть обители высших духов, — это теперь нам известно, что планеты так же материальны, как мы сами. Законы Земли и нашего мышления распространились настолько, что захватили территории, принадлежавшие некогда богам, — и мы узнали в богах самих себя. В результате воображаемые основы «монументального миропорядка» были перенесены «оттуда» в наши собственные души, и началась новая эпоха — глобальная, «материалистическая» (как назвал ее Фробениус), напоминающая древние времена трезвой мудрости и заботы о физическом теле, сосредоточенности на нуждах человека, а не на мечтах о далеком будущем. Обитель духа — это не огонь, не мир животных или растений, не звездное небо, а человек, живущий на Земле — той самой Земле, которую астронавты, представители рода человеческого, увидели и сфотографировали восходящей над Луной, парящей в небесах.

Мой друг Алан Уоттс в одной из лекций предложил интересную замену прежней концепции человека, представляющей нас чужаками, чей дух, сбросив после смерти бренную телесную оболочку, возносится к своей настоящей родине и остается рядом с Богом на небесах. «На самом же деле, — заявил доктор Уоттс своим слушателям, — мы вовсе не приходим в этот мир. Мы появляемся из него так же, как лист из дерева или ребенок из чрева... Иисус сказал, что не собирают виноград с терновника

или смоквы с репейника; так и людей не приносят из другого, безлюдного мира. Наш мир рождает людей, как яблоня — яблоки, как лоза — виноград». Другими словами, мы — естественное порождение этой Земли, то есть, как заметил доктор Уотс в той же беседе, мы, существа разумные, являемся плодами разумной Земли, как и полагается в разумно устроенной энергетической системе — ведь «не собирают смоквы с репейника». Мы можем считать себя глазами, ушами и разумом Земли, исполняющими по отношению к ней ту же роль, какую чувства и сознание играют для нашего организма. Наши тела едины с Землей, «цветущим оазисом в пустыне бесконечного космоса», и математика этого далекого космоса — такая, какой ее осознал разум Ньютона, наш разум, разум Земли и Вселенной, — расцвела и принесла плоды в этом оазисе исключительно благодаря нам.

Давайте еще раз вспомним. Когда сидевший в мрачной пещере человекообразный троглодит-синантроп откликнулся на чары огня, он учуял в пламени силу, которая уже переполняла его собственное тело: жар, тепло, окисление — то же, что происходит в недрах Земли, Юпитера и Солнца. Когда танцоры в масках во время охотничьего ритуала изображали священных зверей, идентифицируясь с сакральными силами, полученными от убитых животных, это снова было проявление аспекта собственного «Я»: они интуитивно постигали то, что роднит нас с животными, — инстинктивный ум, на котором основан естественный порядок матери-земли. То же относится и к миру растений, в котором люди видели отражение самих себя — питающихся и растущих. Многие мифы, причем далеко не примитивные, представляют людей растущими из земли, подобно деревьям и траве. У нас есть изображения «Второго Адама», Христа, висящего на древе, как плод, Боддхи буддистов и Иггдрасиль древних германцев. Все эти деревья — олицетворение мудрости жизни, которая является продолжением растительных процессов. Наши тела сформировались в материнских телах, подготовились к умению

дышать воздухом, переваривать и усваивать еду посредством сложных химических процессов, видеть разнообразие и уникальность мира и мыслить математическими категориями, которые всегда будут пригодны в любых, самых отдаленных пределах пространства и времени.

На Востоке я заметил, что буддисты, строя свои храмы, часто выбирают место на вершине холма, откуда обзор лучше всего. Когда находишься там, то испытываешь двойственное чувство: с одной стороны, кажешься себе меньше, с другой стороны — гораздо больше, так как видишь намного дальше, чем привык. Еще я замечал, что в полете (особенно над океаном) совершенно по-другому выглядит мир физической природы — воздух, облака, чудесная игра света. На Земле нас волнует природа растений; там, в вышине, — изумительная игра пространства. Люди раньше думали: «Как мал человек по сравнению со Вселенной!» Изменение мировоззрения от геоцентрического до гелиоцентрического, казалось, удалило человека от главенствующего положения — ведь быть в самом центре казалось невероятно важно! Но с духовной точки зрения центр находится там, куда направлен взор. Стойте на вершине и рассмотрите горизонт! Стойте на Луне и смотрите, как восходит Земля, — пусть даже по телевизору в гостиной!

С каждым расширением горизонта — от пещеры троглодита до буддистского храма на вершине холма и поверхностью Луны — неизбежно происходит очередное расширение сознания. Глубже становится понимание Природы (и в узком смысле слова, и в широком), обогащаются, улучшаются и совершенствуются условия физической жизни человека. Мое твердое убеждение — сегодня с нашим участием совершается едва ли не самый гигантский за всю историю скачок человеческого духа в познании не только внешнего мира, но и собственной внутренней тайны. И что же мы слышим между тем от «гениев социологии», заполнивших бурлящие кампусы университетов? На днях я видел ответ на

большом плакате в книжном магазине Йельского университета. Под фотографией астронавта на пустынной Луне было подписано: «Ну и че?»

Но давайте возвратимся к мифологическому и теологическому аспекту происходящего. Средневековый итальянский аббат-пророк Иоахим Флорский в начале XIII века предсказал закат христианской Церкви и расцвет земной духовной жизни, когда Святой Дух будет говорить с человеческим сердцем напрямую, без посредничества духовенства. Он, как и Фробениус, рассматривал историю как череду сменяющихся эпох, из которых его собственная должна стать последней. Он выделял четыре эпохи: первая, естественно, началась после грехопадения и окончилась главным событием, великой драмой Искупления. Каждой эре соответствовал один из ликов Троицы: первой была эпоха Отца, законов Моисея и народа Израиля; второй — Сына, Нового Завета и Церкви; и теперь, в конце, — и в этом, конечно, взгляды священнослужителя сильно расходились с традиционным учением — должен был наступить период Святого Духа, эпоха святых и внутренней молитвы, когда постепенно будет распадаться Церковь, ибо в ней уже не будет необходимости. Во времена Иоахима довольно многие считали, что святой Франциск Ассизский может быть провозвестником грядущего царства прямого общения с Духом, которого раньше удостоились лишь апостолы в день Пятидесятницы. Но, оглядываясь вокруг и наблюдая за тем, что происходит с нашими церквями в период, когда нужда цивилизации в мистической религиозности чуть не выше, чем в Средневековье, я склоняюсь к мысли, что отец Иоахим Флорский предсказывал именно нашу эпоху.

Нет никакой божественной, благословенной свыше власти, которую все вынуждены признавать, никакого миропомазанного наместника, оглашающего Закон Божий. В нашем мире принято гражданское право. Власть свыше не требуется: ни Синая, ни горы Елеонской. Наши законы вводятся в действие и исправляются

светскими инстанциями, каждый из нас вправе самостоятельно решать свою судьбу, искать собственную правду и делать личный выбор. Мифология, религии, основные идеи философии и способы мышления, возникшие больше шести тысяч лет назад и породившие все монументальные культуры Востока и Запада — Европы, Ближнего, Среднего и Дальнего Востока и даже ранней Америки, — канули в прошлое; теперь мы движемся самостоятельно: каждый может идти за своей звездой и прислушиваться к велениям собственной души. И я не могу придумать героев, более достойных стать символами нашего времени, чем мужественные астронавты. И не могу придумать лучших строк, чтобы прославить их деяния, чем строки из «Чалого жеребца» Робинсона Джефферса:

> Атомы, рвущиеся на волю,
> Ядро — к Солнцу,
> электроны — к планетам, родство признавая,
> Без мольбы, себе равные, целое целому — микрокосм
> Не входящий, не приемлющий входа, еще точнее, полнее,
> невиданнее сопряжен
> С другим пределом, другим величием; и тождество
> чувствует страстно...

Солнечная система и атом, два противоположных полюса научных исследований, признаны идентичными — и в то же время различными! Аналогично и мы можем отождествить себя с Универсумом, чьими глазами, ушами и разумом мы являемся. Великий физик Эрвин Шрёдингер высказал ту же метафизическую идею в небольшой, но совершенно блестящей книге «Моя картина мира»:

«Все мы, живые существа, неразрывно связаны, так как в действительности являемся составляющими единого существа, которое в западной терминологии можно, пожалуй, назвать Богом, а в Упанишадах именуют Брахманом».

Очевидно, что вовсе не наука умаляет человека и разлучает его с Богом. Напротив, точка зрения ученого возвращает нас, как ни странно, к взглядам древних; современный физик считает, что людям следует увидеть в окружающей Вселенной гигантское отражение природы самого человека. Мы и вправду органы чувств и сознание Вселенной или, говоря богословскими терминами, глаза и уши, мысли и Слово Бога. Более того, прямо здесь и сейчас мы участвуем в сотворении мира, которое непрестанно развертывается в беспредельном пространстве нашего разума, где проносятся планеты — а теперь и ракеты с нашими товарищами, жителями Земли.

Глава XII

ПОСЛАННИК: НИКАКИХ ГРАНИЦ (1971)

Что такое или чем должна быть новая мифология? Так как мифы похожи на поэзию, давайте для начала дадим слово поэту — например, Уолту Уитмену в его «Листьях травы» (1855):

Я сказал, что душа не больше, чем тело,
И я сказал, что тело не больше, чем душа,
И никто, даже бог, не выше, чем каждый из нас для себя,
И тот, кто идет без любви хоть минуту, на похороны
свои он идет, завернутый в собственный
саван,
И я или ты, без полушки в кармане, можем купить все
лучшие блага земли,
И глазом увидеть стручок гороха — это превосходит
всю мудрость веков,
И в каждом деле, в каждой работе юноше открыты
пути для геройства,
И каждая пылинка ничтожная может стать центром
вселенной,
И мужчине и женщине я говорю: да будет ваша душа
безмятежна перед миллионом вселенных.

И я говорю всем людям: не пытайте о боге,
Даже мне, кому все любопытно, не любопытен бог.
(Не сказать никакими словами, как мало тревожит меня мысль о боге и смерти.)
В каждой вещи я вижу бога, но совсем не понимаю его,
Не могу я также поверить, что есть кто-нибудь чудеснее меня.
К чему мне мечтать о том, чтобы увидеть бога яснее, чем этот день.
В сутках такого нет часа, в каждом часе нет такой секунды, когда б не видел я бога.
На лицах мужчин и женщин я вижу бога и в зеркале у меня на лице
Я нахожу письма от бога на улице, и в каждом есть его подпись,
Но пусть они останутся, где они были, ибо я знаю, что, куда ни пойду,
Мне будут доставлять аккуратно такие же во веки веков[1].

Эти строчки Уитмена удивительно перекликаются с настроением одной из самых ранних Упанишад, «Большой Лесной Книгой» (Брихадараньякой), приблизительно датируемой VIII в. до н. э.

И [говорят]: «Таково его имя, таков образ». Он [Атман] проник сюда до кончиков ногтей, как нож в ножны, как огонь в пристанище огня. Его не видят, ибо он неполон. Дышащий, он зовется дыханием, говорящий — речью, видящий — глазом, слышащий — ухом, разумеющий — разумом. Это лишь имена его дел. Кто почитает лишь то или иное из них, не обладает знанием, ибо в том или ином он неполон. Пусть почитают его как Атмана, ибо здесь все [его дела] становятся одним. Этот Атман — след всего сущего, ибо, поистине, как находят по следу [утерянное], так узнают по нему все сущее. Кто знает это, тот находит славу и похвалу.

---

[1] Пер. К. Чуковского (*Чуковский К.* Мой Уитмен. М.: Прогресс, 1966.)

8. Этот Атман дороже сына, дороже богатства, дороже всего остального. Он — самое сокровенное. И если тому, кто называет дорогим не Атмана, а другое, скажут, что он утратит то, [что считают] дорогим, то так и может произойти. Лишь Атмана следует почитать дорогим. Кто почитает дорогим лишь Атмана, у того дорогое не погибнет.

Кто же почитает другое божество и говорит: «Оно — одно, а я — другое», тот не обладает знанием. Он — как животное перед богами. Ведь, поистине, как многие животные приносят пользу человеку, так и каждый человек приносит пользу богам. Даже когда бывает взято одно животное, это причиняет неудовольствие, — чего же говорить о многих? Поэтому им [богам] неприятно, когда люди знают это[1].

Мы видим то же самое, выразительно сказанное еще раньше, в «Египетской Книге мертвых», в одной из ее глав, «По прибытии в Загробный мир»:

Я Вчера, Сегодня и Завтра, и я имею право рождаться во второй раз. Я — божественная скрытая Душа, которая создала богов и дает погребальную еду жителям бездны, страны мертвых и небес... Приветствую, владыка святыни, которая находится в центре земли. Он — это Я, и я — это Он!

Действительно, разве мы не слышим то же самое от самого Христа, как сообщается в раннем гностическом Евангелии от Фомы?

Кто бы ни пил из моего рта, станут, как я, и я сам стану им, и скрытые вещи должны быть показаны ему... Я — Все, Все вышло из меня, и Все вернулось ко мне. Разрубите кусок дерева, я там; поднимите камень, и Вы найдете меня там.

---

[1] Брихадараньяка-упанишада 1.4.6–10. Пер. А. Я. Сыркина.

Или еще пара строчек Уитмена:

> Я завещаю себя грязной земле, пусть я вырасту моей
> любимой травой,
> Если снова захочешь увидеть меня, ищи меня
> у себя под подошвами[1].

Приблизительно пятнадцать лет назад в Бомбее мне случилось беседовать с чрезвычайно интересным немецким иезуитом, его преподобием отцом Г. Герасом. Он вручил мне экземпляр своей статьи, которую только что опубликовал. Работа была посвящена тайне Бога Отца и Бога Сына и ее отражению в индуистской мифологии. Удивительно непредубежденный человек, хорошо ориентирующийся в восточных религиях, в статье он сравнил древнеиндийского бога Шиву и его знаменитого сына Ганешу с Отцом и Сыном в христианстве. Поскольку Второе Лицо Святой Троицы в его трансцендентальном аспекте — это Бог, существующий вне времени и в какой-то мере присутствующий в качестве «образа Божьего» в каждом из нас, даже самому ортодоксальному христианину будет не сложно распознать отражение собственной религии в чужих божествах и святых. Мифология со всеми образами божеств является производной психики — сейчас это уже доказанный факт. Что такое боги, как не проекции человеческого воображения? Мы знаем их истории: мы знаем, как они развивались. Не только Фрейд и Юнг, но любой серьезный студент, специализирующийся на психологии или сравнительном религиоведении, признает, что мифологические мотивы и персонажи по сути соприродны снам. Мой старый друг доктор Геза Рохейм говорил, что как не существует двух способов спать, так нет и двух разных способов видеть сны.

Одинаковые мифологические мотивы обнаруживаются по всему миру. В каждой великой традиции есть легенды о Непорочном

---

[1] Пер. К. Чуковского.

зачатии, о Воплощениях, Смерти и Воскресении, Втором пришествии, Судном дне и так далее. Порожденные психикой, они обращаются к психике. Они рассказывают нам о ее структуре, устройстве, законах и силе через символы.

Поэтому ни по происхождению, ни по существу, ни по привязке к местности, ни — в большой степени — по значению мифологические сюжеты нельзя интерпретировать как отсылки к конкретным историческим событиям или персонажам. Историчность мифа, если она вообще имеет место, вторична — например, в буддизме, где исторический принц Гаутама Шакьямуни рассматривается как одно из многих исторических воплощений сознания Будды, или в индуизме, считающем, что воплощения Вишну неисчислимы. Трудность, с которой сталкиваются сегодня христианские мыслители, следует из их доктрины, утверждающей, что Иисус из Назарета был единственным историческим воплощением Бога. В иудаизме есть не менее проблемная концепция единого Бога, который сотворил весь мир, но предпочитает только избранный народ. Этот этноцентрический историзм — достаточно скудная духовная пища для современного человека. Нашим священникам все сложнее привлекать нынешних гурманов на свои банкеты, что доказывает только одно: предлагаемые блюда уже не так вкусны. Они были достаточно хороши для наших отцов, теснившихся в узком мирке собственных познаний в те дни, когда каждая небольшая цивилизация была более или менее «вещью в себе». А теперь посмотрите на фотографию Земли, сделанную с поверхности Луны!

В прежние времена, когда основными единицами общества были племена, религиозные общины, народы и даже цивилизации, конкретным мифологическим системам удавалось принижать то, что находилось за границами общества, отводя собственному наследию роль единственно правильного, вечного или, по меньшей мере, самого благородного и высшего. Тогда это было продуктивно: молодежь положительно отвечала на собственную

систему племенных знаков и отрицательно — на чужие, любила родное, а ненависть направляла на внешнее. Сегодня, однако, все мы — пассажиры одного космического корабля под названием «Земля» (космическим кораблем однажды назвал нашу планету Бакминстер Фуллер), который с невообразимой скоростью несется в никуда сквозь тьму пространства. Хотим ли мы видеть на борту пиратов?

Ницше еще сто лет назад назвал наше время «веком сравнений». Ранее существовали границы, в пределах которых люди жили, мыслили и истолковывали мифы. Теперь границ нет. После того как они исчезли, начались ужасные столкновения не только самих народов, но и их мифологий. Словно убрали заслоны, которые разделяли камеры с горячим и холодным воздухом, и обе силы столкнулись в одном пространстве. Мы вступили в чрезвычайно опасное столетие грома, молний и ураганов. Не думаю, однако, что это должно вызывать истерики, взаимные обвинения и ненависть. То, что случилось, закономерно и совершенно естественно, ведь если встречаются не соприкасавшиеся прежде энергии и у каждой собственная гордость, непременно начинается борьба. Именно это мы испытываем и сейчас: мы несемся прямо в новую эпоху, к новому рождению, к совершенно новым условиям жизни — и едва ли у кого-то есть ключ, ответ или достоверный прогноз на будущее. Обвинять в этом тоже некого («не судите, да не судимы будете»). То, что происходит, нормально, несмотря на страдания, смятение и ошибки.

Среди сил, которые столкнулись и могут взорваться, далеко не последнюю роль (мягко говоря) играют древние мифологические традиции. Речь идет, прежде всего, об Индии и Дальнем Востоке, мощно прокладывающих себе путь в области европейского наследия, что, конечно, взаимно, в то же время в Азию вливаются наши идеалы рационального, прогрессивного гуманизма и демократии. Следует также добавить, что общее направление современной науки некогда задавалось архаичными представле-

ниями, лежащими в основе всех традиций. Полагаю, нам предстоит решить чрезвычайно деликатную задачу, если мы хотим сохранить хоть что-то из той мудрости, которая привела нас в наше настоящее, и осознанно выбрать то, что следует взять с собой в будущее.

Я долго размышлял над этим вопросом и пришел к выводу, что если символические образы, которыми изъясняется миф, интерпретируются не как прямые указания на выдуманных или даже существующих исторических персонажей или события, если эти символы понимаются как психологические и поистине «духовные» отсылки к внутреннему потенциалу человека, в них начинает проявляться то, что по праву можно назвать philosophia perennis[1] человеческого рода. Которая, однако, немедленно утрачивается, если миф начинают трактовать как историческую хронику, что типично для строгой ортодоксальной мысли.

Данте в своем философском труде «Convinto» различает буквальный, аллегорический, моральный и анагогический (мистический) смысл любого отрывка из Библии. Давайте возьмем, к примеру, такое утверждение:

«Иисус Христос воскрес из мертвых». Его буквальное значение очевидно — историческая личность по имени Иисус, которую называли также «Христос» (Мессия), ожил после смерти. Аллегорическое толкование, обычное для христианина, выглядит приблизительно так: «Мы тоже воскреснем из мертвых и придем к вечной жизни». Мораль сводится к следующему: «Следует обращать внимание на созерцание вечного, а не бренного». Анагогическое, или мистическое, прочтение этой же фразы открывает то, что не относится ни к прошлому, ни к будущему и не зависит от времени и вечности, происходит не тут и не там, но повсюду, прямо сейчас и всегда. Следовательно,

---

[1] Philosophia perennis (с *лат.* — «вечная философия») — непреходящая основа всякой философии.

четвертый смысл заключается в том, что смерть — во всяком случае, смерть в нашем мире — это вечная жизнь. Такой трансцендентальной точке зрения будет соответствовать своя мораль: «Созерцая мимолетное, разум должен видеть в нем вечное. То самое тело, которое святой Павел назвал «сим телом смерти» (Рим. 6:24), заключает в себе вечную жизнь, которая ждет нас не где-то на небесах, а происходит здесь, на Земле, прямо сейчас.

Сходный смысл имеет изречение Уильяма Блейка: «Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, как оно есть, — бесконечным». Думаю, та же мысль угадывается и в строчках Уитмена, процитированных в начале главы, индийской Упанишады, «Египетской Книги мертвых» и гностического Евангелия от Фомы. «На первый взгляд кажется, будто символы развитых религий не имеют ничего общего, — писал католический монах, покойный отец Томас Мертон, в своей краткой, но прозорливой статье под названием “Символика: общение или объединение?”. — Но когда приходишь к пониманию религий и видишь, что любые события, которые являются выполнением религиозной веры и духовной практики, выражаются наиболее ясно в символах, становится понятно, что часто символы различных религий могут иметь больше общего, чем сжатые формулировки официальных доктрин».

«Настоящий символ, — как снова отмечает автор, — не просто указывает на что-то другое. Он содержит в себе определенную структуру, которая заставляет наше сознание по-иному осознавать смысл жизни и саму действительность. Настоящий символ увлекает нас к самому центру круга, а не к какой-то другой точке на окружности. Именно символика позволяет человеку эмоционально и сознательно соприкоснуться с глубинами собственной души, другими людьми и Богом. Слова “Бог умер” на самом деле означают, что мертвы символы».

Поэт и мистик расценивают образы как вымысел, благодаря которому понимание глубин бытия достигается анагогически. С другой стороны, богословы-сектанты упорно придерживаются интерпретации священных писаний в буквальном смысле и тем самым губят традиции. Биографии каждого из трех воплощенных богов — Иисуса, Кришны и Шакьямуни — были разными, но если видеть в них символы, указывающие не на самих себя или друг на друга, а на обычных людей, то все три образа будут равноценными. Снова процитируем монаха Томаса Мертона: «Нельзя воспринять символ, если человек не пробудил в своей душе духовный резонанс, откликающийся не просто на символ, но и на "таинство", и "присутствие". Символ — объект, указывающий на предмет. Он ведет к более глубокому духовному сознанию далеко за пределами уровня объекта и предмета».

Мифология и религия — это великие эпосы, которые, если читать их правильно, проводят вас сквозь череду персонажей и событий к вездесущему и вечному, которое в каждой вещи присутствует целиком. Эта функция роднит все мифологии, великие стихи и мистические традиции. Цивилизация, где по-прежнему существуют такие вдохновенные прозрения, поддерживает жизнь в каждом создании, которое ей причастно, без учета рангов. Поэтому первое условие, которому должна следовать любая мифология, чтобы оживить современный образ жизни, — это умение распахнуть «врата восприятия», ведущие к величайшему и ужасному чуду человека и Вселенной, глазами, ушами и разумом которой мы являемся. Богословы читают свои откровения задом наперед, указывая только на прошлое (или, по словам Мертона, на «очередную точку окружности»), утописты предлагают лишь надежды на будущее, тогда как мифология, зародившаяся в психике, возвращает человека к душе («центру»), и всякий, кто серьезно последует за ее путеводными знаками, заново откроет их в самом себе.

Пару недель назад я получил посылку от исследователя из Мэрилендского Центра психиатрических исследований в Балтиморе,

доктора Станислава Грофа. Он прислал мне рукопись впечатляющего труда, где изложены результаты его четырнадцатилетней практики (сначала в Чехословакии, а затем здесь, в США). Он занимался психолитической терапией, то есть лечением нервных расстройств — как невротического, так и психотического характера, — с помощью строго отмеренных доз ЛСД. И я осознал, что большая часть моих взглядов о мифологических формах была подтверждена. Я намерен посвятить последние страницы рассказу о типах и глубинах сознания, которые доктор Гроф обнаружил в ходе собственных поисков глубин человеческой души. Его книга, которая выйдет в ближайшее время, будет называться «Агония и экстаз в психиатрическом лечении».

Короче говоря, первую категорию вызванного ЛСД эффекта доктор Гроф назвал «эстетическим опытом ЛСД». В основном он напоминает последствия наркотического опьянения, которые в 1954 году описывал Олдос Хаксли в своей книге «Двери восприятия», — после того как принял четыре десятых грамма мескалина. Хаксли отметил, что испытал поразительное обострение и усиление всех чувств, что даже обычная садовая лавка под солнцем выглядела «невыразимо чудесной, настолько чудесной до последнего атома, что даже пугала». Другое, более сильное, воздействие может привести к ощущению телесного преображения, легкости, полета, ясновидения, даже способности обращаться в животных и тому подобное — всему тому, о чем рассказывают первобытные шаманы. В Индии такими способностями (сиддхи) обладают, по их собственным уверениям, йоги; считается, что эти силы приходят не извне, а возникают изнутри, пробуждаются благодаря мистическим практикам и потенциально заложены в каждом из нас. У Олдоса Хаксли была подобная мысль, которую он выразил по-западному, на языке Запада, но об этом мы поговорим немного позже.

Второй тип реакции на ЛСД доктор Гроф описывал как «психодинамическиий опыт ЛСД» и связал его с расширением со-

знания до пределов того, что Юнг определил как «личное бессознательное». В этих случаях ЛСД активирует перегруженное эмоциями содержимое психики, с которым, как правило, работает фрейдистский психоанализ. Мрачное напряжение и испуганное сопротивление рациональной оценке, с которыми сталкиваются на этом уровне, происходят из различных неосознанных препятствий в виде моральных, социальных и напыщенно-инфантильных защитных механизмов, неуместных в зрелом возрасте. Что до мифологических сюжетов, которые в психоаналитической литературе связываются с внутренними конфликтами — например, комплекс Эдипа или Электры, — то на самом деле (в данном случае) они вовсе не мифологичны. В контексте инфантильных биографических ассоциаций они не играют никакой анагогической, сверхличностной роли и представляют собой просто детские мечты, разбитые подлинными или воображаемыми запретами и угрозами со стороны родителей. Кроме того, даже когда в фантазиях этого «фрейдистского» уровня появляются традиционные мифологические персонажи, они остаются просто аллегорическими образами личностных конфликтов — наиболее часто, как заметил доктор Гроф, встречаются «конфликты полового влечения с религиозными табу, а также примитивные фантазии о демонах в аду или ангелах на небесах; все это имеет отношение к сказкам, угрозам и обещаниям взрослых». После того как человек деятельно переживет индивидуальный «психодинамический» материал вместе с его эмоциональными, сенсорными и понятийными свойствами, психологические «узелки» личного бессознательного слабеют, и можно пуститься в дальнее внутреннее путешествие, перейти с биографических аспектов на подлинно сверхличностные (сначала к биологическим, а затем метафизически-мистическим) глубинам.

Доктор Гроф заметил, что во время фрейдистского психоанализа и на «психодинамических» стадиях психолитического лечения пациенты «вновь переживают» укоренившиеся бессознательные эмоции и поведение (и таким образом избавляются от них). Когда

подобные личные воспоминания остаются позади, у больных появляются психологические и физические симптомы совершенно иных возрожденных переживаний — например, муки появления на свет: тот миг (в итоге он растягивается на долгие часы) покорного и беспомощного ужаса, когда маточные мышцы внезапно сокращаются, а потом снова, и снова, и снова... Пациенты испытывают и еще более острые муки второго этапа рождения, когда раскрывается шейка матки и плод выталкивается по родовым путям; движение сопровождается беспрестанным страхом и муками. Кульминацией этого кошмара становится ощущение полного уничтожения — и тут вдруг свобода, свет!.. Острая боль, когда режут пуповину, удушье, пока кровь не находит новый путь к легким, — и первый вдох, самостоятельное дыхание! «Пациенты часами мучились от боли и задыхались, — утверждает доктор Гроф. — Цвет лиц менялся от мертвенно бледного до темно-фиолетового. Они катались по полу и корчились в сильных судорогах, страдали от спазмов и резких подергиваний. Частота пульса нередко удваивалась, сердцебиение становилось скачкообразным; наблюдалась тошнота, часто с рвотой и обильным потоотделением».

«Субъективно, — продолжает он, — эти события имели сверхличностное происхождение, то есть охватывали больше, чем индивидуальный организм и продолжительность жизни отдельного человека. Подопытные отождествляли себя сразу со многими личностями или целыми группами людей, иногда даже со всем страдающим человечеством в прошлом, настоящем и будущем». «Наблюдаемые явления по природе своей имеют намного более фундаментальный характер, — продолжает доктор Гроф. — Они многомернее, чем на фрейдистской стадии». Они действительно относятся к мифологической, сверхличностной сфере, поскольку не ограничиваются (как на фрейдистском этапе) событиями личной жизни, одновременно погружают в глубины и выводят наружу — к тому, что Джеймс Джойс назвал «серьезным и постоянным в человеческих бедствиях».

Например, при повторном переживании в ходе психолитического лечения кошмара первых стадий родовой травмы — когда матка начинает сокращаться и у запертого в утробе ребенка от страха, боли и ощущения опасности пробуждается первичное самосознание, — крайне испуганный пациент переполнен острейшим ощущением того, что страдания составляют саму основу бытия.

На ум приходят фантазии о пытках инквизиции; переполняющие чувства метафизического бедствия и экзистенциального отчаяния вызывают идентификацию с распятым Христом («Боже мой! Боже мой! Почему ты меня покинул?»), Прометеем на горной вершине или Иксионом с его вращающимся колесом. Миф соответствует буддийскому «вся жизнь — страдание»: человек рождается в страхе и боли, в страхе и боли умирает, да и между этими периодами его не ждет почти ничего, кроме страха и боли. «Суета сует и всяческая суета». Вопрос «смысла» становится важнейшим, и если ЛСД-переживания прервутся на этой ноте, человека долго не оставляет ощущение тошнотворности и бессмысленности жизни, напоминающей ненавистную и безрадостную преисподнюю, откуда нет выхода ни в пространстве, ни во времени — кроме, возможно, самоубийства, которое, если выбрать этот путь, пассивно и отдает беспомощностью: утопление, передозировка снотворного и так далее.

При переходе к обостренным ощущениям второй стадии родовой травмы, мучительной борьбы с мышцами родовых путей, настроение и образы становятся сильными, страдания — яростными, появляются признаки агрессии и садомазохистской страсти: фантазии об ужасающих войнах, борьбе с огромными монстрами и бурными водами, разгневанными богами, видения жертвоприношений, сексуальных оргий, сцен Страшного суда и так далее. Пациент одновременно идентифицирует себя и с жертвой, и с нападающей стороной; по мере того как нарастает общая острота конфликта, он постепенно приближается к мучительному порогу и наконец пересекает его. Доктор Гроф назвал этот перелом

«вулканическим блаженством», потому что в нем сливаются боль и наслаждение, счастье и ужас, жажда убийства и страстной любви.

Соответствуют мифические образы религиозного экстаза, вины и самопожертвования: гнев Божий, Всемирный потоп, Содом и Гоморра, Моисей и десять заповедей, Христос на кресте, вакханалии, жертвоприношения в храмах ацтеков, Шива-Разрушитель, ужасающие танцы Кали на погребальном костре и фаллические обряды Кибелы.

Самоубийства, совершаемые в этом «дионисийском» настроении, носят жестокий характер: человек может вышибить себе мозги, спрыгнуть с высоты на рельсы перед едущим поездом и тому подобное. Иногда самоубийство замещается бессмысленными и жестокими убийствами. Пациент одержим чувством агрессивного напряжения, смешанного с предчувствием катастрофы, что вызывает предельную раздражительность и склонность провоцировать конфликты. Ему кажется, что весь мир полон угроз и несправедливости. Карнавалы с их дикими выходками, буйные увеселения с беспорядочным сексом, пьяные оргии и разгульные танцы, насилие во всех его проявлениях, головокружительные приключения и риск — вот образ жизни, характерный для свирепой второй стадии рождения. В ходе терапии возврат к этому событию может привести к кульминации ужасающего кризиса фактической гибели Эго, полного уничтожения на всех уровнях, за которым рождается наконец величественное, беспредельное ощущение свободы, перерождения и спасения, сопровождающееся невероятными ощущениями и переживаниями декомпрессии, расширения пространства, ослепительно яркого света. Человек видит раскрашенные синевой и золотом гигантские залы с бесконечными рядами колонн и хрустальными люстрами, павлиньи перья, переливы радуги и прочие подобные картины. Ощущение чистоты вызывает у пациента всепоглощающую любовь к людям, свежее восприятие искусства и красоты природы, невероятную

жажду жизни, готовность прощать, чудесное чувство близости к Богу и согласия с окружающим миром.

Доктор Гроф обнаружил (и лично мне это кажется чрезвычайно интересным), что во время последовательных сеансов лечения пациент черпает поддержку в различных символах мировых религий. Переживание мук родовой травмы часто вызывает в мыслях ассоциации из Ветхого и Нового Заветов, переплетающиеся порой с греческими, египетскими и другими языческими аналогиями. Но когда муки подходят к концу и пациент получает опыт «рождения» или второго, духовного появления на свет, избавления от неосознанных страхов прежнего, «перворожденного» состояния личности, образный ряд видений радикально меняется. Вместо библейских, греческих и христианских сюжетов появляется восточная символика, главным образом индийская. «Источник таких переживаний не ясен, — признается доктор Гроф, — но сходство с индийскими описаниями поразительное». Он сравнивает тональность этих фантазий с вневременным внутриматочным существованием до рождения: блаженство, покой, неизменность с глубоким и приятным чувством радости, любви и гармонии, или даже единства со Вселенной и/или Богом. Как ни парадоксально, это непередаваемое состояние одновременно бессодержательно и всеобъемлюще, это небытие, которое больше бытия, отсутствие Эго, но беспредельность «Я», заполняющего весь космос. В связи с этим мне вспоминается отрывок из «Дверей восприятия» Олдоса Хаксли, где он описывает свои ощущения во время первого мескалинового «путешествия», которое открыло такую чудесную ширь, что и вообразить нельзя.

«Размышляя о своих переживаниях, — писал Хаксли, — я согласился с мнением выдающегося философа, доктора К. Д. Брода из Кембриджа, который считал, что “нам следует серьезнее относиться к таким теориям, которые предлагал Бергсон в связи с воспоминаниями и чувственным восприятием. Он предположил, что функция мозга, нервной системы и органов чувств за-

ключается в отсеве переживаний, а не в обильном производстве. Каждый человек в любой миг способен вспомнить и ощутить все, что случалось когда-нибудь с ним или происходит где-то во Вселенной. Задача мозга и нервной системы в том, чтобы уберечь нас от потрясения и смятения, которые наверняка вызвала бы такая огромная масса бесполезных и бессмысленных сведений. Таким образом, они отсекают большую часть воспоминаний и переживаний, оставляя нам лишь небольшой выбор, который, вероятнее всего, будет практически полезен".

Согласно такой теории, каждый из нас потенциально является "всеобщим Разумом". Но поскольку мы биологически животные, наша главная цель — это выжить любой ценой. Чтобы сделать биологическое выживание возможным, "всеобщий Разум" вынужден уменьшать пропускную способность мозга и нервной системы. То, что выходит с другой стороны клапана, является лишь ничтожной каплей того сознания, которое помогает продолжать существование на этой планете.

Большинство людей сознает обычно лишь то, что просачивается сквозь уменьшающийся клапан и чему местный язык присваивает священное звание истинной реальности. Но некоторые люди, похоже, рождаются с неким дополнительным каналом, проложенным в обход узкого клапана; у других людей обходной канал может быть приобретенным непроизвольно или при помощи "духовных упражнений", через гипноз или наркотики.

По этим постоянным или временным каналам течет не подлинное восприятие «всего, что происходит во Вселенной» (ведь сам по себе этот канал не отменяет сокращение клапана, который по-прежнему исключает полный объем "всеобщего Разума"), а нечто большее и прежде всего совершенно непохожее на тщательно отобранные, практические сведения, которые наш ограниченный индивидуальный ум рассматривает как полную или, по крайней мере, достаточную картину действительности».

Теперь кажется совершенно очевидным, что мифологические символы, зарождающиеся в душе и обращенные к ней же, представляют во всем многообразии своих разновидностей различные этапы или степени открытости эго-сознания к беспредельным просторам того, что Олдос Хаксли называет «всеобщим Разумом». В «Тимее» Платон утверждал, что «есть только один способ служить чему бы то ни было — нужно доставлять этому надлежащее питание и подобающее ему движение, и движения, которые сродни божественному принципу в нас, являются мысленными круговращениями Вселенной».

Я бы сказал, что именно оно и представлено в мифе. Однако, как показывают различные мифологии народов мира, универсалии повсюду конкретизируются и вписываются в местные общественно-политические условия. Как говорил мой преподаватель сравнительного религиоведения из Мюнхенского университета, «в субъективном смысле все религии одинаковы, но объективно различаются».

В прошлом, а я думаю, мы уже имеем полное право считать те времена минувшими, религии соответствовали разным и часто противоположным интересам различных обществ; частная символика привлекала человека к идеалам и рамкам местной группы. Западная цивилизация научилась видеть разницу между задачами прагматичного выживания, экономическими и политическими целями, с одной стороны, и подлинно психологическими (или, как раньше говорили, духовными) ценностями — с другой.

Вернемся еще раз к Данте: в четвертой части «Convito» он рассуждает о божественном разделении Церкви и государства; олицетворение такой самостоятельности он видит в связанных, но все-таки независимых историях Рима и Иерусалима, империи и папства.

Это две длани Божьи, но левую нельзя путать с правой. Следом Данте попрекает папство вмешательством в политику, так как

церковная власть — «не от мира сего», а от Духа. Такие же отношения связывают «всеобщий Разум» с утилитарными целями биологического выживания, оба они совершенно естественны и необходимы, но не являются одним и тем же.

Сегодня мы, слава богу, живем в светском государстве, которым управляют обычные люди (со всеми недостатками и ошибками, которые они совершают) в соответствии с законами, которые продолжают совершенствоваться и произошли от римского, а не «иерусалимского» права. Идея государства стремительно разрастается сейчас до концепции экуменизма (то есть охватывает все населенные уголки земли) — и если мир не сплотит что-то иное, то наверняка объединит экономический кризис. Поэтому у нас уже нет ни потребности, ни возможности придерживаться локальных, общественно-политически ограниченных, «объективно различных» религий, которые разделяли людей в прошлом и воздавали Богу кесарево, а кесарю — Божье.

«Бог является мыслящей сферой, чей центр повсюду, а окружность — нигде».

Так сказано в небольшой книге XII века под названием «Книга двадцати четырех философов». Каждый из нас, кем бы и где бы он ни был, находится в центре, а внутри него, осознает он это или нет, кроется «всеобщий Разум», чьим законам подчиняется не только любой ум, но и любое пространство.

Как я уже говорил, все мы — дети этой прекрасной планеты, которую совсем недавно сфотографировали с поверхности Луны. Нас не перенесли сюда по воле какого-то бога, мы просто выросли из Земли. Мы — ее глаза и ум, зрение и сознание. И Земля, порхающая, как мотылек, вокруг Солнца, возникла из туманности, а туманность, в свою очередь, зародилась в космосе. Таким образом, мы являемся фактически разумом космоса. Удивительно ли, что и здесь, и там действуют одни законы? Но тогда и глубины нашей души — это глубины космоса, откуда в человеческий

разум приходят все те боги, которых раньше видели в зверях и растениях, на холмах и в ручьях, на далеких планетах и даже в собственных общественных ритуалах.

Наша мифология сегодня — это мифология бесконечного пространства и его свет, который внутри таков же, как и снаружи. Мы очарованы им, как мотыльки, и летим туда, к свету Луны и дальних планет, одновременно погружаясь в глубины собственной души. На Земле все границы и горизонты разрушены. Теперь мы не можем больше любить родное и ненавидеть чужое, потому что на этом космическом корабле больше нет ничего «чужого». И ни одна мифология, которая продолжает твердить об «иноверцах» и «посторонних», не отвечает требованиям эпохи.

Итак, возвращаясь к вопросу, с которого началась эта глава: что такое или чем должна быть новая мифология?

Это есть и будет всегда, пока существует наш человеческий род, все та же древняя, неизменная, вечная, «субъективно одинаковая» философия, но рассказанная поэтически новыми терминами, которые отныне находят в настоящем, а не в памятном прошлом или предполагаемом будущем. Ее задача — пробуждать не самомнение «народов», а самосознание личности, которая должна увидеть в себе и других уже не просто разобщенные Эго, сражающиеся за теплое место под солнцем, а равноправные центры «всеобщего Разума», частички единого целого, у каждой из которых свой путь — и у пути этого нет границ.

Дж. Кэмпбелл

Мифы для жизни

Серия «Мастера психологии»

Перевела с английского П. Ярышева

Заведующая редакцией	*Т. Шапошникова*
Ведущий редактор	*Е. Власова*
Литературный редактор	*Н. Щербакова*
Художественный редактор	*С. Маликова*
Корректоры	*Н. Баталова, С. Беляева*
Верстка	*Л. Соловьева*

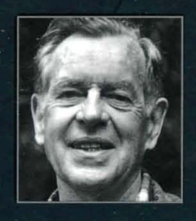
Изготовлено в России. Изготовитель: ООО «Прогресс книга».
Место нахождения и фактический адрес: 191123, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Радищева, д. 39, к. Д, оф. 415. Тел.: +78127037373.

Дата изготовления: 10.2017. Наименование: книжная продукция.
Срок годности: не ограничен.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК 034-2014, 58.11.1 — Книги печатные.

Подписано в печать 17.10.17. Формат 70×100/16. Бумага офсетная. Усл. п. л. 24,510.
Тираж 2000. Заказ № ВЗК-04996-17.

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография», филиал «Дом печати – ВЯТКА»
в полном соответствии с качеством предоставленных материалов.
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.
Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36.
http://www.gipp.kirov.ru; e-mail: order@gipp.kirov.ru



Джозеф Кэмпбелл (1904-1987) — американский писатель и культуролог, один из ведущих исследователей мировой мифологии. В его работах доказывается, что все мифы и былины связаны в психике человека, они являются культурным проявлением универсальной потребности объяснять социальные, космологические и духовные реалии жизни. Кэмпбелл объездил значительную часть мира в поисках мифологических сюжетов. Его работы награждены многочисленными премиями и наградами Национального института искусств (США).

- Что такое мифы и какова их функция в обществе?
- Как мы можем использовать мифы, чтобы облегчить наши сегодняшние страдания и тревоги?
- Как мифы могут нам помочь в воспитании детей?





В книге Джозеф Кэмпбелл исследует потенциал и мощь мифов и их ежедневное влияние на нашу современную жизнь даже там, где мы этого не предполагаем. Он показывает, что для мифов не существует границ, они обращены к универсальным базовым архетипам, которые являются общими для всех времен и народов. Книга будет интересна психологам, педагогам, философам, социологам, культурологам, историкам.

ПИТЕР®

Заказ книг:
тел.: (812) 703-73-74
books@piter.com

WWW.PITER.COM
каталог книг
и интернет-магазин

vk.com/**piterbooks**
instagram.com/**piterbooks**
facebook.com/**piterbooks**
youtube.com/**ThePiterBooks**


ISBN 978-5-4461-0498-7